

Юхан Борген

Темные источники

Часть первая. СВЕТЛЫЕ ИСТОЧНИКИ

1

Метрдотель Валдемар Матиссен, по прозвищу Индюк, стоял в своем маленьком закутке, наблюдая за посетителями. Он стоял за высокой конторкой, спиной к залу ресторана и видел все. Над конторкой и вдоль стен его маленькой каюты была оборудована целая система зеркал, которые рассказывали ему обо всем происходящем в зале. Кое-что он видел через зеркала, вделанные в стены самого ресторана – таким образом отражение получалось двойным. Многие из того, что определяло жизнь метрдотеля, представало перед ним отраженным, иной раз даже дважды. Таким образом, большую часть времени он существовал в мире, перевернутом справа налево, и, когда, поворачиваясь лицом к залу, лицезрел ресторанную суматоху прямо перед собой, она казалась ему менее реальной.

Впрочем, в эти дни все казалось ему каким-то нереальным. Матиссен был метрдотелем старой школы и никак не мог примириться с тем, что почтенных посетителей заведения, которых он знал на протяжении многих лет – знал их вкусы, их любимые блюда и напитки, – что всю эту благородную клиентуру вытеснили прилизанные юнцы, которые ведут себя бог знает как и швыряются такими неслыханными деньгами, что впору ума решиться. Матиссен стал нервно теребить заусенцы на пальцах.

Самый последний кабинет в глубине справа ускользал из-под наблюдения метрдотеля. В этом кабинете не было зеркал, да и вообще вначале этого помещения не было – оно появилось, когда зал расширили, убрав одну из внутренних стен. Кабинет этот во всех отношениях отличался от того целого, что для Матиссена составляло Зал, его атмосферу. Посвященные именовали кабинет Кабаком – в нем обычно проводили время молоденькие биржевые спекулянты, которые щеголяли днем в лакированных ботинках и однажды были застигнуты на месте преступления: запивали омаров красным вином. И если в эту эпоху упадка на всем заведении лежала печать владычества новоиспеченных богачей, то в Кабаке царили богачи самоновейшие, которые ежеминутно прожигали жизнь, чтобы увериться в своем богатстве, и все-таки не верили в него и без усталости искали ему подтверждения в обильных потоках шампанского, за которое расплачивались неистощимыми кипами ассигнаций – фиктивным доказательством того, что они обладают более устойчивыми ценностями.

Собственно, одна из причин, почему такому человеку, как метрдотель Матиссен, время стало казаться нереальным, в том и заключалась, что исчезло мерило ценностей. Когда Матиссен выглядывал из своей каюты, словно кукушка из часов, он видел малыша Чарлза, занятого глубокомысленным разговором об акциях с бывалым спекулянтом вроде, к примеру, этого

Роберта. Официанты называли подобного рода клиентов по именам – они и сами называли так официантов и всех, с кем им приходилось иметь дело. А у Чарлза и вообще не было фамилии. До прошлой пятницы он был чистильщиком обуви при ресторане и сидел в подвале перед уборной. В субботу в полдень он появился в ресторане среди посетителей, волосы его были смазаны бриллиантином, в накрахмаленных манжетах сверкали золотые запонки. Он проявил незаурядное умение держаться так, словно всю жизнь только и ходил по ресторанам. Лишь официанты мысленно все еще видели его во франтоватой форме чистильщика обуви и обслуживали с улыбкой, в которой сквозила не то снисходительная усмешка, не то ласковое умиление. Вообще-то говоря, каждый из них в большей или меньшей степени принимал участие в игре, в которой так быстро повезло маленькому Чарлзу. Они и сами в любую минуту могли превратиться в посетителей того самого зала, где сейчас служили официантами. Но они-то уж поостерегутся щеголять днем в лакированных ботинках и не ошибутся в выборе вин. Смышленный официант за несколько месяцев узнает куда больше о том, что можно и чего нельзя, чем за свою долгую жизнь те, кто пользуется его познаниями.

Втянув голову в плечи, метрдотель Матиссен снова вернулся к своим зеркалам и заметкам, и его красноватое лицо скорчилось в неподобающую гримасу. Времена теперь таковы, что никому из посетителей нельзя отказать в неограниченном кредите, когда речь идет о такой презренной малости, как наличные. За несколько вечеров расчеты, которые вели сам Матиссен и официанты, превращались в столь сложную систему актива и пассива, что приходилось прибегать к маленьким уловкам, чтобы взыскать с клиента долги. Если ты предъявишь нынешнему богачу такую жалкую бумажонку, как счет от прошлой недели, он, пожалуй, выплеснет тебе в физиономию бокал шампанского. Зато он никогда не станет мелочиться и придирчиво просматривать сегодняшний счет – вот почему, если уж эти господа были в настроении платить, им приходилось раскошелиться. А старые счета выбрасывались в мусорные корзины, по мере того как долги взыскивались другим способом, и не без процентов за пережитый риск.

Все новые посетители нескончаемым потоком вливались во вращающиеся двери по обе стороны зала. Это был сезон светлых гамаш, и обтянутые бежевыми и светло-серыми гамашами ноги непрерывно ступали по долготерпеливому красному ковру, осыпаемому пеплом и искрами от окурков наспех отброшенных сигарет. Теперь не в обычае было докуривать сигарету: ее отшвыривали прочь, едва только первые глубокомысленные замечания о биржевых курсах пробивались сквозь голубой дымок – им сначала жадно затягивались, а потом медленной струйкой выпускали сквозь неухоженные зубы. Было что-то птичье в этих ступающих по ковру ногах, за которыми Матиссен рассеянно наблюдал в зеркала, – в этих скользких, переминающихся, спотыкающихся, медлительных, торопливых и топчущихся на месте ногах в гамашах. В конце концов их движения начинали напоминать какой-то птичий балет: вот они переминаются, медлят и вдруг стремительно несутся в зал или из зала, смотря по тому, каких знакомцев обнаружил тот, кому принадлежат ноги, – тех, к кому он устремляется навстречу, или тех, от кого еще решительнее мчится прочь... В конце концов Матиссен столь многих изучил по нижней части их тела, что, пожалуй, именно ногам адресовал неприметный поклон, брезгливую мину, пожатие плеч, а в редких случаях, завидев знакомые ноги, поворачивался в своем закутке лицом к залу, рассеянно поправлял галстук и выходил на манеж походкой в одно и то же время решительной и ненавязчиво скользкой, чтобы в конце концов согнуться в тугом поклоне, слегка кашлянув, с единственной целью отметить присутствие истинного друга в этом хаосе полувоспитанности и оскудения.

Вот хотя бы один из нынешних клиентов – этот самый Роберт. Фамилия? Валдемар Матиссен попытался вспомнить: Олсен, Хансен, Педерсен?.. Была же у него какая-то фамилия в ту пору, когда он, робея, раз в месяц, появлялся в местах, предназначенных для верхов общества. А потом друзья стали звать его просто Роберт. А потом он стал Робертом вообще для всех. Так теперь было принято.

Впрочем, он был славный и любезный малый, этот Роберт, и, когда хотел, держался как

человек воспитанный. Прежде он работал продавцом в отделе дорогого постельного белья в одном из крупных универсальных магазинов, а до этого продавал всякую всячину вразнос, с особым успехом торговал он этими современными «fountain-pens» – автоматическими ручками, которыми можно было писать чуть ли не месяц, не набирая чернил. Валдемар Матиссен был счастливым обладателем трех таких ручек с позолоченными перьями. Кое-кто из нынешних до того дошел в своем стремлении опростить язык, что звал их «самописками». Это тоже было в духе времени – заменять слова, вместо простых иностранных слов употреблять такие замысловатые названия на родном языке, что их и не упомнить. Аэропланы, к примеру, стали называться самолетами, точно людям хотелось самый аэроплан стащить с небес на землю.

Было начало августа, сезон раков. Валдемар Матиссен до глубины души страдал, видя в зеркалах, как нынешние процветающие клиенты терзают маленькие красные существа, которых он любил и как лакомое блюдо, и как создание природы. Он сам вылавливал их в ручье возле своего домика в Энебакке раз в две недели по субботам и воскресеньям, когда ему не приходилось дежурить и он проводил уик-энд на лоне природы. Ему нравилось это слово – «уик-энд», оно входило в моду среди приличной публики. В нем чувствовалась традиция, и в то же время от него веяло будущим, оно таяло во рту, как сладкий пудинг.

Но было сущей мукой смотреть, как эти нувориши обращаются с раками – они словно бы стеснялись взять их в руки, как это делали знатоки, на которых они осторожно поглядывали. Нет, любителю раков невозможно было долго выдержать это зрелище, отвратительное во всех отношениях, как, впрочем, почти все, что происходило в степях ресторана; а ведь когда-то здесь собирались благородные люди, которые, засидевшись допоздна, могли позволить себе назвать Матиссена по имени, в минуту благорастворения обращаясь с ним как с равным...

Валдемар Матиссен поднял голову к своим зеркалам, и тут лицо его приобрело то самое сходство с настороженным индюком, за которое персонал и наградил его прозвищем. Рука на мгновение взмыла к черной бабочке на ослепительной крахмальной рубашке, спина приобрела тот профессиональный изгиб, который соответствует стойке смиренно, и он неслышно скользнул навстречу маленькой группе, которая как раз вошла в зал через турникет с восточной стороны и теперь неодобрительно поглядывала на представившееся ее глазам грустное зрелище.

– Господин Мёллер, – произнес метрдотель, осторожно кашлянув и обращаясь к высокому тучноватому господину лет пятидесяти с благородными залысинами в седеющих волосах и с лицом дельца, прячущимся под маской жизнелюба. – Позвольте мне приветствовать вас, господа. Добро пожаловать, – продолжал он. – Могу ли я предложить вам столик?

– Мой столик... – сказал консул Мартин Мёллер с выражением почти детской обиды и бросил быстрый взгляд на самый дальний круглый столик, стоявший в нише, в простенке между окнами, где четверо недостойных сдвинули головы над чашками кофе. Компания была мужская – впрочем, в этот ранний вечерний час в ресторане вообще почти не было женщин.

– Как досадно, господин консул, что вы не уведомили меня заранее. Теперь так редко – к сожалению, слишком редко – вы оказываете нам честь своим... Если господам будет угодно присесть на минуту вот у этого столика, я тотчас... – Матиссен указал на нелепый крошечный столик у своего закутка, на котором в настоящий момент громоздились груды тарелок и салфеток. – Одну минуточку... – Валдемар Матиссен придал своей почтительно склоненной спине стремительный изгиб и полетел наискосок через зал между покрытыми белоснежными скатертями столиками с розовыми лампами под шелковыми абажурами, к злосчастному угловому столику, который считался одним из лучших, и поэтому большую часть времени на нем красовалась продолговатая карточка с надписью «занято». Мужская компания, которой днем разрешили занять почетный столик, по нынешним меркам, принадлежала к лучшему

обществу. У метрдотеля была нелегкая задача – добиться, чтобы клиенты добром освободили место. По правде говоря, он и сам не знал, что им скажет, когда быстрым движением склонился над спиной того из мужчин, который весь день заказывал угощение и, по-видимому, пригласил компанию в ресторан.

– Прошу прощения, господа, – начал он. Самый молодой из компании оторвал взгляд бесцветных голубоватых глаз от печатного листка с курсом акций, в который он было углубился.

– В чем дело, Валдемар? – спросил он, растягивая слова. – Что вас смущает? – И, обращаясь к своим старшим сотрапезникам, добавил: – Наш друг Валдемар, кажется, чем-то озабочен... Может, вам нужен добрый совет? – Хлопнув длинной белой кистью по листку, он злобно ухмыльнулся.

У Валдемара Матиссена была дурная привычка. Его короткие толстые пальцы всегда что-нибудь теребили – край промокашки, рубец салфетки. В данный момент он лихорадочно теребил заусенец на указательном пальце левой руки.

– Господин коммерсант знает, – сказал он, кашлянув, – что лично я не особенно интересуюсь – гм – нынешними бумагами... – Теперь все лица повернулись к нему в тревожном недоумении. Никто его не звал, он явился по собственному почину, что, строго говоря, было совершенным неприличием.

– Прошу прощения, господа, – повторил Матиссен, ища взглядом того, кого считал хозяином столика, – но лица, заказавшие столик, когда я разрешил вам, господа, занять его днем... – Матиссен снова кашлянул, проклятый заусенец вдруг начал отчаянно саднить. – Словом, господа, вам известно, что столик был заказан, и вот эти лица сейчас явились... – Матиссен заторопился – заторопился так, словно его жизнь зависела от того, успеет ли он опередить возражения клиентов. – Короче, они явились, и поэтому я осмелюсь просить вас, господа, быть столь любезными и пересесть – гм – за другой, за лучший столик... – Он неопределенно махнул рукой в сторону зала, который почти сплошь был заполнен группами спорящих. Только маленькие столики плыли пустынными островками в этом море темно-красных ковров и светло-красных драпировок: эти столики не были пришвартованы к стенам или колоннам, и нынешняя неуверенная в себе клиентура как-то побаивалась их, хотя, по мере того как со столов все быстрее уносили вереницы пустых бутылок, только-только откупоренных, та же самая клиентура становилась совершенно бесстрашной.

Предполагаемый глава компании равнодушно поглядел в сторону и углубился в разговор со своим соседом – на поддержку с этой стороны рассчитывать не приходилось. Зато щеки бледнолицего юнца мало-помалу приобрели более естественный цвет.

– Вы хотите сказать, – произнес он своим тягучим голосом, – что намерены выкинуть нас вон? Так вас следует понимать, господин Матиссен?

Метрдотель с грацией отчаяния скользнул вокруг стола и доверительно, но с неукоснительной почтительностью склонился к молодому щеголю, который до наступления новых времен, наверное, продавал нижнее белье.

– Господин коммерсант не понял меня, – проникновенно сказал он, чуть усмехнувшись нелепости подобной мысли. – Как можно, господа! Вы здесь желанные гости, сегодня, как всегда... Я только хотел сказать, что этот столик был заказан еще рано утром, и мы решились предоставить его вам, уступив вашей настоятельной просьбе, господа, на то время... на то время, что он свободен. Однако теперь, поскольку лица, которыми столик был заказан, явились в ресторан, я лишь позволил себе спросить, не будете ли вы столь любезны...

Щеки юного посетителя приобрели прежнюю бледность, а в пальцах мгновенно появилась

стокроновая бумажка. Она скользнула из его руки в сторону опущенной левой руки метрдотеля с кровоточащим указательным пальцем. Это была минута драматической борьбы за престиж между двумя людьми: юнцом из нарождающейся аристократии, для которой деньги были ключом, открывающим все двери, и почтенным представителем дворянства благовоспитанности, для которого было вопросом чести не допускать какого бы то ни было панибратства на денежной основе. Метрдотель, лишь для вида постаравшись скрыть усталую улыбку, воззрился на переносицу молодого человека. Это средство действовало почти безотказно, когда надо было смутить противника. Оно и тут не подвело. Юнец смущенно огляделся кругом. И вдруг Матиссена осенило вдохновение. Он доверительно склонился над столом, смущенно покосившись в сторону зала.

– Я просто полагал, если господа желают кое-что получить к кофе-мокке, – таинственно прошептал он. – В отдельном кабинете...

Это было одно из тех интимных предложений, которые вносятся таким тихим голосом, что можно подумать, будто произнесенные слова только померещились.

Однако подействовали они мгновенно. Глаза бледнолицего юнца загорелись, и он благосклонно поглядел на метрдотеля.

– Господа, – сказал он негромко, но внушительно. – Наш друг Валдемар внес великолепное предложение, которое я позволю себе принять от нашего общего имени. – Он перевел многозначительный взгляд с кофейных чашек на вопрошающие глаза приятелей. – Итак, господа, *allons enfants!* [1] – И он встал. Остальные последовали его примеру. Между тем стокроновая бумажка неприметно для окружающих все-таки перешла из одних рук в другие, но теперь это было как бы даже знаком благосклонности со стороны метрдотеля. Он тотчас возглавил маленькую компанию биржевиков и повел их развернутым строем наискосок через зал. Шествие закончилось в самом дальнем углу Кабака, где скрытая в обоях дверь поглотила посетителей и их поводыря, который тут же с облегчением вернулся обратно и едва заметным движением приказал официантам и их подручным привести в порядок вожделенный угловой столик, чтобы усадить там самых почетных клиентов. Гордый своей победой, он подошел к консулу Мёллеру и его гостям. Они заняли места за столиком, разговаривая по-английски. Поэтому многие провожали их взглядами. Страждущая нация мореплавателей стала проявлять к Антанте смешанную с любопытством симпатию после того, как немцы в ярости отчаяния повели особенно ожесточенную подводную войну.

Консул Мёллер помедлил, прежде чем усесться за столик.

– Послушайте, Матиссен, – сказал он, понизив голос. – Вы ведь знаете моего молодого племянника, Вилфреда Сагена...

– Имею честь.

– Вздор, Матиссен. Между нами говоря, эта честь весьма сомнительная. Скажите, заходил он к вам в последнее время?

– Мы не имели удовольствия...

– Послушайте, дружище, – весело сказал «дядя Мартин». – Оставим удовольствие в покое. Ни вам, ни, честно говоря, мне никакого удовольствия его частые посещения не доставляют. Я заметил, что его так называемые друзья из нынешней напористой аристократии сидят вон в том отсеке. Если он явится...

Метрдотель склонился к консулу в позе, которая говорила о том, что он слушает, но ничего не обещает.

– Не правда ли, Матиссен, – нервно продолжал консул Мёллер, – ни вы, ни я не слишком жаждем его прихода, а я так нынче вечером в особенности.

Небольшая купюра уже появилась было из пиджачных недр «дяди Мартина». Но доверительный жест не встретил сочувствия у метрдотеля.

– Господин консул, конечно, понимает – гм – не так легко, ну да, не так легко отказать... я хочу отметить, что молодой человек своим поведением никогда не давал повода...

– Вздор, Матиссен. – Купюра как по волшебству сменилась другой, совсем иного достоинства, и также перешла из одних рук в другие, причем проделано это было так, что несчастный метрдотель просто не в силах был этому воспротивиться. Консул с облегчением уселся за столик и привычно включился в беседу, как он мог включиться в любой разговор почти о чем угодно на трех распространенных европейских языках. – Господа, – предложил он тоном любезного диктаторства, – давайте условимся, что нынче вечером мы будем говорить обо всем на свете, кроме акций. Да, да, я готов толковать даже о промышленных займах, об облигациях и национальной вражде, только бы не касаться судебных акций. Что до них... – он с неодобрением огляделся вокруг, – мне кажется, здешний воздух и так уже перенасыщен ими.

Трое гостей консула сочувственно хмыкнули. Только британский гость торопливо пробормотал, что, судя по его наблюдениям, эта тема поистине неисчерпаема для нации героев моря, но что он этим хочет лишь подчеркнуть свое отвращение к игре на бирже и к спекулянтам, которыми – он тоже это заметил – они окружены.

Между тем в Кабаке бурно нарастало веселье, и, как это иногда случается в большом и людном помещении, центр тяжести внезапно переместился туда. Человек, которого звали Робертом, сидел там за столом с адвокатами Фоссом и Даммом – это была постоянная клиентура – и с молодчиком, который еще до середины прошлой недели, кажется, служил на побегушках у мясника. И вот теперь упомянутый Роберт поднял кверху два сжатых кулака – посвященные знали, что это означает. Когда упомянутый клиент поднимал кверху палец – это значило, он требует бутылку шампанского, пять пальцев означали пять бутылок шампанского, а сжатый кулак – полуторалитровую бутылку. Одной и той же неизменной марки – «Вдова Клико». Постоянные посетители понимали этот безмолвный язык, понимал его метрдотель Матиссен, каждый официант и подручный понимал его и боялся. Два сжатых кулака означали две большие бутылки «Вдовы Клико», и притом сию минуту.

Можно было подумать, что винный погреб находится тут же – впрочем, в данном случае так оно и было, потому что дежурные официанты всегда держались начеку, когда в Кабаке назревала стадия «Вдовы Клико»; бутылки, как по волшебству, появились из вращающейся двери, ведущей в кухню, хлопнули две пробки, давая сигнал старта бурной вспышке веселья, которое, впрочем, в мгновение ока могло смениться предвестниками драки. Сидевшие в Кабаке схватили громадные бокалы с такой алчностью, точно неделями томились от жажды, и только проворное вмешательство официантов помешало бутылкам попасть в неумелые руки: непривычная тяжесть полуторалитровых бутылей зачастую приводила к мокрым пятнам на скатерти. Персонал ресторана хорошо знал по опыту замашки завсегдатаев Кабака. Официанты не спускали глаз с этой особой клиентуры, чтобы вовремя пресечь ее суетливую самодеятельность. Но впрочем, у пирующих всегда можно было получить дельный совет насчет судебных акций, неизменно стоявших на повестке дня, – и это искупало те мелкие неудобства, которые причиняли персоналу напористые молодые представители деловой Норвегии.

Метрдотель Матиссен дерзал быть единственным, кого не интересуют биржевые дела. Зато своей ненавязчивой деятельностью посредника он обеспечивал себе прибыль, не сопряженную с риском, к тому же избавив себя от хлопот с бумагами. Для него были и остались загадкой все эти свежие, как морской ветерок, названия акционерных обществ и

кораблей, вся эта мистерия моря, войны и риска, которая в мире, где он обретался, как ни странно, была представлена молодыми людьми, не знающими, к какому блюду какое вино подают, и юнцами с салфеткой под мышкой из числа его подчиненных, разбирающимися в тарабарщине биржевого языка настолько, что пожилой аристократ из сословия метрдотелей просто становился в тупик.

Матиссен стал нервно теревить заусенцы на обоих указательных пальцах... В чем дело, отчего он так волнуется?

Ах, да, он думает о молодом Сагене – о том, что «дядя Мартин» просил не впускать этого молодого человека в ресторан. Матиссен решительно покинул свой наблюдательный пункт у зеркал и отправился к вертящимся дверям – сначала по одну сторону, потом, пройдя через покрытый дорожкой холл, – по другую. У каждого входа состоялась короткая приглушенная беседа с дежурным привратником, и небольшая ассигнация перешла из одних рук в другие. Только помните – никакого шума, никаких оскорблений. Скажите, что мест нет, скажите что угодно.

В этом заведении все точно сговорились заниматься денежными сделками. Всякое предложение автоматически рождало спрос. Казалось, монотонное биржевое «покупаю» – «продаю» охватило целое общество посвященных – иначе говоря, всех, кто был причастен к жизни, кипевшей в провинциальном городском «сити» с его процентными бумагами, бумажными деньгами и прочими бумажками, в «сити», отстоящем на десятки духовных километров от тихих районов города, где чиновники и прочие люди, получающие твердое жалованье, влачили доисторическое существование, основанное на старозаветных кронах и эре, которые добывались в поте лица и таяли на глазах домашних хозяек; бедные женщины в отчаянии ломали руки, ибо цены на масло фабричного производства, которое они покупали для своих больных мужей, поднялись уже до 2,5 крон за килограмм, а им самим приходилось есть китовый жир, и под его бурным натиском на пищеварение у них постоянно болели желудки.

С той минуты как от столика завсегдаев Кабака был дан сигнал старта, по ресторану поползло тревожное возбуждение, телепатически передавшееся в самые отдаленные его точки – служащим гардероба и портье. Возбуждение это в истоках своих было отмечено печатью веселья, но оно же было чревато и скандалами. Скандал мог возникнуть от чьей-то блажи, от неправильно понятого заказа, от любого пустяка, который в разгоряченных головах разрастался до неслыханных размеров. По сути дела, эти мелкие происшествия играли роль искр, поджигавших атмосферу, перенасыщенную нервными парами. Довольство и недовольство в этих обстоятельствах вели к одному. Круги веселья и гнева пересекались под воздействием хмеля на неискушенные организмы. От внезапного разгула за столиком в Кабаке все сидевшие в ресторане заговорили громче, стараясь, чтобы их услышали, и для вящего убеждения стали энергичней размахивать руками. В такие минуты случайная причуда кажется глубоко продуманной мыслью, а самые дерзкие заявления – плодом глубоких размышлений, основанных на долгом опыте. Судовые паи за столиками переходили из одних рук в другие, и многие спешили к телефонным будкам, расположенным за дверями зала, чтобы отдать распоряжения, измеряемые пятизначными числами. Хладнокровные маклеры, рабочий день которых продолжался круглые сутки, с бесстрастными лицами записывали распоряжения, полученные за конторками или у других ресторанных телефонов, куда их подзывали метрдотели, с невозмутимым видом пытавшиеся угадать, откуда ветер дует.

И вот в эту-то минуту в дверях появился Вилфред Саген – светловолосый, очень стройный юноша с темно-голубыми глазами и с затаенной, как у дикого зверя, силой: стоял он или двигался, в нем чувствовалась мгновенная готовность реагировать на происходящее.

Он помедлил у вращающейся двери и оглядел зал, чуть прищурясь от сигарного дыма, клубившегося под потолком. Его приход вызвал оживление за столиком в Кабаке, где два

сжатых кулака тотчас снова взметнулись вверх, в свою очередь породив лихорадочную деятельность кухонного ведомства.

Метрдотель Валдемар Матиссен закрыл глаза. Не в переносном смысле, как перед лицом неприятного явления, а в самом прямом. Стоя в закутке перед зеркалом, он плотно, как от боли, зажмурил глаза.

– Сукин сын швейцар Йенсен, – пробормотал он, неожиданно прибегнув к вульгарному обороту, заимствованному из времен, когда он плавал буфетчиком на корабле. «А ведь юный бездельник даже и не заплатил швейцару, – мелькнула у него мысль. – Он из тех, что пройдет и сквозь запертую дверь».

Когда метрдотель открыл свои многоопытные, усталые глаза, он увидел, что нежеланный посетитель уже сидит со своими приятелями в Кабаке, но увидел также, что происшествие прошло незамеченным для столика с почтенными гостями.

А что, если и этих непрошенных молодых людей переместить в отдельный кабинет, где смотрят сквозь пальцы на нарушение несовершеннолетних запретов на спиртное? Рискованное дело. Это было мрачноватое помещение для молчаливых и сдержанных гостей с тихими голосами. Нельзя здорово живешь махнуть рукой на твердо установленную иерархию, которая помогает достойному заведению держаться на плаву в тяжелые времена. Вместо этого Матиссен решительно скользнул к почетному столику, словно желая удостовериться, что все здесь идет согласно желаниям консула Мартина Мёллера. Во время этого тактичного маневра он поймал одобрительный взгляд консула, который мог означать и то, что он вообще удовлетворен, но мог быть также безмолвным намеком на недавний уговор. Пока еще ничего не открылось. Гости консула приступили к лососине и мозельскому, неторопливо смакуя их и продолжая негромкий разговор, как и подобает посетителям дорогого ресторана. Матиссен продолжал неторопливо кружить по залу, на ходу подавая мимические знаки обслуживающим духам, обеспечивающим ничем не омраченное застолье в такие напряженные вечера. Еще в самом начале вечера Матиссену пришло в голову слово «манеж». Он и в самом деле чувствовал себя сейчас как бы укротителем, окруженным дикими зверями, с которых нельзя спускать глаз, чтобы скрытые хищные инстинкты не вырвались наружу языками пламени под действием таинственной связи, возникающей между возбужденными особями... Матиссен придумал себе дело на кухне, где краснолицые мужчины в белых поварских колпаках сновали у раскаленных плит. Жара здесь была нестерпимой. Метрдотель с трудом перевел дух. Среди оголтелых новаторов кулинарного искусства уже велись разговоры о том, чтобы создать электрическое оборудование для приготовления пищи. Чего только не предлагали в нынешние времена фантазеры представителям ремесла, почитающего традиции. Матиссен тяжело вздохнул и стал пробираться к дверце, ведущей на черный ход, куда на минуточку-другую выходил отдохнуть усталый персонал кухни: краснолицые, задыхающиеся от кухонного жара повара вбирали в себя прохладу августовского вечера, любуясь мерцающими в вышине звездами. Они нехотя посторонились, освобождая место величественному шефу ресторанного зала: для них он был не начальство, а почти посторонний, из тех презренных, что обретаются «внутри» и получают огромные чаевые, не прикладывая рук к настоящей работе. Эта враждебность тяжелым грузом давила на взвинченные нервы метрдотеля. Он был человек миролюбивый, поддержание мира стало его жизненной задачей – люди должны бесшумно скользить по мягкому ковру, пусть даже каждый из них стремится в первую очередь к собственной выгоде. Матиссен знал людей с этой стороны – только с этой. Но зато сторона эта оборачивалась самыми неожиданными гранями. Что таится, к примеру, за фасадом неизменной любезности консула Мёллера? От метрдотеля не укрылось, что окружение господина Мёллера подсмеивается над его титулом консула – стало быть, ему не чуждо тщеславие. А может, кое-что еще? Может, если зверя раздражить, он становится опасным? Может, способен строить козни, а то и попросту уничтожить ближнего, который станет ему поперек дороги? Чем, например, объяснить такую явную враждебность консула к его молодому племяннику, красивому юноше, который держится так свободно и чуть

вызывающе? Возможно, он лодырь, как вся нынешняя молодежь, но по крайней мере лодырь с хорошими манерами, воспитанный и относительно сдержанный молодой человек, который не позволяет себе открыто безобразничать на глазах у всех, как поступают нынешние законодатели нравов, его ровесники или те, кто на несколько лет старше. У служащих ресторана никогда не было повода на него жаловаться. Молодой человек не отличается общительностью, скорее наоборот – одет в броню холодной иронии, отчего с ним даже легче иметь дело. Может, и за этой физиономией тоже кроется что-то опасное, впрочем, Матиссену до этого дела нет... И однако, метрдотель, уловив незаконную минуточку передышки, вдыхал вечернюю прохладу и до крови теревил заусенцы на обоих указательных пальцах, с волнением думая о том, что повлечет за собой появление в ресторане молодого человека.

Так он и знал. Он понял это в ту самую минуту, когда скользнул в узкий проход, ведущий к турникету: что-то стряслось. Понял это с обостренной чуткостью раскаяния. В зале не слышно было ни возбужденных голосов, ни звона разбитых стаканов – того, чего он пуще всего боялся дено и ночно. В ресторане стояла тишина. Как видно, произошло нечто из ряда вон выходящее. Матиссен провел тыльной стороной ладони по лбу – еще одна неожиданная вульгарная привычка у этого вышколенного аристократа. На мгновение он помешкал, потом поправил галстук с тем самым выражением и намерением, с каким укротитель львов сильнее сжимает вилы. Открыв дверь, он быстро двинулся по залу, и на лице его была написана полнейшая профессиональная невозмутимость.

Официанты Гундерсен и Баккен бросились к нему с неуместной поспешностью, которую метрдотель тут же укротил, вздернув левую бровь. Но их возбужденную мимику укротить не удалось. Взгляды их указывали в сторону злополучного столика в Кабаке, где между недавно появившимся Вилфредом Сагеном и господином Робертом заняла место особа женского пола. Определение «особа женского пола» родилось само собой, как наиболее точная в словаре Матиссена характеристика посетительницы. Ибо дамой назвать ее было никак нельзя. Что там ни говори о вырождении клиентуры в эти безумные времена, в оценке женской ее половины до сих пор никакого сдвига в сторону демократизации, слава богу, не произошло.

Вновь прибывшая особа во всех отношениях привлекала к себе внимание. Темно-синяя шелковая юбка до колен произвела переполох еще тогда, когда особа под руку с Вилфредом изящно прошествовала через зал. Вдвоем они являли собой как бы вызов трудноуправляемому обществу, которое немедленно ощутило себя обществом порядочным. Теперь, когда особа сидела за столом, главным в ее облике были огненно-рыжие волосы, коротко стриженные по образцу так называемых cutting, которые можно было увидеть на самых смелых заграничных фотографиях. Они непривычно обнажали затылок, как бы намекая на наготу вообще. Слегка жестикулируя правой рукой, особа держала в ней черный, инкрустированный янтарем мундштук невероятной длины, а в ушах под пожаром волос висели две рубиновые капли, которые в воображении молодой напористой Христиании превращались в капли тигриной крови. Вообще, в глазах передового круга, чьи революционные наклонности до сей поры ограничивались лишь непривычно огромными доходами и привычными дурными манерами, это было пиршество непристойности, превзошедшее самые разнузданные мечты. Прежде чем Валдемар Матиссен решил, как ему следует действовать, зловещую тишину прервал ропот, столь же непохожий на разговоры о деньгах и цифрах, как непохож шум водопада на журчание ручейка на лужайке. Женщина была из тех, что способны околдовать совет общины, вызвать скандал на семейном обеде, а избранное мужское общество заставить забыть возраст и уважение к себе.

Столик в Кабаке в полную противоположность всему остальному залу сохранял возмутительное спокойствие. Лицо и даже вся голова Валдемара Матиссена приобрели цвет и форму, которые еще более оправдывали прозвище – Индюк. Оторвав взгляд от предмета всеобщего негодования, он опасливо перевел его на столик в нише и с облегчением, какое дает надежда на отсрочку, удостоверился, что с того места у окна, где сидел консул Мёллер,

особа была невидима, так как ее скрывал выступ, отделявший Кабак от остального зала.

– Гундерсен, – тихо окликнул он одного из перепуганных официантов, знаком поманив его к себе. – Кто впустил эту даму?

– Спроси лучше, кто ее не остановил, – живо возразил официант. – Молодой Саген встретил ее в вестибюле. И они болтали вроде бы не по-нашему.

Индюк насторожился. Надменное выражение постепенно, исчезало с его лица.

– Не по-нашему?

Гундерсен кивнул.

– Так сказал швейцар Йенсен.

Ну погоди ты у меня, Йенсен! Впрочем, это потом. Внезапная надежда вспыхнула в душе Матиссена. Если дама иностранка, это меняет дело. От иностранки не приходится требовать, чтобы она вела себя, как местные клиенты. Не исключено, что из этого обстоятельства можно даже извлечь выгоду.

Но радость Матиссена погасла, едва он бдительным оком окинул зал из своего закутка – он заметил, что волнение клиентов явно нарастает. Тому были веские причины. Необыкновенная особа запустила свои сверкающие пальцы в темную гриву господина Роберта; было в этом движении нечто неприличное, что вызвало шумное веселье у ее сотрапезников и приглушенное перешептыванье за соседними столиками. Вся эта новая публика, к сожалению, не скрывала своего интереса к необычному. Валдемар Матиссен стал нервно теребить кровотокащие заусенцы, понимая, что от него ждут решительных действий.

Но что, если эта особа и в самом деле иностранка и по меркам своей страны выглядит, так сказать, обыкновенно?.. В молодости Матиссен немало поплавал по свету и каких только диковинок не повидал в заморских краях... К тому же стоящий в отдалении почетный столик по-прежнему ни о чем не подозревал.

– Гундерсен, – шепнул метрдотель с профессиональной деловитостью, которая всегда передавалась его подчиненным. – Проверь, что делается со столиком номер четырнадцать. Пусть Квам поживее подаст рябчика, и не забудь – тут же разлей по бокалам бордо.

Официант Гундерсен удалился, радуясь полученной отсрочке. В десять часов Баккен сменится с дежурства, и тогда ему самому придется обслуживать Кабак. В его душе надежда боролась со страхом – останется к тому времени женщина в ресторане или уйдет? Когда Гундерсен вернулся к метрдотелю, Индюк уже снова приобрел свое характерное выражение. Бросив взгляд на злополучный столик в Кабаке, он установил, что там разыгрываются неслыханные события. Один из не слишком воспитанных друзей господина Роберта непристойно навалился всей грудью на стол, неуклюже пытаясь дотянуться губами до лица упомянутой особы. Гундерсен в перепуге воззрился на своего шефа.

– Ширму! – прошептал тот. – Живо! Ширму к четвертому столику!

Гундерсен беспомощно таращил глаза – тащить ширму через зал было ниже его достоинства.

– Живо, говорят тебе! – приказал Индюк, а сам уже схватил розовую шелковую ширму, которая в сложенном виде стояла у входа в его закуток. Они вдвоем понесли ее через весь покрытый ковром зал – причем шествие их напоминало восточную церемонию с несением балдахина, – одним движением развернули ширму, и Матиссен пробормотал, что молодым людям, наверное, будет приятнее, если им не будут мешать.

Зал был разочарован. С этой минуты может произойти невесть что, а они этого не увидят. Довольно громкие возгласы «Валдемар!» свидетельствовали о всеобщем недовольстве. Глядя поверх голов и раздавая направо и налево ненужные приказания, метрдотель проскользнул через враждебную зону и теперь с любезной улыбкой склонялся к столикам, которые сохраняли нейтралитет, осведомляясь, как себя чувствуют клиенты, – этот маневр всегда действовал безотказно, как на тех, к кому был обращен вопрос, так и на остальную часть этой неуверенной в себе клиентуры, которая всегда мечтала удостоиться подобной чести.

Но в эту самую минуту Матиссен увидел одну из тех бродячих крыс, от которых, кажется, не может уберечься ни один ресторан в Христиании: это был любезный, седоватый маклер, который имел привычку после кофе расхаживать от столика к столику, выискивая хотя бы тонюсенькую ниточку знакомства, за которую можно ухватиться, чтобы получить приглашение присесть к столу. И вот теперь метрдотель обнаружил, что этот навязчивый господин уверенно движется к почетному четырнадцатому столику, вопросительно поглядывая на сидящих за ним, а те поочередно отводят глаза в сторону. Но общительный маклер был не так прост – он знал, к какому средству прибегнуть. В последнюю минуту он избрал тактику сердечной фамильярности и, обвив своей левой рукой – этакая дружеская лапа – плечи консула Мёллера, протянул правую пятерню для рукопожатия, от которого нелегко было уклониться тому, на кого пал его выбор. Валдемар Матиссен знал: через пять минут происходящее в Кабаке станет известно консулу – и все погибнет. И снова приходилось действовать немедленно, и притом вразрез с традицией, в которой он воспитывался тридцать лет. Повинуясь наитию, он поманил к себе официанта.

– Скажи молодому Сагену, что его просят к телефону. К тому аппарату, который в вестибюле! Да поживее!

Метрдотель считал секунды, которые прошли с того мгновенья, когда молодому человеку передали его слова, и до того, когда он небрежной походкой удалился в вестибюль, где консул, который как раз поднял встревоженный взгляд, уже не мог его видеть. Консул вставил в глаз монокль, стекло угрожающе блеснуло – это не предвещало ничего доброго.

– Гундерсен, – шепнул метрдотель. – Живо к четырнадцатому, наполни бокалы. Если консул Мёллер спросит, здесь ли его племянник, говори: нет.

Монокль был теперь нацелен прямо на Матиссена, но Гундерсен уже двигался к столу. А сам Матиссен, повернувшись на каблуках, через турникет устремился в вестибюль, где была телефонная кабина. Молодой Саген уже выходил из кабины. У метрдотеля не оставалось выбора, он подошел прямо к юноше и остановил его, не тратя времени на извинения. Он рассказал все как есть, беспомощно разводя своими истерзанными руками – я, мол, тут ни при чем.

Ей-богу, молодой человек был славный малый.

– Дорогой господин Матиссен, – радостно сказал он; он всегда казался обрадованным, когда случалось что-нибудь неприятное для него, тем труднее было выпроводить его или обидеть. – Вы сами понимаете, что я никоим образом не хочу ставить вас в затруднительное положение. Но с другой стороны, нам вовсе не хочется покидать чудесный столик, за которым ваши официанты так превосходно нас обслуживают.

В эту минуту вышедший из зала Гундерсен объявил, что консул Мёллер желает побеседовать с метрдотелем. Матиссен бросил на молодого человека умоляющий взгляд, говоривший: «Ну хотя бы подождите здесь немного!» – и его поняли. Успокоить негодующего консула за четырнадцатым столиком не составило никакого труда. Нежеланного племянника в зале не оказалось. Сплетнику-маклеру пришлось самому заглянуть за ширму и с недоумением

удостовериться, что племянника там нет. Вернулся он пристыженный – как видно, он обознался. С ним холодно распрощались. Впрочем, консул Мёллер и его друзья тоже собирались уходить, и, отдав необходимые распоряжения, метрдотель со всем проворством, на какое только мог отважиться, поспешил в вестибюль – рассказать поджидавшему его там Вилфреду Сагену, как обстоят дела. Молодой Вилфред был сама любезность.

– Дорогой Матиссен, – сказал он, улыбнувшись одной из своих радужных улыбок, – да я просто выйду из ресторана, обогну здание и войду через другой вход, тогда все получится по желанию консула, а вы сдержите данное слово.

Хмыкнув с облегчением, метрдотель проводил покладистого юношу до выходных дверей, где они и расстались, как названные братья. Матиссен поспешил вернуться в зал, чтобы подобающим образом проводить консула Мёллера и его гостей, задав непереносимый вопрос, довольны ли они, – причем задав его с таким жаром, точно от утвердительного ответа зависело спасение его души.

– Одно слово, Матиссен, раз уж мы заговорили, – дружелюбно сказал консул. – Что, мой племянник вообще не появлялся в ресторане нынче вечером?

– Уж если начистоту, господин консул, то он приходил, но, когда я дал ему понять, что, пожалуй, для него самого лучше не показываться сегодня в ресторане, он был настолько любезен, что ушел, ни о чем не спрашивая.

И эти двое также распростились, обменявшись взаимными благодарностями. Метрдотель Матиссен потер свои израненные руки, с минуту постоял, собираясь с силами, прежде чем вернуться в зал. Он был уже немолод – пошаливало сердце. Молодой человек упомянул о сдержанном слове – да, Матиссен его сдержал. Он любил держать слово. Тогда ему легче было заснуть в своей одинокой холостяцкой каморке на улице Бьеррегоргсгате.

И, вздохнув, он скользнул в зал как раз в ту минуту, когда молодой Вилфред Саген вошел туда с другой стороны. Они обменялись быстрым взглядом, и метрдотель в приливе радостного подъема лично зашел за ширму, чтобы осведомиться, как себя чувствуют его клиенты.

Они чувствовали себя как нельзя лучше. Светлые струи шампанского били во всех сердцах. За столом царил бесшабашное веселье, которое не могло не передаться пожилому метрдотелю, когда он вернулся в свой зеркальный закуток. Там он схватился за сердце, на мгновение почувствовав дурноту. Да, он уже немолод, неприятные происшествия не проходят для него бесследно – от них повышается давление. Мысли Матиссена унеслись к его домику в Энебакке.

И все-таки он спас положение! Эта буря в стакане воды тоже была отголоском волнений в широких морских просторах – Матиссен только смутно чуял их дыхание. И все же он спас положение, жизнь прекрасна, а эксцентричная молодая особа, может, и вправду иностранка...

2

Да, жизнь была прекрасна для тех, кто обитал в маленькой столице маленького государства, которое в географическом смысле лежало в стороне от остального мира; в географическом смысле – да, в экономическом – нет. К концу третьего года мировой войны светлые источники били с небывалой силой. Они, искрясь, взмывали над накрытыми столами под выстрелы

пробок. В соседних странах и в далеких морях, по которым ночной порой, погасив огни, бесшумно скользили караваны кораблей, звучали совсем другие выстрелы, и на фоне общих потерь затонувшему судну придавали не больше значения, чем зубу, выпавшему из челюсти старика.

Но те, кто жил на самом берегу источников, понимали, что светлые источники не могут бить вечно. Предвестники наступления мирных времен, а стало быть, и неизбежного понижения фрахтов тревожили безмятежные души перед отходом ко сну. Эту мысль надо было гнать подальше и стараться не набрести на нее в трезвом виде.

Почтенные обыватели, которые держались в отдалении от источников и, по правде сказать, не так уж ими интересовались, были лишь шапочно знакомы с молодой Христианией, обосновавшейся на самом берегу. Но почтенных обывателей тянула к биржевому берегу сила, которую они до последнего времени презирали, как презирали напористую армию непристойных юнцов, в один день наживавших состояние. Сила эта звалась надеждой на удачу – на возможность урвать себе долю во владениях поблизости от светлых источников, пусть хоть самую крохотную долю, в соответствии с их скромными требованиями и пассивным отношением к жизни, но все-таки долю. Долю благосостояния, какого они прежде не знали, частицу той жизни, к которой стоит приобщиться, где неплохо бы занять местечко. Вожденную частицу ценностей, которые можно превратить в маленькую усадьбу или во что-нибудь другое, надежное, устойчивое, что заставило бы их позабыть долготлетнюю глоющую зависть к фигурам, занявшим более счастливые места на шахматной доске жизни.

Вот почтенный обыватель заглядывает на минутку к одному из нынешних хладнокровных воротил – маклеру или его посреднику, заглядывает на минутку в какую-нибудь шикарную контору на Конгенсгате по соседству с обветшалыми конторами стряпчих, где полки ломаются от запыленных документов, посвященных делам и ценностям, которые когда-то казались колоссальными... Заглядывает на минутку, в замешательстве излагая свою просьбу, – так, мол, и так, не то чтобы он решил спекулировать или вздумал участвовать в общей свистопляске, а просто есть немного денег, сбережения в филиале банка на Хегдехаугсвей, он откладывает их каждое пятое и пятнадцатое число с того далекого дня, когда ему по наследству достался мебельный магазинчик...

Ледяным взглядом смотрит юнец, выражение у него такое, точно он не расслышал: что ему маленькие трехзначные числа, сбережения, наличные... все это лежит за пределами опыта и разума этого сосунка. Впрочем, почему бы нет, прошу вас, *voilà*. Почему бы не предложить почтенному старикану скромное местечко в задних рядах кадрили, хотя тому, кто танцует в первых рядах модный уанстеп, и не приходится ждать от него ответной услуги.

Почтенный обыватель, простившись с недостойным, с легким сердцем спускается по лестнице дома на Конгенсгате: ему уже грезится маленький клочок земли в Хаделанне и его дети, поступающие в университет.

Да, светлые источники били также и в душах добропорядочных людей, в душах тех, кто устал. Устали от собственной добропорядочности матери семейств, подстрекавшие своих робких мужей вступить в игру; устали и те, кто получал твердый доход – он и с самого-то начала был слишком мал, а теперь с каждым днем и вовсе уменьшался, потому что рос слишком медленно. С многих глаз спала пелена. В один прекрасный день обитатели Фрогнервей вдруг замечали, как обтрепался галун на плюшевой мебельной обивке и вытерся линолеум на полу в столовой. Они начинали вдруг ненавидеть пожелтевшие листья комнатной пальмы, за которой долгие годы ухаживали, следуя советам вдовы Олсен, хотя эти советы не помогали пальме избавиться от желтизны.

А теперь вдруг им хотелось разделаться со всем разом: с пальмами, и с плюшем, и с овальным столиком на покато полу гостиной, где на потолке пятна сырости, а на стенах

унылые, выцветшие обои, – со столиком, который когда-то казался хозяевам образчиком изысканного вкуса. Свенсены, соседи по площадке, все свезли к старьевщику, даже черную лакированную ширму с цветочным орнаментом, которая закрывала старую печь. Новая печь у них выложена светло-зеленым кафелем, а перед ней стоит курительный столик из ковanej меди, а вокруг него стулья, с такими мягкими сиденьями, что усталые ягодицы погружаются в них, точно в прохладные глубины райской кущи. И почтенный обыватель, схватив свой зонтик, потому что в августе погода ненадежна, в глубокой тревоге меряет шагами улицу своих надежд и мечтаний. В самой улице, в ее трамвайных рельсах, тускло поблескивающих в свете дня, есть что-то ветхозаветное, не стоящее многолетних чаяний и надежд. Нет, он поставил на неверную лошадку, на скрипучую клячу порядочности и твердого жалования. А на горизонте фантазии в лучах воображаемой зари ржут резвые скакуны.

Вот как получалось, что люди из хорошего общества также утрачивали привычные представления, – представления, которые были фундаментом их долгой жизни. Они даже не предполагали, что настанет время, когда этот фундамент пошатнется или даст трещину. Но такое время настало, и оно отшвырнуло прочь бесспорные истины. Само собой, эти истины вновь обретут свою ценность, когда жизнь войдет в обычную колею, лишь бы только, когда вернется эта нормальная жизнь и ее бесспорные истины, оказаться полочкой повыше, откуда удобнее сверху вниз взирать на годы добропорядочности, сдобрив самодовольство легкой приправой угрызений совести.

В этот августовский день небо над деловой Христианией было ясным и безоблачным.

Вилфред Саген простился со своими новыми приятелями, адвокатами Даммом и Фоссом, на углу Глитне и, высоко подняв голову, зашагал по Драмменсвей. В конторе указанных адвокатов – с виду она напоминала бар, отделанный карельской березой, – он встретил своего старого учителя гимнастики капитана Хагена, у которого брал уроки, когда сдавал экзамены на аттестат зрелости. У Вилфреда были некоторые затруднения с инвестированием капитала: до совершеннолетия ему еще оставался год, поэтому покупку акций компании «Соленый простор» пришлось оформить на имя капитана. К негоднованию преподавателя гимнастики, им в последнее время не везло. Дела «Соленого простора» шли вяло – может, потому, что судами распоряжались слишком осторожно, а может, этих судов и вообще в помине не было. Вилфреда это не особенно интересовало. Он вложил в дело небольшую сумму. Он не очень разбирался в игре, которой занимались люди, его окружавшие. Но наблюдать за ней было забавно. Люди эти с каждым днем суетились все больше – сегодня от радости, завтра от огорчения. Но суетились все время. Все эти коммерсанты и маклеры, эти едва оперившиеся юнцы с безвольными подбородками, проявлявшие известное знание мира, в котором они до сего дня не имели твердой опоры, забавляли Вилфреда. Сверкающие чешуей галстучных булавок, всевозможных запонок, цепочек и прочих украшений из серебра и перламутра, они напоминали ему косяк сельди. Бывало, в детстве, когда они жили в Сковлю в Хюрумланне, он заплывал на лодке в бухту, где в кошельковом неводе барахталась пойманная сельдь, ворошил ее веслом, и перепуганные рыбины бестолково метались туда-сюда, пока наконец не уходили в глубину, где было темно, безопасно и где их не могли настичь ни весло, ни луч света.

Вилфред шел и думал о том, что его не слишком печалит, что он живет обособленно, вне косяка. Он вообще довольно беспечно прожил это лето. И теперь он шел, высоко подняв голову, как будто ему все трын-трава. Навстречу катил автомобиль, прижимаясь к тротуару. Автомобиль притормозил; Вилфред обратил внимание на низкую, как бы расплюснутую машину – последний крик марки «Хупмобиль».

– Ты что, не узнаешь меня?

– Конечно, я узнал тебя, Андреас, я просто твоей машиной залюбовался.

– Поздравь меня, дружище, – сказал Андреас панибратским тоном в духе времени, протягивая Вилфреду руку из открытой машины. Вилфред пожал ее, не преминув отметить, что рука гладкая, бородавок на ней нет, не то что в былые дни.

– Залезай в машину, пропустим по стаканчику, – самоуверенно предложил Андреас. Вилфред пригляделся внимательней к молодому человеку, с которым когда-то вместе учился в школе фрекен Воллквартс для мальчиков из хороших семей. Очки в круглой стальной оправе сменило пенсне американского образца с зажимом на переносице. Изучая карту вин в кафе в парке, Андреас то и дело снимал и надевал пенсне.

– Как насчет бокала шампанского?

– Спасибо, мне кружку пива, и небольшую: я в шесть часов обедаю у матери.

По бесцветному лицу Андреаса скользнула тень разочарования. По сути, он мало отличался от доверчивого мальчишки, которому не везло в школе, но которому его преданный отец помог окончить торговые курсы и поступить на склад. Как видно, Андреас охладел к работе на складе. Он заказал себе бокал вермута со льдом. Вилфред предложил ему закурить, но Андреас, как и в прежние времена, отказался от сигареты. Зато из кожаного портсигара словно по волшебству явилась толстая сигара.

– Твоя мать живет все там же, на Драмменсвей? – спросил он.

И тогда Вилфред вдруг понял – Андреас всячески старается подчеркнуть, что все бывшее давно прошло.

– Все там же! – ответил он со вздохом, словно сто лет минуло с тех пор, как он одолжил бородавчатуму Андреасу свой велосипед и вообще помыкал и вертел им по своему усмотрению. – А вы, я слышал, съехали с Фрогнервей?

– Фрогнервей? – Казалось, Андреасу приходится рыться в памяти, вспоминая третичный период. – Ах да, Фрогнервей. Мы со стариком перебрались в квартиру на Юсефинегате. Там просторнее.

Андреас непринужденно продолжал свой рассказ. Мать его умерла. Выходило как бы само собой, что, с тех пор как их семья стала меньше, ей нужно больше места.

– Просторнее, ну как же, понятно, – согласился Вилфред. – А как поживает твой отец?

– Спасибо, как раз сегодня он должен вернуться, ходил в Швецию на яхте.

– Уж не хочешь ли ты сказать, что твой отец тоже... – Вилфред едва не сказал «спекулирует», но удержался. Он вдруг обрадовался, что именно эти люди вырвались из своих унылых будней и явно ухватились за жизнь с другого конца.

Андреас пропустил вопрос мимо ушей.

– Он навещал наших шведских родственников. Как тебе известно, наша настоящая фамилия Эрн, – сказал он.

Вилфреду стало весело. «Разве мне это известно?» – подумал он. А вслух спросил с любопытством:

– Как она пишется?

– Через «э» обратное.

– Пиши лучше через «ё».

– Зачем? – Уж не скользнула ли по озабоченному лицу бизнесмена Андреаса легкая тень неуверенности, точно отсвет былых дней, когда Вилфред одним своим замечанием сбрасывал его с вершин восторга в бездну стыда? Так или иначе эта тень быстро исчезла.

– Единственно верное правописание, – веско сказал он. – Старик был у нашей шведской родни и получил на этот счет документы. На днях мы вернемся к нашей старой фамилии.

– И стало быть, будете называться Эрн. Андреас Эрн... – Вилфред как бы примеривался к новому имени. – Ну что ж, звучит недурно.

Андреас скромно сиял.

– По правде сказать, мне-то самому все равно. Но старик...

– Скажи, с каких это пор ты стал звать отца «стариком»? Бросив на Вилфреда быстрый взгляд, Андреас отхлебнул

глоток вермута. Потом пожал плечами.

– Отец увлекся геральдикой, знаешь, всякими там геральдическими щитами и тому подобным... – Секунду поколебавшись, он повертел в руках папку из свиной кожи, которую прихватил с собой из машины. – Сейчас я тебе покажу... – продолжал он все еще с некоторым смущением. – Я несколько дней просидел в Государственном архиве, пока старик был в плавании, и вот нашел древний герб Эрнов... – Он извлек из папки кусок картона, обернутый в папиросную бумагу, и осторожно положил его на скатерть перед Вилфредом. Это был орел – синий на золотом фоне. Вид у него был суровый, как и надлежит орлам.

– А что это он делает головой? – спросил Вилфред.

Поговорили об орлах семейства Олсен, и довольно. Только бы парень не вздумал копаться в этом так долго, что потом сам пожалеет...

– Как что делает? Он ее повернул, ты же видишь. Так и должно быть. Это мне срисовал один художник.

Вилфред посмотрел Андреасу прямо в глаза. Он хотел знать, правильно ли он угадал. Он чувствовал себя предателем, оттого что не мог удержаться от иронии.

– И теперь вы закажете сервиз с орлами? – спросил он, чтобы положить конец неопределенности.

– Как ты угадал? – с восхищением спросил Андреас. – Я только что его заказал. То-то старик обрадуется... – И вдруг по бледному мальчишескому лицу скользнула тень озлобления. – Небось завидуешь. Нам всем в старые времена так нравилась твоя фамилия – Саген. Может, у вас на гербе изображена пила?

– Наверняка, – весело подхватил Вилфред. – Как-нибудь загляну в архив и проверю.

Он с удовольствием замечал, что в мальчишке «старых времен» появилось здоровое чувство самозащиты. Андреас просто создан, чтобы выбиться в люди. Вилфред исполнился странного сочувствия к этому беспомощному мальчугану, который преуспел и разъезжает теперь в автомобиле марки «Хупмобиль».

– Надеюсь, ты разумно распоряжаешься деньгами, которые заработал? – серьезно спросил Вилфред. И быстро добавил, чтобы не задеть Андреаса: – А то сейчас развелось много

шалопаяев, которые в один прекрасный день окажутся без гроша. Ведь все это долго не продлится. Мой дядя Мартин говорит...

– А это верно, что твой дядя – сторонник немцев? – грубо перебил его Андреас. – Все говорят, что он держит их сторону.

Вилфред подумал. Улыбнулся.

– На мой взгляд, он вообще не держит ничью сторону и, уж во всяком случае, не мою. Но в этих делах он толк знает.

Андреас с вызовом повертел в руках бокал.

– В каких это делах? В экспорте меди в Германию, как я слышал. В то время как наши моряки... – И он печально уставился в стол.

Вилфред снова внимательно взгляделся в него. Нет, Андреас не притворялся. Ни тени иронии не было в выражении его лица – ни тени, ни когда он сочувствовал гибнущим морякам, ни когда разглагольствовал о фамилии Эрн... Вилфред решил поддержать этот тон.

– Да, все это весьма печально, – вздохнул он.

– Печально, еще бы! – запальчиво выкрикнул тот. – Будь уверен, черт побери, мы потом припомним тех, кто помогал немецким свиньям... А ты сам? – спросил он, как бы по ассоциации мыслей. – Не хочешь ли ты сказать, что сам ты не играешь на бирже?

Вилфред рассказал все как есть: что он пробовал играть, но, должно быть, покупал неудачные бумаги. Андреас на минуту задумался. Даже слепой увидел бы, что он размышляет, стоит ли помочь старому другу зашагать в ногу с временем. Но, судя по всему, он подавил в себе это желание.

– Заедем на минуту ко мне, посмотришь нашу квартиру, – предложил он вместо этого.

И снова Вилфреду передалась наивная радость, какую испытывал этот мальчишка, когда мог чем-нибудь похвастаться. Он бросил взгляд па часы.

– В шесть мне надо быть у матери, – сказал он. – И еще по дороге зайти в цветочный магазин.

Сады вдоль Драмменсвей были подернуты солнечной дымкой. В начале Фрогнервей Андреас прибавил газу. Похоже, он навеки возненавидел эту улицу, даже ту ее часть, которая лежала вдали от места его унижения в районе Фрогнер-парка.

– Чертовски дорогие цветы ты купил, – заметил он с восхищением.

– Мама любит орхидеи.

Андреас вытаращил глаза.

– Ты покупаешь цветы матери? – выкрикнул он. У него появилась неприятная манера кричать. Вилфред помнил, что раньше Андреас говорил тихо, почти шепотом.

– Ты, наверное, и сам носишь цветы на могилу матери.

– Ясное дело, – сказал Андреас, остановив машину. – Но моя-то мать умерла.

Это был маленький кирпичный домик – одна из аристократических вилл в той части Юсефинегате, которая относится к району Хомансбю. Они бесцельно прошли по комнатам

– Андреас потерял самоуверенность и притих. Вилфред подумал, что для него уже настало отрезвление. Андреас ведь был неглуп, во всяком случае не настолько глуп, чтобы не почувствовать, когда свалил дурака.

Три смежные, неопределенного назначения комнаты являли собой нечто среднее между спальней и гостиной; все три были роскошно обставлены: диваны со множеством разноцветных подушек, курительные столики и каминные щипцы, которыми никто не пользовался. Вилфред сразу представил себе, как отец и сын бродят среди этого безликого нагромождения вещей, преисполненные мятежной радости оттого, что ничто не напоминает о прошлом.

– Твоему отцу, наверно, очень нравится этот дом, – сказал он, беспомощно оглядевшись.

На лице Андреаса отразилось замешательство. Он заметил кресло-качалку. Оба одновременно заметили ее. И оба разом вспомнили столовую на Фрогнервей и спящего отца, понурого человека, прикрывшего голову газетой, чтобы защититься от мух. И в ту же минуту Вилфреду показалось, что он чувствует знакомый запах, хотя этот запах не мог идти ни от комнат, ни от одежды, – и это пахло не бедностью, нет, это пахло скукой.

– А твой брат? – неожиданно спросил Вилфред.

– Работает в Тейене в институте. Набивает чучела птиц, ты, наверно, помнишь. Но ты вот говорил о родителе... – Андреас вдруг назвал отца «родителем» – так в былые времена иногда называли опостылевших отцов мальчишки, которых помучивала совесть: ведь отцы-то, по всей вероятности, любили своих сыновей, а те не ставили их ни в грош... – Представляешь, родитель захаживает на Фрогнервей, я застучал его на месте преступления. Как видно, он неисправимо сентиментален.

Вилфред вдруг почувствовал, что его тяготит близость этого постороннего друга, которого он когда-то допустил в свое детство и тот шебаршился где-то рядом, хотя общего у них не было ничего – разве что спертый воздух, которым они оба дышали в классе. Чего ради эти люди вечно лезут к нему со своей откровенностью? Не нужна она ему, она ему глубоко противна. Но не успеешь оглянуться, и тебе уже изливают душу. Всегда им удается накинуть на него холодную, влажную пелену и как бы поймать его в сети. В душе Вилфреда вспыхнуло неподдельное раздражение.

– Может, ты и на качалке изобразишь орла? – спросил он.

Андреас покосился на него с недоверием. Он заглянул в честные голубые глаза своего опасного приятеля-аристократа, который когда-то не раз выручал его из неприятностей, но сам же втягивал его в них. А впрочем, втягивал ли? Самоуверенный Андреас вдруг стал менее уверен в себе. Он бросил взгляд за ограду виллы – туда, где стоял его автомобиль. Это помогло. Спасительная уверенность возвратилась.

– Может статься, – небрежно обронил он. – Отец так привязан к старым вещам. – Он вдруг повернулся лицом к приятелю, и глаза его стали похотливыми. – А я-то думал, ты купил цветы для красотки, с которой всюду ходишь, – сказал он.

Вилфреда передернуло. Убожество мужских чувств, скрытых личиной дружбы, давно уже не удивляло его, но наводило на него тоску, безграничную тоску, как, впрочем, всякая попытка влезть ему в душу со стороны друзей и вообще мужчин. Теперь он мог в два счета и навсегда стереть в порошок этого трагикомического выскочку. Он знал, что довольно слова или взгляда, чтобы его раздавить, потому что расхрабренная личность завела малыша Андреаса, того самого, у кого руки были в бородавках, а уши в чернилах, на такой тонкий лед, что он, того и гляди, проломится – будь ты хоть десять раз орел, Эрн!

– Твой отец очень любил свою качалку, – вместо этого сказал Вилфред.

И в эту же секунду Андреас задрожал, готовый вспыхнуть, чуть ли не ударить. Ноздри у него раздувались. Вилфред принудил себя смотреть на них. И на уголки губ. Бесцветные губы на слишком бледном лице, слишком короткое расстояние между ртом и носом. Теперь можно его сокрушить. А еще лучше – усугубить его неуверенность. Вилфред забавлялся.

– Тебе надо бы отпустить бороду, – сказал он. – Тебе пойдет.

И снова в Андреасе произошла перемена. Яркий румянец залил его лицо. Он истерически расхохотался.

– Черт побери, ты и это угадал – откуда? – Он подошел к зеркалу. – Вилфред и сам растерялся. – А знаешь что, – быстро обернувшись к нему, сказал Андреас, – сейчас мы с тобой, как положено старым друзьям, разопьем по стаканчику виски, по маленькому... – И, снуя со стаканами и бутылками между шкафом и столом, торопливо, чтобы Вилфред не успел его остановить, затараторил: – Вечно ты, бывало, все угадывал, отчасти это... – Он осекся, сам смутившись от того, что собирался сказать. – Отчасти это и производило впечатление на ребят, – вяло закончил он.

Вилфред пригубил виски. У него мелькнула мысль: «Мы все время говорим

не то. Надо помочь этому парню оправиться...» Он одобрительно поглядел сквозь стакан на свет, потом бросил взгляд на приятеля.

– Как это тебе удастся в наше время добывать такое виски?

И тут Андреас разразился потоком слов. О садовниковом Томе – Вилфред должен помнить маленького Тома, которого он, Вилфред, когда-то вытащил из воды (Андреас так и сказал: «вытащил из воды», а не «спас»)... Том разбогател на каком-то промышленном предприятии и построил для родителей новые оранжереи. Но садовник не пожелал оставаться садовником, он перевозит в Хюрумланн контрабандную водку и перепродает ее местным спекулянтам с большой прибылью. У него отличная моторная лодка, стоит на причале в Нерснесе. Если Вилфред хочет, он, Андреас, может устроить ему несколько бутылок, а не то ящик, несколько ящиков, надо будет только съездить к одному сарайчику в Аскере, так что, если хочешь...

Поднеся к губам ароматную жидкость, Вилфред сразу повеселел. Про него говорили, что он опьяняется не спиртным, а самим присутствием того, из чего можно извлечь удовольствие. А там, где ему приходилось бывать, виски не текло рекой. На редких семейных сборищах дядя Мартин полновластно и единолично наслаждался предметом своей невинной слабости. Что до компании Роберта и его адвокатов, то она нуждалась в шампанском, чтобы подкрепить всегдашние сомнения в надежности удачи.

– Ты мне окажешь большую услугу, – сказал Вилфред, хотя не знал, кто у кого окажется в долгу. По сути дела, ему хотелось, чтобы Андреас, оказав ему протекцию, мог подняться в собственных глазах. Попроси его Вилфред ссудить тысячу крон, счастье Андреаса было бы полным. К тому же Вилфреда тянуло ко всему запретному и ко всему, что перевернулось в жизни вверх ногами. Все эти перемены, то, что низы стали верхами и наоборот, приятно возбуждали его. Что там пророчил дядя Мартин насчет наступления рабочего класса? Пожалуй, это на свой лад оправдалось: подземные силы выползли на свет, отняли бразды правления у тех, кто до сих пор наслаждался жизнью, и, смеясь, ввергли тех в пучину скуки, где до сих пор прозябали сами.

– Теперь ваш черед слизывать пенки, – сказал Вилфред.

Андреас поперхнулся спиртным.

– Чей черед? – откашливаясь, переспросил он.

– Ну хотя бы садовника, да кого угодно. Слизовать пенки, вместо того чтобы пресмыкаться и батрачить в поте лица. Почему бы отцу Тома не обзавестись моторной лодкой? Поверь мне, это Великая Норвежская Революция, она будет занесена в анналы истории.

Андреас в нерешительности встал – может, Вилфред имеет в виду его, Андреаса, и семью Эрн?

– Я принесу еще содовой!..

Но Вилфред тоже встал – ему пора уходить. Однако Андреас не унимался. Он отвезет Вилфреда. Ему в ту же сторону, он должен встретить старика на Дроннинген. У старика своя яхта, и большая...

Они ехали по Юсефинегате в лучах заходящего осеннего солнца. Искусственное оживление приятелей угасло, едва ветер коснулся их лиц.

– Стало быть, договорились, – вяло сказал Андреас, протянув Вилфреду руку у дома на Драмменсвей. Он намекал на виски, скрепляя надежду на дружескую близость ниточкой, которая даже ему самому представлялась тонкой и искусственной. И по примеру «прежних времен» Вилфред всемилостивейше предоставил ему наслаждаться своим счастьем.

– Как тебе угодно, – сказал он, повернувшись к дому. Там, где дорога уходила вниз, под листвою деревьев, он еще раз увидел жалкую спину сидящего за рулем богача Андреаса, пристыженную спину, – спину, на которой было написано поражение, совсем как в детстве, когда Вилфред выпроваживал его, обронив на прощанье какую-нибудь снисходительную фразу.

Вилфред презрительно усмехнулся и с орхидеями в руках поднялся вверх по восьми знакомым ступеням.

Мать и сын сидели за столом в обшитой дубовыми панелями столовой на Драмменсвей. Не без торжественности подняли они бокалы белого бордо, как не раз прежде, как всегда. Это был маленький вводный жест – они как бы примерялись друг к другу. Они не часто обедали вдвоем, с тех пор как Вилфред уехал из дому – на время, в виде пробы, как они полюбовно решили сообща. Вилфред слегка отодвинул стоявшие между ними на столе цветы, чтобы лучше ее видеть.

– А не убрать ли их вообще? – предложил он, улыбнувшись чуть поддразнивающей улыбкой, как было принято между ними. – Ведь это всего лишь мой подарок... – Он встал и продолжал говорить, переставляя цветы. Описал встречу с Андреасом. Они вместе посмеялись над фамилией Эрн. – Только запомни, мама, они в родстве не с первым попавшимся орлом, а с синим на золотом фоне – это я на всякий случай, вдруг тебе придется встретиться с ними, с кем только не приходится встречаться в наше время.

Он сказал это с горькой гримаской, он говорил все, что положено говорить. Говорил, словно бы наслаждаясь унижительной процедурой повторения избитых фраз. Но смеявшаяся мать вдруг стала серьезной.

– Я знаю, что ты встречаешься с разными людьми, – сказала она.

Он посмотрел на нее с другого конца стола.

– И что же? – спросил он не без вызова. Чувство умиротворения и боевой задор вдруг

слились для него в одно в этой комнате, почти квадратной, где все дышало устойчивостью и благородством пропорций.

– Я просто хотела сказать... ведь слухи доходят даже до меня, хоть я и живу взаперти и вообще не представляю, что происходит вокруг...

И вправду: годы войны и всемирного безумия прошли как бы мимо фру Сусанны Саген, не оставив на ней следа. Пожалуй, она чуть пополнила за эти годы, когда где-то вокруг, в далеком от нее мире, царила нужда; еще приятней округлились плавные линии ее фигуры, но по-прежнему не видно ни одной морщинки и выхолена так, что это выглядит почти вызывающе в эпоху, когда люди чванятся страданиями, которых сами не испытывают, – хотя бы из приличия они считают необходимым не оставаться от них в стороне и страдать.

– Я уверен, что дядя Мартин приносит тебе вести из внешнего мира, – холодно заметил сын.
– Между прочим, ты раздобыла изумительных цыплят. Откуда, хотел бы я знать, берутся такие яства в нынешние времена?

– Мой брат Мартин всегда так мил. – Сказано это было как-то рассеянно, словно она хотела подчеркнуть, что думает совсем о другом.

– И связи у него, верно, недурные! – заключил Вилфред.

– Откуда мне знать... – прежним тоном отозвалась она. Отозвалась с присущей ей невинной готовностью относиться с полным безразличием к тому, откуда сваливаются на нее мирские блага.

– Но раз уж ты заговорил об этом, мой брат и в самом деле дал понять, что тебя часто видят на людях...

Это прозвучало не как упрек, а как вздох сожаления, вырвавшийся из сердца, считающего себя обязанным огорчаться в должное время по соответствующему поводу. Но в Вилфреде под влиянием хорошего вина, которым он запил отнюдь не такую уж маленькую порцию виски у Андреаса, зашевелилось беззлобное раздражение.

– В городе много говорят о дружбе дяди Мартина с немцами, – заявил он, невозмутимо отломив ломтик чуть присоленного хлеба – этот привкус соли сохраняли только маленькие пышные хлебцы пекаря Хансена, аппетитные хлебцы, на которые не оказывали действия непросеянная мука и всякие эрзацы, заполонившие во время войны пекарни норвежской столицы.

– Я полагаю, у тебя нет оснований жаловаться на твою семью, – заметила мать с ноткой негодования в голосе. Она нажала кнопку звонка, прикрепленного к низу столешницы. Служанка вошла, чтобы сменить тарелки. На столе появился сыр и нежный, блеклый осенний салат.

– Возьми, к примеру, твою тетку Клару, – продолжала фру Сусанна, когда они вновь остались наедине. – Ты ведь знаешь, что она перестала давать уроки немецкого в тот самый день, когда немцы начали эту беспощадную подводную войну против наших бедных моряков...

И снова Вилфред восхитился всеобщей национальной скорбью, которая проявлялась каждый раз, как только речь заходила о бедных моряках. Казалось, люди глотают слезы, стоит им упомянуть бедных моряков, и дрожат так, словно их самих только что окатило ледяной волной Атлантического океана.

– Она дошла до того, что уверяет, будто разучилась говорить по-немецки, – с восхищением продолжала фру Саген. – И право же, слова имеют волшебную силу: мне кажется, она и

впрямь забыла язык.

– Прекрасно, – подтвердил Вилфред без тени иронии. Но мать внимательно поглядела на него.

– А твоя тетка Кристина? Как только стала ощущаться нехватка сахара и какао, она немедленно закрыла свою маленькую кондитерскую, хотя ее дела шли очень успешно. Но это еще не все – знаешь ли ты, что она преподает на Государственных курсах для домохозяек по использованию заменителей?

– Я же говорю: прекрасно, – примирительным тоном сказал он. – А кстати, мама, что, если к этому сыру мы выпьем по глоточку золотистого хереса?

Он сам встал, чтобы его принести, – проворный и ловкий в каждом своем движении. Она, как прежде, следила за ним. Во взгляде ее было нечто большее чем одобрение, нечто меньшее чем восторг, пожалуй, своего рода удовольствие оттого, что он действует так изящно и так по-хозяйски.

– Послушай, мама, – заговорил он, когда они поставили бокалы на стол. – Как по-твоему, из чего делаются эти эрзацы? – Он говорил таким серьезным и деловитым тоном, что она сразу растерялась.

– Не знаю, – ответила она. – Кристина недавно говорила мне, будто бы они совершенно превосходны. Наверное, это селедка, – добавила она с мимолетной и совершенно произвольной гримаской. – Селедка в виде бифштекса, селедка в виде... словом, насколько я понимаю, во всех видах. Это будто бы необыкновенно вкусно, – добавила она, словно извиняясь. – Кстати, тебе следовало бы попробовать этого сыру, мой мальчик. На мой взгляд, ты слишком исхудал, и обычно к концу лета у тебя загар гораздо темнее.

Осторожные слова, высказанные и в то же время невысказанные. Тень подозрения, упреки наготове.

– Кстати, дядя Мартин поместил кое-какие наши бумаги в более доходные предприятия, – вдруг сказала она. В голосе ее прозвучала нотка ребяческой гордости.

Он поглядел на нее в непритворном испуге:

– Ты хочешь сказать, мама, что ты тоже...

– Что тоже? – простодушно спросила она.

– ...Тоже

спекулируешь? – Слово прозвучало резче, чем ему хотелось. Она подняла руки, словно обороняясь от какой-то непристойности, произнесенной за столом.

– Что это за выражение? – сердито спросила она. – Можно подумать, что мой брат участвует во всей этой жалкой возне, о которой столько говорят. Нет, мой мальчик, речь идет просто о том, что он поместил кое-какие бумаги, ну да, в более доходные предприятия. Но я так плохо в этом разбираюсь. Да и к тому же у тебя есть...

Он это знал. Ему авансом выделили часть того, что ему предстояло получить в наследство. Чтобы он испытал себя, пожил на свой страх и риск, как выражался либеральный опекун дядя Мартин. Нет, ему и впрямь было не на что жаловаться...

– Ты не поняла меня, мама, – сказал он проникновенно. – Я просто немного удивился, мне трудно представить, что ты тоже участвуешь в этом шабаше, в который вовлечены все.

Впрочем, я ничего не имею против – ты там будешь в хорошем обществе.

Но она встревожилась. Когда они пили кофе в гостиной, она снова вернулась к его замечанию. Они сидели в эркере, выходящем на Бюгдё. Перед ними расстилалась темно-синяя бархатистая гладь Фрогнеркиля, а по ней скользили белые и красновато-коричневые яхты, возвращавшиеся из дальних прогулок. «На одной из них отец Андреаса, – подумал Вилфред. – Вот тот желтовато-кремовый лебедь, может, и есть его яхта, она довольно большая».

– В хорошем обществе? – переспросила она. – Ты хочешь сказать, что порядочные люди тоже пустились в эту... спекуляцию?

– Милая мама, – сказал он. – Выражение «порядочные люди» ты тоже позаимствовала у дяди Мартина. «Порядочные люди» уже несколько лет участвуют в спекуляциях. По правде сказать, ты явилась к шапочному разбору. – Он бросил на нее требовательный взгляд, несколько раздраженный тем, что она не предлагает ему коньяку: он прекрасно знал, что, несмотря на ее разговоры о трудных временах, ее погреб по-прежнему полон превосходными напитками – правда, с тех пор как самым распространенным преступлением в стране наряду с контрабандой на ближних и дальних берегах стало очищать винные погреба, вина переместились из подвалов в шкафы и на полки.

– Ты ошибаешься, – сказала она с неожиданно обретенной уверенностью. Она знала, что, если сейчас подать коньяк, неприятная строптивость сына утихомирится. Она встала и, вернувшись с подносом, закончила: – Во все времена в делах был старый добрый обычай – помещать свои капиталы как можно выгодней. – Она поставила поднос на стол и, вопросительно взглянув на сына, наполнила его рюмку.

– Дорогая мамочка, – сказал он, вдыхая вожденный аромат спиртного. – Ты говоришь, как по книге читаешь, ну прямо дядя Мартин. – И, не давая ей вставить слово, продолжал: – Я тебе уже объяснил, что не имею к этому никакого отношения, но, как, судя по всему, тебе дал понять дядя Мартин, я встречаюсь с людьми, которые обделывают эти дела, и поверь мне, даже самые опытные спекулянты отнюдь не знают, какие бумаги окажутся выгодными или надежными в будущем – и даже в самое ближайшее время.

Но она была непоколебима.

– Мой брат Мартин знает, что делает, – сказала она, однако все-таки позволила налить себе маленькую рюмку коньяку.

Вилфред удовлетворенно вздохнул, чувствуя приятное жжение в горле.

– Пусть будет так, – сказал он. – Хотя по правде сказать, я думаю, что мы с тобой оба не слишком смыслим в том, о чем сейчас толкуем.

Но мать вдруг о чем-то вспомнила и, спохватившись, взглянула на часы.

– Вилфред, а ведь я обещала твоей тетке Кристине побывать в Доме ремесел. Она устраивает там очередной показ. – Она подметила испуганный взгляд сына. – Извини, пожалуйста, но, когда ты приходишь ко мне обедать, у тебя обычно столько разных планов, и я думала...

Перед ним молниеносно обнажилась гротесковая сторона ситуации. Они оба, ублаженные изысканным домашним обедом, будут смотреть, как искусная Кристина учит стесненных в средствах хозяек использовать недоброкачественные продукты, чтобы готовить пищу, напоминающую ту, какую им хотелось бы есть. Ему стало весело, он любил подобные противоречия, в которых никогда не было недостатка.

– Мамочка, – сказал он, улыбаясь своей самой радужной улыбкой, – да я с удовольствием пойду с тобой в Дом ремесел. – И, видя, как она обрадовалась и какой груз свалился у нее с души, добавил: – А помнишь, как мы с тобой ходили в Тиволи и смотрели индийских факиров? Сразу после выпускного экзамена в школе фрекен Воллквартс?

– Это когда ты прочитал непристойные стихи? – На нее уже нахлынули приятные воспоминания.

– Это была народная песня, мама, старинная датская народная песня. По моим тогдашним детским представлениям – гарантия добропорядочности...

– Черта с два! – радостно воскликнула она, повторяя одно из любимых выражений дяди Мартина. – Так я тебе и поверила! Но неужто ты и вправду пойдешь со мной? Кристина так долго приставала ко мне, что пришлось пообещать...

– Живо переодевайся! – шаловливо крикнул он. – Наверное, уже восемь, нельзя терять ни минуты! – Он быстро вскочил, схватил мать за обе руки и легко повернул к двери. А потом, с ласковой настойчивостью держа за плечи, повел к выходу.

Радостно обернувшись к нему, она воскликнула:

– Всего две минуты! Будь добр, убери бутылку на место!

Он исполнил ее просьбу. Только сначала налил себе полную рюмку, потом еще одну, потом убрал бутылку в буфет, стоявший в столовой. А потом с полной рюмкой в руке стал смотреть на Фрогнеркиль. Тень противоположного берега теперь закрыла всю водную гладь, и залив стал грозным и сумрачным. А он думал о Кристине, ласковой и энергичной тете Кристине, которая посвятила его в то, что называют таинством любви, в то, что не стало для него таинством благодаря ее деятельной заботе... Он почувствовал нежную благодарность при воспоминании об этой необременительной любовнице – женщине одного с ним круга, если не одной крови, соблазнительном создании со всеми безднами тела и души, которое было для него олицетворением соблазна в то лето, полное внутренней борьбы, когда он становился взрослым, куда более бескорыстной и притягательной, нежели многие женщины, моложе ее, которые пришли ей на смену в самых разных кроватях и на неудобных диванах, в кустах и в лодках... И вот теперь, приобретя благопристойную седину, она стоит, кто знает, может, даже на трибуне, манипулируя селедкой и прочей скудной снедью и обращаясь к слушательницам, жаждущим, чтобы им разъяснили маленькие повседневные тайны нынешних трудных времен, которые многих обогатили, но большинство обрекают на все большую бедность и прозябание по мере того, как падают в цене кроны, дурацкие кроны, а эти люди так и не научились добывать их побольше, чтобы хватало на жизнь... Вилфред глядел, как подплывают к берегу лодочки в маленьких скорлупках темно-красного цвета, в лодках, купленных и оплаченных тем, что родилось от биржевых цифр, от крохотной разницы в цифрах между сегодняшней и завтрашней биржей, и что превратилось в миллионы тех самых крон, которых домохозяйки из Дома ремесел раздобыть не могут и о которых с горестной добропорядочностью мечтают во многих и многих домах.

– Поторапливайся! – услышал он оклик из дверей. – Я вызвала такси...

То, что они приехали в машине, усугубило противоречивый смысл их затеи в глазах Вилфреда. Он подметил удивление на лице матери, когда они вошли в зал Дома ремесел. Она настроилась на серьезный лад – она отважилась на опасное путешествие с научными целями в низшие слои общества, где обретались те, кого ее брат именовал «народом». Войдя, они увидели плотную стену темных спин: большинство зрителей сидели, но народу было столько, что всем не хватило стульев. Многие с любопытством разглядывали витрины, где были выставлены изысканные подобиya традиционных блюд. Вилфред прежде всего поискал глазами Кристину. Никакой трибуны здесь не было и в помине. Собрание

напоминало скорее встречу единомышленников, нежели урок домоводства в условиях кризиса. Умиротворенное жужжание свидетельствовало о том, что собравшиеся довольны возможностью пообщаться.

Прозвонил звонок. Голоса стали смолкать. И тут они оба увидели Кристину в белом халате: округлая, опрятная, она отделилась от серой массы домашних хозяек и попросила занять места всех, кто сумеет найти место. Она произнесла эти слова с извиняющейся улыбкой, любезно, тоном человека, привыкшего выступать. Он вспомнил, что ведь когда-то за границей она играла и пела в ресторанах под аккомпанемент лютни. Теперь ей пригодился этот опыт. Деятельной Кристине пригодились все. Сторож принес два стула для матери и сына – конечно, это распорядилась Кристина, но сделала это так, что никто ничего не заметил. В тишине еще звучали отдельные негромкие голоса. Две дамы на скамье перед ними обсуждали, как добиться того, чтобы прачки, приходящие стирать на дом, приносили с собой свои хлебные карточки. Обе считали, что те обязаны приносить их с собой, а если не хотят, так пусть не...

Кристина повелительно подняла руку и заговорила внятно и твердо – от всей ее фигуры веяло властью. Сегодня по поручению совета домохозяек она познакомит дам с точным рецептом изготовления «масла без масла» и покажет, как оно делается. После чего присутствующие смогут отведать продукт.

Пока Кристина произносила свою маленькую речь, Вилфред украдкой поглядывал на мать. Услышав про «масло без масла», он слегка скривился, но фру Саген не моргнув глазом внимала уверенному голосу Кристины – он разносился по всему уютному, сверкающему витринами залу.

Оказалось, для того чтобы приготовить «масло без масла», надо взять двести пятьдесят граммов американского лярда, положить в него сырую картофелину и, помешивая, тушить на огне, пока жир не растопится. Рассказывая, Кристина взяла небольшую кастрюлю и поставила на газовую горелку. Она делала все очень наглядно, так, чтобы видел каждый, и помешивала в кастрюле новенькой деревянной ложкой.

– Тушите на маленьком огне четверть часа, – прозвучал ее голос. – Потом выньте картофелину. – Она это проделала. – А жиру дайте остыть... – И пока он остывал, проворная Кристина схватила другую кастрюлю, которая стояла наготове с продуктом уже в следующей стадии приготовления. – Предположим, что он уже остыл, – сказала она сдержанно шутливым тоном. – Я беру полчайной ложки пищевой соды, чтобы отбить вкус лярда. Потом, как вы видите, добавляю две капли пищевого красителя, полстоловой ложки соли плюс... – и тут она сделала шутливую паузу, – два с половиной децилитра сливок... можно консервированных, – со смехом заключила она. Дамы весело захихикали. Кристина свое дело знала – она вертела слушательницами, как хотела. – А теперь оставим кастрюлю на двенадцать часов, – вздохнула она с негромким смешком. И в ответ щедро отозвалась благодарная аудитория. – Но чтобы не задерживать присутствующих здесь дам на такой длительный срок, – продолжала Кристина, схватив кастрюлю с продуктом, доведенным уже до следующей стадии готовности, – вообразим, что эти двенадцать часов прошли, и добавим еще полстоловой ложки соли. И тут надо подождать еще двенадцать часов!

Теперь смеялись без удержу. Это была радость будней под знаком женской солидарности. Золотая жила веселья на фоне серой повседневности с ее невкусной и дорогостоящей едой. А здесь был клуб посвященных – они одурачат злую судьбу, которая обманывает их с каждым днем все хуже. Все присутствующие неотрывно смотрели в рот Кристине. Она была их предводительницей, героиней домохозяек. Они готовы были следовать за ней до окончательной готовности «масла без масла» и прочих яств «без» чего-нибудь еще.

– А теперь, дорогие дамы, прошло еще двенадцать часов... – Кристина хлопнула своими

белыми руками. – Масло готово! Во вторник мы продолжим демонстрацию показом рыбной муки Накко!

Разочарование и восторг смешались в общем смехе. Женщины поднялись со скамеек и стали протискиваться вперед, чтобы попробовать готовое масло. Молодые опрятные помощницы в белых халатах выпорхнули из кухни с тарелочками и ложками. Вилфред поглядел на мать. Голос Кристины перекрывал общий гомон:

– Прошу вас, дорогие дамы, каждая может подойти и попробовать!

Теперь зал огласили вздохи и стоны восторга. Женщины устремились вперед, оттесняя тех, кто уже успел отведать лакомство. Вилфред все еще ощущал гортанью блаженный вкус обеда и коньяка.

– Мама, ты должна попробовать, – шепнул он.

Это было как когда-то в Тиволи: внутри клуба посвященных они вдвоем составляли как бы тайное сообщество, обособленное от всех, но зато и обойденное чувством товарищества, возникшего между остальными незнакомыми друг с другом людьми. Вилфред почувствовал легкий укол при этой мысли. Так бывало всегда.

К ним подошла Кристина: в руке она держала тарелку с желтой кашницей.

– Как это мило, что вы пришли! – сказала она. Но при этом метнула на Вилфреда быстрый испытующий взгляд, пытаясь предугадать смену выражений на этом лице, которой так боялись и она, и другие члены семьи и которая в мгновение ока могла превратить радость в стыд.

– Кристина! – сказал Вилфред, лучезарно улыбаясь. – Какой же ты молодец! Демонстрация была просто чудом искусства.

Она улыбкой отклонила его восторг.

– Ты думаешь, тебе удастся отделаться от меня и не попробовать? – поддразнила она. – И тебе, Сусанна!

– Да нет же, я непременно попробую! – воскликнул он, схватив тарелку и ложку и, зажмурив глаза, решительно отправил содержимое тарелки в рот. Чтобы избежать риска, он проглотил его, не жуя.

– Изумительно! – воскликнул он. – Теперь ты, мама! – Он быстро взял тарелку у одной из женщин. Фру Саген смотрела на него, лишившись дара речи. Неужели они в заговоре? Она с сомнением приподняла вуаль до кончика носа и подозрительно уставилась на желтую кашницу на тарелке. – Смелее, одним глотком, – весело подзадоривал Вилфред. – Уверю тебя...

Но она не последовала его совету, она отважно положила кашницу в рот и стала медленно жевать.

– Дорогая Кристина, – с удивлением сказала она, – право же, это чудесно, совсем никакого вкуса.

Те, кто стоял близко, рассмеялись. Замечание быстро облетело зал.

– Пусть будет так, – сказала Кристина, взяв тарелки у них из рук. – Это самое большее, чего можно требовать от пищи в наше время. – Она засмеялась. И все вокруг радостно засмеялись в ответ: они были точно цыплята, жмущиеся к наседке. Им предстояло попробовать другие блюда, те, что приготовлены из сельди.

За всеми столами чавкали и причмокивали. Возгласы восторга вознаграждали усилия организаторов. – «Совсем как мясной фарш!» – произнес чей-то голос. – «Подумать только, и это селедка», – отозвался другой. – «Селедка очень хорошая еда!» – заметил третий.

– Селедка – еда превосходная, – тотчас вмешалась Кристина. – И питательная, и полезная. Но представьте себе, милые дамы, что вы едите селедку каждый день. Я хочу сказать, селедку в виде селедки...

Единодушный вопль отвращения был ответом на ее слова. «Она снова объединила их в своем торжестве, нет – в их общем торжестве», – подумал Вилфред. В том-то и смысл того, что она делает: им кажется, будто они сами причастны к происходящему. Эта мысль засела в нем. Мастерница на все руки эта Кристина, его тетка Кристина, которую он когда-то любил. Она и в Судный день будет с такой победоносной уверенностью распорядиться своей лютой или своими кастрюльками, что отвратит гнев господень. И тут на мгновение его кольнуло воспоминание, как однажды весенним вечером он застал ее, одинокую, в слезах, на ступенях веранды, а доносившиеся к ним из комнат отзвуки детского бала надували парусами легкие занавески.

– Неужели ты сама изобрела все эти блюда из селедки? – восторженно спросил он со своей неизменной склонностью переигрывать. Он знал, что это будет истолковано превратно и они решат, будто он их дурачит. Но теперь она чувствовала себя уверенной и спокойно взглянула в его сияющее лицо.

– Дорогой мой мальчик, сама я вообще ничего не изобрела, – сказала она. – И по правде сказать, я терпеть не могу, когда вещи выдают себя не за то, что они есть на самом деле. Как, впрочем, и люди, – добавила она.

Они постояли вдвоем в стороне от всех. Фру Саген с напряженным любопытством разглядывала столы, где стояла еда, которой, судя по всему, вынуждены питаться другие люди: для нее это было равносильно путешествию к дикарям в неведомые страны.

– Вот как, – неуверенно отозвался он. – И люди также?

– Да, – подтвердила Кристина без улыбки. – Суррогаты – самая скверная штука на свете, но они, безусловно, необходимы, даже если люди, подобные вам...

– А ты сама, Кристина? – поддразнил он ее. – Сама ты часто ешь селедку?

– Ем – но только в виде селедки, – ответила она в том же тоне. – Я люблю, чтобы селедка была селедкой. – Нынче вечером во всем, что она говорила, был какой-то скрытый смысл. А может, она так говорила всегда. Все это было давным-давно. Он вспомнил ее маленькую комнату на Арбиенсгате, навеки пропитавшуюся ароматом какао. Вспомнил, что она завела себе собачонку... Неужто она вот так и живет среди своих почитательниц, всегда окружена и всегда одна-одинешенька?

– Надеюсь, ты проведешь этот вечер со мной и с мамой, – предложил он неожиданно для себя самого: у него были совсем другие планы.

Она посмотрела на него, тоже с неожиданной нежностью.

– Думаешь, это будет удобно, Вилфред?

Он за руку вытянул мать из женской толпы.

– Кристина пойдет с нами! – восторженно сказал он. Фру Саген тотчас выказала радость, какую от нее ждали. – Мы угостим ее селедкой! – негромко и весело воскликнул Вилфред. Он хотел нынче вечером доставлять радость им обеим. – Только имей в виду – селедкой,

которая будет селедкой... – Он бросил заговорщический взгляд на Кристину, которая засмеялась в ответ.

Мать покосилась на них с подозрением. Ее всегда пугали приливы его восторженности. «Он никогда не умеет вовремя остановиться», – говорил дядя Мартин.

– Насчет селедки ничего обещать не могу, – спокойно ответила она. – Но что верно, то верно, Кристину, у тебя золотые руки. За что ты ни возьмешься, все у тебя спорится. Неужели ты проделываешь это каждый вечер?

– Три раза в неделю, дорогая, – ответила Кристину, умеряя ее восторги, но обрадованная похвалой. – А по утрам мы готовим настоящую еду, которую распределяем среди самых нуждающихся.

Вилфреда кольнуло в сердце. Он подумал о своих приятелях и о многих, многих других завсегдатаях ресторанов, расположенных в пяти минутах ходьбы отсюда. Наступал тот самый час, когда обеденные залы заполнялись до отказа и усталые официанты, с потускневшей улыбкой подносящие шампанское бледнолицым бездельникам, которые проводят время на бирже и у неумолкающих телефонов, всерьез брались за дело. Его место за столом, за любым столом, где поднятая рука означает: еще шампанского, сейчас пустует. Он вызвал бы Селину – девушку с дразнящими волосами и дразнящим телом. Но сейчас ему не хочется предавать своих. Он вернулся в свое благонравное детство, в ту его часть, где все было благонравно.

После ухода Кристины – она была верна себе: не хотела, чтобы ее провожали, – мать и сын сидели в эркере, глядя на море. Все лебеди-лодки уже стояли на причале, покрытые брезентом: детям пора спать. Она налила ему стакан неприкосновенного виски дяди Мартина, того, которым он снабжал ее для своих личных надобностей. Звук капель, льющихся в стакан, один нарушал тишину в комнате.

– Сама не знаю, – сказала она с легкой улыбкой в голосе и с легкой печалью, уместной после интересно и приятно проведенного дня, в котором участвовало прошлое.

– Чего ты не знаешь, мама?

– Да нет, я просто подумала, забыла о чем... Как по-твоему, ей это доставляет удовольствие?
– И фру Сусанна вдруг взглянула прямо в глаза сыну, чтобы наконец что-то узнать – наконец и ей этого захотелось.

– Ты имеешь в виду Кристину? Думаю, что доставляет... Я понимаю, что ты хочешь сказать, мама, – перебил он сам себя. – Ты не очень-то веришь в ее деятельность, ты считаешь, что люди придумывают себе занятия, чтобы... чтобы...

– Вот именно, – сказала она, – чтобы... Ты тоже не знаешь для чего. Может, чтобы чем-то заняться – и забыться?

– Или для того, чтобы жить, мама. Для некоторых это очень серьезный вопрос.

Она проглотила пилюлю, как всегда проглатывала замечания о том, что люди нуждаются в средствах к существованию.

– Само собой, – неопределенно отозвалась она. – Все это, конечно, превосходно. А ты сам?..

Вопрос прозвучал несколько неожиданно. Так бывало с ней и прежде. Оберегаешь и поддразниваешь ее в должной пропорции, памятуя о ее отрешенности от превратностей здешнего мира, и вдруг, на тебе, она сама проявляет неожиданную прямолинейность.

– Я сам? – переспросил он.

– Да, ты сам – в житейском смысле, – сказала она, снова становясь уклончивой. Она не хотела добиваться ответа, не хотела знать всерьез.

– Хочешь повторить вслед за своим братом Мартином, что пора, мол, мальчику заняться делом?

– Дорогой мой, я имела в виду лишь...

– Да ведь это вполне естественное требование. И, учитывая, что мой опекун считает изучение истории искусств пустейшим занятием, я договорился кое с кем из моих друзей, что они приобщат меня к так называемой практической жизни. Период моих занятий искусством закончился – это было увлечение переходного возраста. – Он коротко усмехнулся.

Сегодня он хотел доставлять ей радость. Но не хотел себя связывать. Он просто хотел, чтобы, когда он уйдет, у нее на душе было хорошо и спокойно. Он вопросительным жестом приподнял драгоценную бутылку дяди Мартина, она едва заметно кивнула. Виски, прохладное и жгучее одновременно, омочило ему горло. Да, он порадует ее чем только сможет.

– Но это вовсе не означает, что надо предать забвению все, чему меня выучили вы с дядей Рене.

– Я не считаю, что история искусств – пустое занятие, – спокойно сказала она и стала смотреть на фьорд. – И, по-моему, печально и глупо, что ты перестал заниматься музыкой. Мне совсем не по душе эта нынешняя деятельность, если ты имеешь в виду ее, и меня совсем не радует, что ты водишься с людьми, которые зарабатывают так много денег.

Она произнесла это с неожиданной твердостью и против обыкновения вполне связно. Стало быть, она обо всем этом думала, он по-прежнему был предметом ее забот.

– Дорогая мама, – сказал он, усевшись на низкий подоконник лицом к морю. – Я думал, ты обрадуешься, если я чем-нибудь займусь, а в наше время единственное стоящее дело – это загребать деньги.

– Только не в моих глазах, – быстро возразила она. – Да, да, я знаю, вы говорите, что мне рассуждать легко: я обеспечена – но разве это такой большой грех? Да, к счастью, я обеспечена и рада, что могу не слышать об этих отвратительных людях, которые высунув язык мечутся между биржей и еще бог весть чем, чтобы в свободное время еще пуще щеголять своими дурными манерами... – Она поднялась в необычной для нее запальчивости и стояла, глядя на темный залив. Послышался шум поезда, который прошел под окнами, разбрасывая искры в темноте. Когда шум затих, она продолжала: – Ты думаешь, я не вижу их здесь в заливе, когда они катаются на своих роскошных яхтах? Они непристойны, они сами и их девицы... Кстати, о девицах, в «Космораме» идет чудесный фильм с Хенни Портен «Женщина, на которой не женятся».

Он почувствовал, что она глядит на него. Стало быть, она к чему-то клонит. В таком случае намек на фильм был слишком уж прозрачен. Его охватила тревога, к тому же он подумал, что пора уходить. Ночь еще только начиналась. Он торопливо допил виски дяди Мартина.

– Как видно, они считают, что настало их время! – сказал он с напускной беспечностью.

– Как видно... – Она отошла от окна. – Тебе, наверное, пора, – сказала она мягко, но с призывом горечи. – Я хочу, чтобы ты знал одно – по-моему, тебе вовсе не надо торопиться и пускаться в так называемые практические дела – вообще в какие-нибудь дела ради этой

цели.

Он подумал: «Неужели матери так ревнивы по самой своей природе? Неужели она не может примириться с тем, что у меня есть эта девушка, хотя знает, что у меня были до нее многие другие, неужели не может примириться только потому, что слышала о ней и что она привлекает к себе внимание?» Он решил ее удивить. Он снова сел и весело сказал:

– Ты меня гонишь, мама? Да нет же, не бойся, я больше не прикаснусь к драгоценному дядиному снадобью.

Она подошла к нему ближе, успокоенная, она снова была в его власти, как в былые дни, как всегда. Она сама взяла бутылку и налила ему. Взяла рюмку и налила несколько капель себе тоже.

– И что вам только нравится в этом виски? – спросила она, поперхнувшись, и со смехом закашлялась.

Победа над ней давалась слишком легко. Он был тронут. Так, видно, бывает всегда, когда в нем бьют светлые источники и он хочет радовать, только радовать – ее, всех других, самого себя. Он сел, повернувшись к ней лицом, и взял ее за обе руки.

– В моей комнате все осталось, как прежде? – Он тут же пожалел о своих словах, он опять переиграл, он знал, что она будет счастлива, если он вернется домой. Но он не хотел, чтобы это было воспринято как намек.

– Как прежде, – радостно отозвалась она. Но она не воспользовалась его слабостью. Не стала разыгрывать грусть, чтобы одержать победу. Он почувствовал прилив нежности к ней.

– В один прекрасный день я пожелаю в этом удостовериться! – улыбаясь, заметил он. Это было уже почти обещанием. Он не собирался ничего обещать, такого намерения у него не было. Но ему хотелось ее порадовать. – Я тоже не поклонник нуворишей, – объявил он.

3

Просторная мастерская на улице Недре-Слоттсгате встретила его теплом и уютом. Поднимаясь по крутой лестнице на пятый этаж, он чувствовал, как им овладевает приятный хмель. Пространства было как бы заряжено нервным напряжением, как и он сам после целого дня притворства.

Уютом пахло на него из полумрака под стеклянным потолком; это была его первая попытка зажить собственным домом – так решили по обоюдному согласию, когда он съехал от матери с Драмменсвей, и это тоже была игра. Добротная старая мебель, которую ему подарил дядя Рене («Запомни, мой мальчик, все радости жизни начинаются с какой-нибудь простой, но по-настоящему хорошей вещи – пусть это всего лишь шкаф, в который нечего положить!»), была разрозненная и потому особенно ему нравилась, она так не походила на обстановку, в которой он вырос. Он подошел прямо к шкафу и налил себе полный стакан бургундского, чтобы поразмыслить обо всех своих добрых поступках. Подаренный им Вилфреду небольшой изысканный набор вин дядя Рене назвал «приданным».

Но безмятежное настроение, какое дает чистая совесть, не приходило. Возвращаясь в мастерскую по освещенной фонарями дороге, Вилфред балансировал между покаянными мыслями и попыткой убедить себя, что все его поступки, совершенные за день, – из добрых побуждений. Кристина – ее он порадовал своим откровенным восхищением; матери доставил

удовольствие, заглянув к ней еще раз вечером после их совместного выхода в свет, – то, что она так любила. Он щедро оделил своим драгоценным «я» тех, к кому был привязан. Потому что сейчас в его жизни настал период добрых дел – время, когда в нем бьют светлые источники. Он знал, что этим надо пользоваться.

Он налил себе еще стакан, понимая, что завтра будет расплачиваться похмельем. Ему вдруг не захотелось оставаться в одиночестве, он позвонил в два ресторана, пытаясь найти Селину, и просил, чтобы ей передали, что он звонил. От просторной комнаты веяло не только уютом. Вилфред остановился посередине мастерской и вдруг почувствовал угрызения, всегда подспудно сопровождавшие все его мысли и поступки. Как бы он ни старался подлаживаться под требования и ожидания окружающих, на душе неизменно оставался этот мутный осадок: ведь, по сути, расточая радости, он причинял им боль. Вся его наигранная откровенность с матерью и ее великодушная маска доверия в последние проведенные ими вместе вечерние часы – разве могли они скрыть ее беглый беспомощный взгляд, который говорил о том, что она одинока; Вилфред всегда с нервной чуткостью подмечал у нее этот взгляд в минуту расставания. Тут не было расчета с ее стороны, не было попытки заставить его разглядеть лицо мученицы под наигранной бодрой улыбкой. Кабы это было так!.. Нет, она угадывала простую истину о неизбежности расставания, ему-то эта истина была ясна как дважды два. Но ведь она изолировала себя от жизни и пользовалась выгодами своего положения. Зачем же ей угадывать правду? Слишком жаден человек, не может уяснить другую простую истину: нельзя гнаться за двумя зайцами, к примеру, не знать и в то же время пытаться все-таки капельку знать. В этом, наверное, вся суть дела.

Он подошел к телефону и позвонил в третий ресторан. Селины не оказалось и там. А впрочем, какое ему дело, что все вокруг него смешалось и пошло кувырком? Он ведет другую игру – не ту, что ведет она, не ту, что ведет его семья, впрочем, даже и не свою собственную, – но главное – это все-таки игра, и она его пока что забавляет. Андреас и его тщеславный папаша, сын садовника Том, ставший маленькой шишкой в некоей новомодной отрасли промышленности, и сам садовник, который предпочитает вести контрабанду спиртным, а не ухаживать за своими теплицами, – чушь какая-то, почему все это для него так живо, что не может он просто от них отмахнуться? Вилфред смотрел на телефон, тихо посмеиваясь. Плевать на них на всех, как говорит дядя Мартин. Вот только дядя Мартин и в самом деле плюет на всех и вся, причем делает это с легким сердцем, да вдобавок еще изображает человека сострадательного. У него, Вилфреда, как раз наоборот – ему нипочем не удастся избавиться от безразличных ему людей, они все кружат вокруг него, будто в точности знают, как залучить его в сети, – для этого им стоит лишь сделать вид, будто они не имеют к нему отношения. А может, это самая обыкновенная самовлюбленность – считать, что ты в ответе за чужие судьбы?..

Он еще плеснул себе в стакан из «приданого». Потом вернулся к телефону и энергично покрутил аппарат. Селина оказалась в четвертом ресторане, он потребовал, чтобы она вернулась домой. Селина всегда находилась где-нибудь по прихоти чужой воли. Но какое ему, собственно, дело до нее? Да никакого, почти никакого. Он сел и смущенно покосился в дальний угол на мольберт – самое темное пятно на его совести...

Они с Робертом подцепили Селину на благотворительном празднестве в пользу семей моряков, погибших от немецких торпед. Вилфред участвовал в этих празднествах как посредник матери – каждый раз, когда, испытывая потребность избавиться от угрызений совести, связанных с войной, она поддерживала эти светские затеи, которые начинались невинной лотереей и кончались пьянкой. Бывалые кутилы охотно посещали такие места и, выиграв корзину для яиц или какую-нибудь вышитую безделушку, притаскивали их в ресторан и показывали друзьям под общий хохот и шуточки. Они тотчас прозвали девушку Селиной в честь репродукции, которая висела у Роберта. И впрямь, когда она сидела за покрытым льняной скатертью столом, на котором красовался крендель, глядя вокруг испуганными глазами лани, – ее выбрали в «жертвы войны» потому, что у нее погиб на море двоюродный

брат, – она и впрямь походила на одну из натурщиц Мане. Они заговорили с ней – их позабавило ее полное равнодушие к происходящему. Она не понимала, к чему вся эта благотворительная кутерьма, а к войне относилась как к одной из неизбежных превратностей судьбы, ибо судьба не дала ей изведать более отрадные впечатления.

Забавно было приодеть ее и назвать Селиной – имя показалось им подходящим по звучанию и вполне пристойным. Впрочем, сама Селина не имела никакого представления о том, что пристойно и что непристойно. Она считала, что мир испокон веку устроен так, как он устроен, и первый свой любовный опыт приобрела благодаря насильнику-сторожу в отхожем месте на задворках дома, где она жила в ту пору. Она рассказывала об этой истории и других ей подобных, не делая из них трагедии. Ее простодушие было всеобъемлющим и граничило бы с глупостью, не проявляй она на каждом шагу свое умение приспособливаться и практическую сметку. Снабженная пятидесятикроновой бумажкой, она возвращалась в мастерскую на Слоттсгате с тряпками, из которых по воспоминаниям о последних картинках из журнала парижских мод сооружала броский вечерний туалет. То, что ее приняли в круг биржевых спекулянтов, не отличающих дня от ночи, не вызвало в ней ни злости, ни благодарности, а то, что она досталась Вилфреду, не пробудило ни унижения, ни гордости. Но однажды из какого-то их разговора за завтраком он вдруг понял, что ее мечта – быть принятой в порядочное общество!

Он тогда посмотрел на нее с каким-то безнадежным любопытством. Она взирала на все явления невозмутимым оком простолюдинки. Но око это с детской дотошностью подмечало все, и она с детской любознательностью впитывала все на лету. Ее без труда можно было выдать за родственницу одного из бельгийских деловых компаньонов дяди Мартина, который потерял состояние во время немецкого нашествия. На уроках французского, которые Вилфред давал ей в мастерской, Селина делала успехи почти пугающие, принимая во внимание, что она не в состоянии была усвоить ни одного грамматического правила.

Вилфред отошел от телефона, скорчив удовлетворенную гримасу. Голос у нее был обиженный. Этот оскорбленный, как бы с надутыми губками, тон она позаимствовала у своих сестер – женщин, не отстающих от времени. Она все перенимала с раздражающей легкостью. Роберт правильно заметил: наивный человек был Бернард Шоу, когда описывал цветочницу, с таким раешным комизмом преодолевающую вульгарные привычки, вынесенные из дома отца-мусорщика. Обстановка, в которой выросла Элиза Дулиттл, – безмятежная идиллия в сравнении с набором тех унижительных случайностей, из которых составилось детство Селины. И однако, самонадеянному профессору Хиггинсу не понадобилось бы трудиться целый год, чтобы сделать из нее даму в духе времени.

Уж не потому ли, что на этих дамах лежала печать безвременья? Нет, не только поэтому. Вилфред маленькими глотками осушил громадный стакан. Он не так уж много знал о времени в целом – но зато представлял себе различия между разными слоями общества. Селина могла бы достичь любого образца, который бы ей предложили. Она прекрасно копировала изысканных дам, которые слишком подчеркивали свою изысканность, – она выставляла их на посмешище под дружный смех приятелей Вилфреда, собиравшихся в мастерской после закрытия ресторанов. Она очень похожа изображала Индюка, подчеркивая всю его вульгарную напыщенность, так что он предстал перед ними в неожиданном, разоблачающем виде: ограниченный подхалим, за всеми ужимками которого кроются трусость и жажда власти.

Талант?

Он налил себе немного вина и рассеянно поглядел в угол на высокие напольные часы, подаренные дядей Рене вместе с бутылками и стульями. Что такое талант, как не абсолютная девственность ничем не замутненного восприятия и жажда себя выразить!..

Вилфред встал и нервно заходил по ковру в броских желтых клетках, доставшемся ему за бешеные деньги от художника, который жил здесь прежде. Самого художника взял под свое крыло маклер с козлиной бородкой, меценат и любитель красоты, поднявшийся над уровнем своего времени.

Черт побери, не такое уж сокровище они приобрели. Подобрали ничтожную человеческую особь и предоставили ему, Вилфреду, возиться с ней до тех пор, пока она, судя по всему, не пропитается насквозь обывательским честолюбием, как все эти недоучки спекулянты, общество которых доставляло ему удовольствие. Яхты, автомобили и изящные моторные лодки – все это были ступени на пути к уважению сограждан, к которому они так рьяно стремились. Все их помыслы сводились к тому, чтобы получить признание благородных в своей бедности и состоящих на жалованье рабов, которых они презирали за недостаток предприимчивости, но которыми восхищались по этой же самой причине, а также по целому ряду не совсем понятных причин, а в общем-то, пожалуй, причины эти состояли в том, что этих выскочек все еще подмывало выпить воду из чаши, которую подавали для ополаскивания рук. Может, эта жажда буржуазности и была подлинной основой их неумной энергии на биржевом рынке. Доныне их богатство еще не приносило им безраздельной радости, они ведь для того и демонстрировали его, чтобы убедить самих себя, что им не приходится зарабатывать его в поте лица, как добропорядочным людям – предмету их презрения и зависти.

Мать была недовольна его окружением, дядя Мартин – тоже. Но, может, как раз в несокрушимой наивности этих героев «сегодняшнего дня» и крылось их обаяние. Они были непосредственны и беспомощно ребячливы в своем стремлении разыгрывать господ. Казалось, они одним прыжком перемахнули через все – через юношеские стремления, учебу, надежды – и в один прекрасный день вознеслись прямехонько на вершину здания, у которого нет ни фундамента, ни стен, а вокруг – одни только леса, хрупкие, как паутинка. Они парят на этой недостижимой высоте, и голова у них идет кругом, но, приведись им в один прекрасный день свалиться вниз, они, верно, даже не набьют себе синяков и шишек, а просто оглянутся вокруг и не станут даже очень тужить, только тихонько вздохнут и заметят про себя: «Ну вот, я и свалился...»

Эта-то свобода от всякой среды, столь не свойственная ему самому и тем, кто его окружал, и притягивала Вилфреда. Взять хотя бы Селину – у нее нет ничего, кроме сиюминутного существования, идеальный мотылек, который порхает с цветка на цветок, чуть трепещет на солнце крылышками. Если обломится стебелек или поникнут крылышки, она в следующее мгновение, может, уже и не будет знать, что с ней было раньше, и, не без удовольствия ползая по земле, отмахнется от неосознанных воспоминаний о том, что когда-то она была трепетной бабочкой на кивающей чашечке цветка.

Пора бы ей уже прийти. Вилфред устал от мерного течения этого дня, от того, что черпал из светлых источников ради тех, кто требовал его сочувствия.... Он услышал на лестнице легкие шаги, она всегда взбегала по лестнице через две ступеньки, он любил в ней эту свободу движений, которая отражала свободу души, а может, просто безразличие, отсутствие почтения к чему бы то ни было.

А между тем она втайне стремилась к почтенному обществу...

Он широко распахнул дверь как раз в то самое мгновение, когда она собиралась взяться за ручку. И подхватил ее в объятья, как подхватывают падающего. А потом закружил по комнате, целуя ее и при этом стараясь не смазать косметику.

– В каком виде ты меня хочешь? – деловито осведомилась она. – В одежде, почти без ничего или совсем без ничего?

– Сегодня совсем без ничего! – ответил он, мгновенно охваченный желанием, которое не мог долго обуздывать.

– Пусть будет без ничего! – заявила она, выскользнув из карминно-красной змеиной чешуи. Рискованное сочетание с цветом ее волос – и она это знала. Она выбрала такую ткань ему назло – ее раздражали его разговоры о «хорошем вкусе». Но к ее вящему раздражению он с восторгом одобрил цвет. Тогда она стала изыскивать другие способы ему досадить.

– Ну вот, ничего и не осталось, – заявила она, обворожительно улыбаясь и приняв позу в духе картинки из французского журнала, который был в моде у доморощенных парижан.

– Я сказал без ничего, – сухо заметил он, но взгляд его горел невольным восхищением – восхищением перед подлинной красотой, независимым от плотского желания.

– А на мне и нет ничего, кроме туфель и чулок, – сказала она, поддразнивая его, и вскинула вверх ногу – длинную ногу в чулке и неуместной серебряной туфле. Он опустился на колени и быстро стянул с нее чулки.

– Ах, стало быть, сегодня я натурщица, – сказала она недовольным тоном и, надув губы, босиком прошествовала в угол к маленькому возвышению. Но он устремился за ней, как сердитый пес, и вернул ее обратно.

– Нет, не натурщица. – И, нагнувшись, он посадил ее к себе на плечи. Гордо, как королева, она проехала верхом по мастерской чуть ли не под самым потолком. И тут, грубо сбросив ее в громадную постель, он окунулся в упругие волны.

«Да, она свободна, – думал он, когда потом они лежали рядом за сотни километров друг от друга, вяло гадая, спит ли партнер. – Ничто не вызывает в ней возражений – ничто, так что даже противно. Свободна, как птица, – нет, та связана в своем полете потребностью в пище и заботой о потомстве. Она свободна как ничто – неслыханное дело на земле, где люди всегда находят что-то, к чему себя привязать, – это первое, что они делают. Ее свобода – свобода без причин и без цели, и поэтому в какой-то мере бессмысленна. Чего же я хочу от нее в таком случае? Чтобы она осознала это свое свойство? Но ведь в тот же самый миг она этого свойства лишится. Тебе дали в руки прекрасную вазу. Станешь ли ты бросать ее на пол, чтобы узнать, из чего она сделана? Нет, ты просто станешь ею любоваться».

Его вдруг пронзила мысль: «Может, фру Фрисаксен тоже была такой ничем не связанной. И может, поэтому отец...»

Да, может, и она была такой, фру Фрисаксен на шхерах, подруга его извечно покойного отца, сама теперь покойница, которая лежала мертвая в насквозь промерзшем доме, где он делил с ней ее последнее ложе в надежде не замерзнуть до смерти. Может, прелесть ее тела и гениальная простота души околдовали отца и отвратили от преимуществ цивилизованной любви. Может, эта-то ее свобода и была естественной причиной их связи, – причиной, которая сильнее любых доводов. Может, именно так оно и было, и всякое его нынешнее чувственное восприятие, и всякое рассуждение было лишь отголоском того прежнего.

Он наклонился к ней, чутко вслушиваясь. Она спала. Спала, похожая на освещенное луной и пахнущее свежей стиркой белье, которое расстелили на земле и забыли. Он осторожно встал с постели, потушил свет и накрыл ее одеялом так, чтобы не коснуться подбородка. Он знал по опыту, что это ее самое чувствительное место. Он мог овладеть ею, когда она спала, гладить грудь, бедра, лоб или глаза. Но подбородок – коснись его легкая пушинка, и она в страхе просыпалась. Он в темноте склонился над ней и вдруг почувствовал какую-то глубокую связь между чем-то в самом себе и чем-то, что он вдохнул в нее. Единство душ? Ерунда. Тогда тел, страсть которых в настоящую минуту догорела, но они не расторгли своей глубинной близости. «Любить» – уместное ли это слово? В таком случае он любит также и

неодушевленные предметы, если вообще на свете есть что-нибудь неодушевленное. В таком случае он любит и логику той прелюдии Баха, исполняя которую он когда-то прослыл вундеркиндом. В таком случае он любит систему форм кубизма – ее он полюбил, уловив взаимосвязь между линиями и цветом и всем тем, что он извлекал из своего нутра, когда писал картины, которым он все это время всерьез отдавался за мольбертом.

Ему вспомнилась глупая напыщенная фраза: «Период моих занятий искусством пришел к концу. Это было увлечение переходного возраста».

Он поморщился в темноте. Потом встал и зажег затененную абажуром лампу в углу, готовясь осторожно снять покрывало с мольберта.

Может, сейчас он наконец разберется в этом? Целую неделю он не осмеливался взглянуть на картину. В глубине души он был убежден, что его попытки геометрического осмысления элементов свидетельствовали о полном банкротстве. Он ничему не учился. Вернее, учился всему понемногу – как в этой области, так и во всех других. Мальчишкой он играл «с оркестром» на музыкальных вечерах у дяди Рене. Потом Моцарт перевернул ему душу, да так, что пришлось спасаться бегством. Когда недавно он слушал с матерью игру Стефи Грейер, его бросило в дрожь от смутного понимания того, на что он осмеливался притязать.

Он сдернул покров с мольберта. И почувствовал, понял с ликованием: есть что-то в этой всеохватывающей системе. Она верна. Во всяком случае, нет в ней наглой лжи и очковтирательства. В ней таится правда, к которой он пока еще пробирается ощупью – как пробирался ко всему, в чем пробовал свои маленькие и не такие уж маленькие дарования.

Но когда он снова завесил картину, в тусклом свете лампы уверенность исчезла. Да разве не у каждого любителя мерцает порой такая вот искра уверенности, и не она ли превращает их всех с годами в дилетантов – в выставяющих свои картины эпигонов, которых в тайный час наивной веры озарило открытие?

Вилфред погасил свет и ощупью двинулся в темноте по продолговатой комнате. Рука уверенно схватила бутылку бургундского. Он точно знал, где что стоит, точнее, чем когда видел предметы. Вероятно, потому, что они группировались перед его внутренним взором. А разве истинным художникам не присущ именно этот дар – группировать, осмыслять...

Он корчил рожи в темноте, не пытаясь себя сдерживать. Теперь никто не может ни высмеять его, ни запугать – он неуязвим. Он может строить рожи перед невидимым зеркалом и видеть – явственно видеть в темноте, как искажается его лицо, делается зловещим, презрительным и злющим-злющим. Теперь он способен понять правду и низринуться с высот минутной веры. Так пусть же явится сознание собственного ничтожества – прочная броня, защита от опасных надежд.

Он бесшумно извлек пробку из новой бутылки и радостно хмыкнул, проделывая короткий путь от шкафа до стола. Теперь можно спокойно сесть и дожидаться, пока стекла на покатою крыше не посереют, пропуская свет, который создает пространство с его элементами, по мере того как они по очереди выступают из темноты и

становятся собой.

Он наслаждался тем, как это совершалось. Затянувшаяся темнота не оставляла иной мысли, кроме сознания бытия, освобожденного от мелких подробностей самодовольного знания о многом, в частности о том, что его поиски абсолютной формы – путь к тому, чтобы утвердиться вне самого себя, в глазах других. Все вокруг стремились именно к этому – не отстать от других. Может, фру Фрисаксен это было чуждо. Может, Кристине тоже – только она этого не сознает! Потому что, сознавая она это, она тотчас стала бы пленницей цели, и все бы изменилось. А бедная Селина? Высокая, стройная, богоподобная Селина, не понимающая

самое себя и сознающая лишь чисто внешние признаки своего существования – разве она не стремится уже попасть в клетку к другим обезьянам и быть такой, как они?

Ему вспомнился вдруг молодой жизнелюбивый судовладелец-миллионер, Большой Бьёрн, который в пьяном виде сел за руль и погиб в своей новехонькой машине, насквозь пропоротый рычагом коробки передач. Что понял он в ту минуту в Ханеклеве, когда при свете луны его машина неслась под откос? Может, уразумел на мгновение тщету суеты? Или просто в нем бушевал гнев, ярость оттого, что его жизнь, которая ему представлялась значительной и яркой, должна так внезапно оборваться...

Роберт много толковал об этом несчастье. И Вилфред уловил в глубине его взгляда выражение, говорившее о том, что Роберт подозревает, как недолговечно их нынешнее бытие. Может, все эти развеселые господа по ночам при свете луны сидели в одиночестве, с мутным взором, но ясным сознанием, что жизнь, которую они ведут, построена на песке. Вот они и подбадривали себя разговорами об утонувших моряках. Они напускали на себя лицемерную скорбь, на самом деле скорбя о самих себе. В глубине души им не на что было опереться, ибо они чувствовали, что так не может быть, так не бывает. И в овраге при свете луны сильному, полному желаний человеку в минуту гибели что-то открылось. И под тяжелым пологом хмеля за столом в ресторане проблеск разумения вспыхнул во взгляде спекулянта, поднимавшего сжатый кулак, чтобы забили светлые источники, те, чья сухая пучина топила любое разумение...

И как же это он, Вилфред, именно он, осмелился называть этих людей наивными, недоучками, презирать их... он, со своими треугольниками, которые он извлекает из всего многообразия жизни и накладывает на плоскость холста, выдавая за ответ на все вопросы!

Кое-кто требовал от него, чтобы он подумал о будущем. Его преуспевший опекун дядя Мартин со своей непогрешимой логикой твердил: «Другие молодые люди...»

Тем более. Если другие так заботятся о своем будущем, с какой стати должен и он? Если они возлагают надежды на некую силу, которая сидит себе и ведет вселенские подсчеты, то весьма самонадеянно делать ставку на одну-единственную самостоятельную единицу – Вилфреда Сагена, полагать, что из всего этого множества именно ему выпадет честь получить местечко поблизости от престола господня... А впрочем, пожалуйста, он ничего не имеет против. Он бросил матери фразу об истории искусства, чтобы порадовать ее. А может, это станет правдой? Может, ты становишься таким, каким себя измышляешь? Желать быть художником – это и претенциозно, и дерзко в плане социальном, потому что, если ты не добьешься успеха... Кто осудит неудачника чиновника, какого-нибудь управляющего заводом или директора конторы – никто, но вот работа художника в глазах обывателя оправданна только в том случае, если публика млеет от восторга.

Искусствовед – дело другое. Ученый, критик... Ничем не рискующий всезнайка, который берет от искусства, ничего ему не отдавая, и вершит свое махонькое дельце, не рискуя подвергнуться страшному подозрению, что он бездарь. В глазах дяди Мартина эта профессия тоже смешновата, но не безоговорочно неприемлема. Специалист по эстетике даже украшает семью, ведь он не лезет в воду, а умненько остается на берегу, где можно брезгливо морщиться, глядя на того, кто барахтается в волнах: так поступают все эти морские герои без судов, которые, разодевшись в костюмы яхтсменов, толпятся по вечерам у поручней на Дроннинген и критикуют маневры парусников во внутренней гавани.

Короче говоря, Вилфред готов быть для них кем угодно, лишь бы для себя оставаться кем-нибудь другим...

Стекла на потолке посветлели. Рассвет настиг Вилфреда, прежде чем он заметил его самые первые признаки. По улицам загрохотали тяжелые повозки для уборки мусора. В газетах

писали, что городской уборочной службе не хватает 265 лошадей. У каждого свои заботы.

Предметы возрождались в пространстве, один за другим возникали они в самых неожиданных местах, в манящей нечеткости, которая приобретала форму...

Мольберт...

Его он не видел. Он еще не возник. На сундуке, стоявшем позади него, который уже появился из тьмы, выступила ваза, вернее, форма, о которой он знал, что это ваза. И все же ее существо еще было скрыто, выступала одна только форма и говорила своим языком. Вилфред любил этот час, когда предметы еще не обретали содержания и были формой, одной только формой.

Селина легко повернулась в постели. Постель казалась совсем плоской, словно в ней никто и не лежал – женщина тоже, наверное, была абстракцией, существом, которое он любовью хотел вызвать к жизни из формы, которая была создана как форма, и более ничто. Но всегда повторяется та же история, что в гётевском «Ученике чародея». Люди не умеют остановиться вовремя, не умеют, и все тут. Стоит появиться форме, как им нужно, чтобы она чем-то стала, чему-то уподобилось: вазе, картине, Селине, с ее бессмысленным совершенством. Да, именно бессмысленным, потому что в ней не было ни замысла, ни цели, она не поддавалась определению – она была, чтобы быть. И все же он пробудил ее душу, а может быть, чужую душу, которая готова была участвовать в игре и изображать других.

Ему хотелось остановить этот час, волшебный час, когда вещи существуют лишь как форма. Он хотел и ее удержать в этом мире, хотел энергично и властно. Но беда была в том, что ему удавалось только хотеть. Вещи освобождались от его воли, обретали связи, «суть», которая включала их в общее взаимодействие, наподобие колесиков в часовом механизме. Да и его собственная свобода состояла из уймы условностей – он их не соблюдал, но и от них все равно деться некуда. Все это было ему мучительно ясно в этот волшебный час, который также не мог продлиться. Он исчезал, едва Вилфред успевал его уловить. Предметы выявляли себя и переставали

быть. Они

становились.

Кофейник в кухонном уголке становился кофейником. Все предметы становились вещами. Вилфред почти машинально подошел к раковине и налил воды в кофейник. Селина проснется от запаха кофе и решит, что наступило утро, потому что запах кофе – примета наступившего утра. Вилфред сбежит вниз по лестнице, пройдет через черный ход в булочную и получит только что выпеченные, с пылу с жару, свежие булочки, те, что выпекают из тайных запасов белой муки только для избранных. И когда она проснется, все это будет стоять перед ней – натюрморт «новый день», который можно съесть или нарисовать – кому что нравится...

Волшебный час уже миновал. Угрюмые, укоризненные стояли теперь вещи, и каждая своей точной позой выражала свою суть: «Я шкаф, я полка, а я стол, бремя, отягощающее меня, принадлежит ночи, убери его». Так будут они говорить, приказывая ему. «А я, я бутылка, а не луч света, преломленный изогнутой поверхностью, я бутылка, и я требую, чтобы на меня обратили внимание. Мое время на картине истекло с уходом ночи, я на ней не к месту с наступлением рассвета». И ваза осознает свою вазовую сущность и начнет чваниться своей функцией: «Положите в меня фрукты! Я хочу быть похожей на изображение вазы с фруктами!»

Все, все они предавали его на исходе волшебного часа. Он ходил среди них и просил их остаться прежними, но они отмахивались от него, как отмахиваются от назойливых друзей. Неужели они перестают понимать свою собственную ценность, когда рассеивается тьма?

Наступает утро, а утром раздается звон колоколов, и люди спешат на звон колоколов, и утро приводит могильщика к могиле и опускает в могилу гроб, а живые спешат от нее прочь и возглашают вечную славу господу в небесах: «Мой час пробьет, мой час пробьет, его час уже пробил! Помилуй, господи, душу его! И его час пробьет, и его. А мой? Ради всех святых, подыми скорее завесу тьмы, подыми, подыми ее скорее! Слышишь, пропели петухи...»

4

Вернувшись из булочной, он с удивлением обнаружил, что она уже встала. Она была совсем одета и непривычно возбуждена.

– Звонил не то Фосс, не то Дамм – не знаю точно, который. Спросил, не хочешь ли ты взять на сегодня его лодку.

– «Сатурн»?

– Шикарную моторку, вы еще о ней говорили. Ну как – возьмешь?

Он стоял перед ней с булочками в белом пакете. Она уже поставила на стол кофейник, старательно накрыла стол. Да, все предметы обрели свою истинную суть, свою трезвую будничную суть.

– Он говорит: сегодня чудесный осенний день, может, последний в этом году, и во фьорде такая красота, – сказала она.

– А тебе-то самой хочется?

При свете дня он ни разу не видел ее такой возбужденной. У него были другие планы. Он как раз собирался навестить упомянутых любезных адвокатов и изъять из их дела свой небольшой капитал. Он чувствовал, что биржевая игра перестала его забавлять. К тому же учитель гимнастики надоел ему своим спекулятивным азартом. Мысли Вилфреда больше занимали некие кубы и треугольники. Он смущенно покосился в угол на мольберт, который грозил из-под покрова своими неосуществленными возможностями.

– Почему бы и нет? – вяло сказал он, не дождавшись ответа.

– Лодка стоит во Фрогнеркиле, – снова с необычным жаром заговорила она.

Он разлил кофе.

– Тебе бы хотелось прокатиться на лодке? – спросил он, протягивая ей булочку. От булочки шел аромат занимающегося утра... Где он слышал это выражение? Впрочем, не все ли равно. Только теперь он понял, что в ней необычного. Поверх платья она накинула заляпанный красками халат, в котором он писал картины.

– У платья очень уж ночной вид, – сказала она, заметив, что он ее разглядывает. – Знаешь, у некоторых девиц с улицы Карла Юхана есть наряд, который так и зовется: «День и Ночь». Стоит его вывернуть наизнанку, и переодеться не надо – приличное платье, можешь разгуливать днем.

Вилфред этого не знал. Он и сейчас не до конца вник в ее слова. Что-то напоминали ему нынешние обстоятельства – но что?..

– Ты не ответила мне, хочется ли тебе самой? – спросил он. – Да ты, я вижу, и яйца сварила?

Такая утренняя деловитость была ей несвойственна. Обыкновенно они разыгрывали маленькую комедию: они птицы, он прилетает к гнездышку и кормит ее. Разыгрывали они эту сцену без особого увлечения, но она несколько смягчала ненавистный ему ритуал завтрака в постели.

– Ключ от зажигания лежит под полосатой подушкой в кокпите, – сказала она, извлекая яйца из кипятка. – Чуть не забыла передать.

Зажигание, кокпит. Слова закладывались в нее, как в машину, и в нужную минуту выскакивали наружу. Она наверняка понятия не имела, о чем говорит.

– Стало быть, остается только сесть в лодку...

Она протянула ему солонку.

– Ну что ж, – сказал он немного погодя. – Покатаемся по фьорду...

Они завтракали в молчании. По утрам она ела с аппетитом, это тоже ему нравилось. Он терпеть не мог людей, будь то мужчины или женщины, которые по утрам, угрюмо преодолевая понурюю вялость и уныние, через силу выкуривают сигарету и выпивают чашку кофе с таким видом, словно совершили невесть какой подвиг. Она приоткрыла единственное открывающееся окно на крыше. Молодец. Курить надо при открытых окнах. Свежий воздух, кофе, яйца. В известных делах надо соблюдать порядок.

– Я никогда не бывала во фьорде, – сказала она.

Он так и застыл, даже жевать перестал. Ему и в голову не приходило, что есть в городе люди, которые не бывали во фьорде, которые не имели возможности покататься на лодке: лодки не было ни у них самих, ни у их знакомых... Теперь он твердо знал, как ему следует поступить.

– Ты не можешь ехать во фьорд в таком наряде, – сказал он. Она поглядела на него. Что было в этом взгляде – благодарность? Собачья преданность? Этого нельзя допустить... Он смущенно огляделся. – Тут были деньги... – Он проследил за ее взглядом и подошел к полке под зеркалом. Потом перебрал кредитки. Господи помилуй, неужели за вчерашний день опять ушло так много денег? Он попытался сообразить, как это получилось.

– Ты брала? – осторожно спросил он.

– Да, мне надо было, – ответила она без уверток.

«Слава богу, – подумал он, улыбнувшись. – Собачьей преданности и в помине нет...»

И тут вдруг ему пришла в голову мысль: что, если заглянуть на Драмменсвей и взять ключи от дома в Сковлю, тогда у прогулки будет цель.

– Встретимся через полчаса, когда ты купишь себе нужные тряпки. Где лодочная пристань, знаешь?

– Нет, – ответила она, – я возьму такси от «Стеена и Стрёма».

Когда они обогнули Бюгдёнес, волны сразу стали круче.

– Как по лестнице идешь! – крикнула она, стараясь перекричать веселое рокотанье мотора. Она стояла чуть впереди его, на левом борту, голова возвышалась над ветровым щитом,

ветер ласково играл роковыми волосами. В белом свитере и синен юбке в складку она была похожа на рекламную картинку, приглашающую совершить поездку на Ривьеру. Ничего общего с той, какой она была ночью. Маленькая брошка над левой грудью довершала простой костюм – отлитая из меди русалочка, выходящая из волн. Наверняка ей понадобилось не больше полминуты, чтобы выбрать этот наряд, и две секунды, чтобы переодеться. В темно-синей пляжной сумке, как видно, лежал купальный костюм и прочие купальные принадлежности.

Вилфред вначале нервничал, не зная, заведется ли мотор. Его раздражали советы сухопутных экспертов в блестящих фуражках и с ногтями лопатой. От них разлило пивом, и они все знали насчет гребных винтов и свечей, о чем он только догадывался по воспоминаниям, он заводил эту лодку всего один-единственный раз, да и то под умелым руководством.

– Так вот оно какое, море, – сказала она, подставляя лицо встречному ветру. Слова эти донеслись до него приглушенно, как вздох, – в них не было ни восторга, ни удивления, а некий вывод, к какому приходит тот, кто видел море на рекламных плакатах, изображающих на палубе парохода состоятельных людей, тех, кому принадлежат берега. Эти люди входят в воду и выходят из нее, не задумываясь над тем, что заявили на нее права и наложили лапу, и не подозревая, что десятки тысяч горожан не знают, что такое море, – разве только по картинкам да по прогулкам в маленьких черных лодчонках: на этих лодчонках катается простонародье, мужчины, которые по субботам пьянствуют и совершают разбойничьи высадки на побережье, где расположены виллы, а владельцы вилл к ночи изгоняют их оттуда. Вилфред никогда не задумывался над этим. Блага жизни доставались ему легко, и ему не приходилось их вожделеть, каждое становилось доступным в свое время, в свой черед. От этого он не умилялся и не злобился, может, просто немного удивлялся. В особенности когда думал о тех благах, что люди называют природой и радостями жизни. Что за слова употребляют люди... ведь слова эти – пустой звук, они родились не от подлинной потребности. Ими пользуются как штампами для вариаций на заданную тему, все равно как десятью заповедями или кулинарными рецептами, которые впитались обывателю в плоть и кровь.

– Тебе нравится море? – крикнул он против ветра, вопросительно подняв брови, чтобы она поняла на тот случай, если не услышит.

Она ответила улыбкой. Но не той победоносной и утвердительной улыбкой, которая означала бы: «И ты еще спрашиваешь!» Нет, это уже была улыбка с цветной рекламной картинки, точно кататься по морю для нее естественно и привычно и она лишь ненадолго забыла об этом. Интересно, умеет ли она плавать? Наверняка нет. Не очень-то выучишься плавать на городских задворках с мусорными ящиками в углу и рядом низеньких, выкрашенных в зеленый цвет уборных...

Когда они обогнули мыс в Хюрумланне, он увидел новенькие теплицы садовника. На какое-то мгновение они вспыхнули ослепившими их солнечными бликами. А потом матово поблескивающие стеклянные домики остались позади справа. Возле теплиц не было ни души, но внизу, у невысокого причала, Вилфред заметил тачку, ее ручки торчали вперед, словно щупальца. Потом показалась хижина фру Фрисаксен. И тотчас мысль его отвлеклась от лодки, от мотора, и Селина впервые за долгое время вопросительно оглянулась. Не потому ли, что он направил лодку к берегу? А может, она почувствовала, что ток, который все время шел от одного к другому, прервался, и ощутила тревогу сродни его собственной, хотя ни о чем не могла подозревать...

Замедлив ход, он повел лодку вдоль противоположного берега, чтобы разглядеть, есть ли кто-нибудь в домах. У него мелькнула мысль, что ему незачем сообщать соседям о своем посещении, во всяком случае сегодня. Как-нибудь в другой раз, в другом настроении, но не

сегодня...

Украдкой покосившись на Селину, он перехватил направление ее взгляда. Она смотрела как раз на Сковлю и на пристань внизу, словно измеряла крутизну холмов, воображая, будто живет там. Вилфред подумал: «Хоть бы эти люди и увидели нас, наплевать». Он замедлил ход и тихо подвел лодку к причалу. Стук мотора на малых оборотах гулко отзывался под крутыми мостками. Селина обернулась, вопросительно глядя на него. Он кивнул на бухту троса, аккуратно свернутого вокруг никелированной колоды на баке. Она быстро подбежала к ней – только тут он заметил, что она обута в резиновые сапожки, – и грациозно взобралась на берег с фалинем.

Она ни о чем не спросила его, когда они стали подниматься к дому. Она наблюдала за ним, пока он причаливал лодку, и наверняка запомнила, как вязать узлы, и другие приемы. Она мгновенно сообразила, что якорный конец каната должен быть как можно короче, чтобы лодка не болталась, и протянула ему гибкую руку с узкой кистью, чтобы ему легче было прыгнуть на мостки с бака, который при толчке отдавал назад.

А потом, пока он рылся в погребе в поисках консервов и вина, она бродила по дому, осматривая его. Она не выказывала любопытства – она просто впитывала окружающее. Он долго наблюдал за ней, не замеченный ею, когда вернулся из кухни с холодными закусками. Теперь было не то, что в прежние времена, когда погреб набивали до отказа, словно в расчете на военную осаду, и все же холодное угощение не уступало меню лучших ресторанов. Оба чувствовали себя по-семейному уютно.

Но когда позже – на заходе солнца – она прыгнула следом за ним в воду с самой нижней площадки трамплина, он уловил проблеск страха в ее золотистых глазах. Он ни о чем не спросил, но сама ее поза сказала ему, что она ныряет впервые. В воде он повернулся вполборота, чтобы не терять ее из виду, но ни во что не вмешивался и только держался поблизости. Неужели воля казаться не хуже других способна победить даже силу тяжести? Она вынырнула, отфыркиваясь, купальная шапочка надулась, точно воздушный шар. Быстро обхватив ее за талию, он поежился.

– Холодно, пошли домой.

Он тащил ее почти что волоком и поддерживал, пока у нее под ногами не оказалось дно. «Чего только не добьешься подражанием, если только умеешь подражать, – думал он восхищаясь. – Человек способен сделать все, что делают другие. Наверное, он способен увидеть природу в форме кубов, потому что так увидел ее тот, кому в глаз попал волшебный осколок...»

Он бережно овладел ею на кушетке в купальне. Мятежная мечта его детства разрешилась нежным упоением. А потом они вместе рассматривали окрестный пейзаж через красное, синее и зеленое стекла в оконце, затененном кружевной занавеской. Он чувствовал, как она содрогается у желтого стекла, сумрачно млеет перед красным – так воспринимал это в детстве он сам. Он ощущал это собственным телом, вплотную прижатым к ее телу, чувствовал, какой просветленный покой охватил ее у синего стекла, и ее вялое разочарование, когда под конец она поглядела на окрестный мир сквозь обыкновенное стекло.

– Неужто на самом деле он такой? – спросила она убито.

Потом они вместе стали глядеться в пятнистое овальное зеркало, отражавшее их изуродованные лица, и он сказал смеясь:

– Может, и мы на самом деле такие!

Но она, испуганно покачав головой, отпрянула от стекла и, поеживаясь, стала быстро одеваться.

– Ой, правда, – вспомнила она вдруг, – он ведь сказал, чтобы ты оставил моторку в Снарекиле.

Он недоуменно посмотрел на нее. Они вместе пошли к причалу, где стояла моторка. Может, с этой лодкой что-то неладно? Но она глядела в сторону, будто не понимала, в чем дело.

– А еще что они сказали? – Что-то все это напоминало ему, только он не мог уловить что.

– Еще? А что еще они могли сказать?

– Гм... ну, к примеру, что моторку разыскивают.

– Нет, они больше ничего не сказали.

И она пошла к дому – прибраться, как она объяснила. Вилфред постоял, глядя на нарядную лодку, тихо покачивавшуюся на швартовах, и вдруг понял, что напомнили ему нынешние обстоятельства: тот случай, когда он одолжил своему другу Андреасу роскошный английский велосипед. Андреасу надо было только взять его в одном месте у Блосена. А сам Вилфред, разъезжая однажды ночью на этом велосипеде, натворил всяких бед: устроил небольшой пожар на хуторе Фрогнер, ударил полицейского по руке гаечным ключом. Вот он и дал на время велосипед своему другу Андреасу, к недолгой радости Андреаса. А велосипед этот был редкостный, может единственный во всем городе, – марки «Рали».

Стало быть, все, что происходит теперь, – это лишь отголосок того, что уже было когда-то. Впрочем, его не касается, что там натворили господа Дамм и Фосс, он никогда не считал, что эти адвокаты с их отделанным карельской березой баром и сомнительными клиентами честнее других. Кстати, слово «честность» вообще не было мерилom в нынешней терминологии – его почти не произносили вслух, да и вообще о нем не вспоминали. Но как видно, что-то у них не выгорело, вот и понадобилось спрятать лодку, может, эта лодка – все, что у них осталось из имущества. Вилфред понятия не имел, кто из двоих владелец лодки.

А может, ее владельцем не были ни тот ни другой. Теперь ведь вообще никогда ничего не знаешь. Не знаешь ничего ни о ком. И это хорошо. Вилфред не прочь немного потрудиться, чтобы выручить ближнего. Он готов поставить лодку там, где они просят, готов найти еще более укромное место. Пока он возился со швартовами, Селина вернулась с сумкой и одеждой. И стояла молча, не удивляясь тому, что лодка вдруг сразу изменила облик – стала подозрительной. Так и подобало дочери эпохи, когда не задают вопросов: почему, откуда и зачем...

Весело насвистывая, Вилфред помог ей забраться в лодку. От этой лодки они оба получают удовольствие – и точка. Включенный мотор негромко затарахтел, Селина ни о чем не спрашивала.

Она не спрашивала, его ли это дом, в котором они только что побывали, и кому принадлежат другие дачи, поблескивающие окнами в лучах заката. Но когда они обогнули мыс и он медленно повел лодку вдоль противоположного берега по зеленеющей воде, она увидела хижину фру Фрисаксен – хижина была обращена к ним своей серой стеной.

– Кто здесь живет? – спросила она.

Он вздрогнул.

– С чего ты вдруг?

– Да так...

Неужто между людьми проходит какой-то таинственный ток, даже когда один из них умер? Или это простонародное начало породнило их, и Селина почувствовала свою связь с умершей, хотя со всем остальным, что находилось вокруг, она связи не чувствовала – это был другой, не ее мир.

– Тут жила одна особа, одна женщина. Она умерла.

– Давно?

– Шесть лет назад.

– Так давно, – только и сказала она. Но когда хижина уже осталась позади, она вдруг предложила: – А что, если сойти на берег и посмотреть дом?

– Уже поздно. И он наверняка заперт. Да и причал неудобный. – Вилфред громоздил отговорки, не связанные одна с другой. Каждая из них звучала лживо, они как бы не подкрепляли одна другую.

– Ясно, – тихо ответила она, как бы принимая их все разом.

Он медленным полукругом развернул лодку и снова направил ее в глубь фьорда.

– Они не сказали, когда надо поставить лодку на прикол? – спросил он. Она покачала головой. Он пришвартовался в маленькой бухте между двумя полуостровами. Солнце теперь быстро садилось. Между скалистыми холмами было сумрачно. Он взял ее за руку, и они стали карабкаться вверх по узкому ущелью. Но когда они выбрались на ровное место возле участка садовника, вечернее небо было еще высоким и синим. Над крышей не видно было дыма, из ворот не выбежала с лаем собачонка. Все кругом словно вымерло: и на летних дачах, и в домах тех, кто жил здесь постоянно, – детство ускользало от Вилфреда, не давало ему обрести почву под ногами.

Дверь в хижину фру Фрисаксен была не заперта. Старые сети висели на деревянном сучке, вбитом в стену. От очага, в котором белела старая зола, веяло стылым запахом тимьяна. Его сердце сжалось от страха и тоски. Он вошел в комнату, где стояли голые деревянные кровати – изъеденные крысами столбы казались кривыми. Здесь он когда-то провел двое суток между жизнью и смертью. Но не это воспоминание лишило его сил, тут было что-то иное – какая-то иная нить прочно связывала его с самим духом этого дома.

Когда он вышел из комнаты, очень бледный – он это почувствовал сам, – то встретил взгляд поджидавшей его Селины. Они вдвоем двинулись к выходу. У дверей, как в прежние времена, висела фотография Биргера в Опорто.

– А я знаю его, – сказала она.

– Его? – Он не мог удержаться от улыбки, услышав эту равнодушную фразу, это бессмысленное утверждение.

– Он служил у Роберта, торговал с тележки сосисками.

Нелепая фраза повисла в спертom воздухе. Одна нелепость нелепее другой. А что, если он скажет ей: «Этот Биргер много лет назад утонул в далеких краях, это сын моего отца от фру Фрисаксен, да-да, сводный брат твоего друга Вилфреда Сагена»? Почему бы нет? Ему тоже ничего не стоит наговорить кучу бессмыслиц, вся беда в том, что это правда.

– Роберт... тележка... сосиски, – вместо этого произнес он. Они вышли. Теперь тьма стала

опускаться и на равнину, но здесь она была похожа на темно-синий полог, протянувшийся от скал к равнине, где солнце задержалось надолго, и не было здесь пугающих теней, как в крутом ущелье.

– А ты не знал, что у Роберта тележка, чтобы развозить сосиски? – спросила она. – И не одна. «Подспорье в старости», – передразнила она голос Роберта.

Он схватил ее за руку, посмотрел ей прямо в глаза.

– Это правда?

– А чего тут такого? – спросила она, легко высвобождаясь от него, но он снова впился в ее руку.

– Говори, это правда?

– Не щиплись!

Если многогранный Роберт и вправду заворачивает самыми разнообразными и неожиданными делами, почему бы не поверить и в то, что есть на свете человек по имени Биргер и человек этот, сводный брат Вилфреда, бродит по жизни теми же путями, что и он сам, или где-то совсем рядом. Вилфред почувствовал нечто вроде зависти к этим людям, к людям, которые невозмутимо следуют извилистыми путями судьбы. Такова участь безответственных – они не пытаются переоценивать ценности и ни из чего не извлекают выводов, они спокойно минуют перекрестки судьбы, где им не приходится делать выбора. Они лишь констатируют то, что видят, и как ни в чем не бывало продолжают свой путь.

– У Роберта есть еще что-то вроде загородного отеля, – сказала Селина. – Маленькая гостиница, только, кажется, она не действует...

Совершенно верно, Роберт часто говорил об этой гостинице. Раза два он даже предлагал поехать туда всей компанией, чтобы отдохнуть, как он выражался. Отдохнуть – было заветной мечтой Роберта. Всем его затеям не хватало лишь какого-нибудь пустяка, чтобы осуществиться.

– А ты знаешь, что он всегда носит в кармане книгу, которая называется «Пан»?

Вилфред знал. Они с Робертом устраивали маленькие поединки – состязались в цитировании Гамсуна. Они называли его Поэт.

– А ты знаешь, что ее написал Гамсун? – спросил он в свою очередь.

– А как же, у тебя в мастерской полно его книг.

Стало быть, она заметила, она знала. Бесенок толкнул его под руку.

– Хочешь почитать?

– Нет.

Но бесенок продолжал его подзуживать.

– Стало быть, ты утверждаешь, будто видела парня, фотография которого висит на стене? Может, ты и говорила с ним?

Но она не хотела продолжать разговор. Он замечал это и прежде: его стремление углублять простые вещи досаждало ей. В этом она походила на его мать – она не хотела ни о чем знать больше того, что случайно узнала. Как только подробности подступают к тебе, начинают тебя

затрагивать, в них появляется что-то – ну да, что-то опасное, – поэтому обе женщины и отстраняли их от себя. Ничего не поделаешь.

Он замолчал и, подавленный, продолжал идти чуть впереди нее по участку садовника, не в силах заглушить беспокойства, растревоженного в нем мелочами.

– Не стоит из-за этого расстраиваться, – услышал он сзади ее голос.

Он остановился.

– Ты права. Из-за этого расстраиваться нечего. – Но что она имела в виду под словом «это» и что имел в виду он сам, ему было не очень-то ясно. Так или иначе он решил в данный момент из-за «этого» не расстраиваться. – Мы можем переночевать в Сковлю, – предложил он.

– В Сковлю?

– Там, где мы были. Я имею в виду, если с лодкой дело терпит.

– По-моему, ему вовсе неохота получать эту лодку обратно как раз сейчас.

Стало быть, она угадывает все, что происходит, как угадывает он сам. С той только разницей, что он ломает голову над тем, как найти выход – тот или другой выход для людей, которых он почти не знает, не знает даже, нуждаются ли они в поисках выхода... Она же предоставляет событиям идти своим чередом. Откуда только люди черпают этот беззаботный фатализм?

Поднявшись на холмы по другую сторону перешейка, они услышали в темноте шум мотора. Он остановил ее и взгляделся в даль. Пока они так стояли, небо усыпали звезды, ночной мрак поглотил вечернюю синеву горизонта на севере и на востоке. Море стало черной плоскостью, которую глаз уже не отличал от суши.

Он легонько потянул ее за рукав и потащил за собой назад, вниз. К пещере под горой, где часто прятался в детстве. Однажды он забрел туда в полубеспамятстве, и ему казалось, будто он в стеклянном яйце – яйце, в котором, если его потрясти, идет снег; ему подарила это яйцо фру Фрисаксен в хижине на мысу. Оно принадлежало его отцу, он держал яйцо в руках, умирая...

Вилфред тихонько втолкнул ее в отверстие пещеры, а сам опустился на колени и стал ждать. Шум мотора приближался. Это был уже не глухой рокот машины в открытом море, а близкое бормотанье, как при медленном ходе вдоль берега, ухо даже различало удары поршня. Внезапно шум прекратился – стало быть, мотор выключили. Лодка с погашенными фонарями во мраке осенней ночи.

– Подожди меня здесь! – шепнул он и пополз к краю склона.

На фоне чуть более светлой скалы он увидел темную фигуру, бесшумно привязывавшую лодку. Руки уверенно нашли конец швартова. Вода едва плеснулась, когда человек переступил с ноги на ногу, грузно наклонился и со скрипом поволок по дну лодки какой-то предмет. Потом выпрямился и, переведя дух, стал вглядываться в даль фьорда.

Там было темно и тихо. Вилфред отполз на несколько шагов назад и поманил Селину. Теперь, вдвоем притаившись на краю склона, они следили, как человек вытаскивает на берег тяжелые ящики – два ящика, пять, шесть ящиков. Он погрузил их в стоявшую па берегу тачку и стал тяжело подниматься в гору. Оставив тачку наверху, он опять спустился вниз и посветил электрическим фонариком. На дне лодки оставался чемодан. Человек бесшумно прыгнул в лодку и вынес чемодан на берег. Потом измерил взглядом высоту холма и, казалось, заколебался. А потом, прикрыв чемодан какими-то лежавшими на берегу снастями, опять поднялся вверх к своему грузу. Тачка скрипела и погромыхивала, пока он толкал ее

вверх по холму и дальше по равнине к садоводству.

Вилфред, как кошка, прокрался к причалу и сунул руку под снасти. Он беззвучно рассмеялся, выудив из чемодана бутылку, и поднес ее совсем близко к глазам. «Доктор'с Спешизэл», – прочел он. Потом мгновенно вернулся назад к Селине. Теперь они различали силуэт мужчины и тачку уже у самых теплиц – два черных, как деготь, пятна на фоне неба, чуть более светлого на северо-западе.

– Это небольшой должок, который он бы мне охотно возвратил, – сказал Вилфред, когда они снова оказались в Сковлю. Звезды, сплошь усеявшие небо, пылали так яростно, словно готовились к атаке. И, когда они сидели с искрящимися стаканами в руках, повторил снова: – ...долг, который он бы мне охотно возвратил.

– А я ни о чем не спрашиваю, – сказала Селина.

Они сидели за столом, как супружеская чета, приехавшая на уик-энд. О чем думала она? Как супружеская чета... А о чем думал он? Его мысль вернулась вспять, ведь это был конец длинной цепи мыслей, толчок которой был дан в доме фру Фрисаксен, а может быть, еще гораздо раньше – в том месте, которое он должен найти, чтобы восстановить утерянную взаимосвязь, чтобы доискаться той части собственной души, где так много темных точек, а может, найти даже тот темный провал, который и есть причина вечного разлада в нем самом, причина того, с чем он не может смириться. В каком-то месте линии должны сойтись, в каком-то месте, где остался чей-то маленький должок, который разросся в вину, а та породила требования, которые становятся все ненасытнее.

– Он считал, что должен мне, – сказал Вилфред.

– А я ни о чем не спрашиваю.

На другое утро он не стал швартовать лодку в бухте Снарекиль. Он пришвартовал ее гораздо дальше, в бухте, куда не заглядывала ни одна душа. На всякий случай. Ему нет дела до всей этой истории с лодкой, но на всякий случай он поступил именно так.

Ранним утром они вдвоем дошли до станции Аскер, чтобы сесть в поезд, идущий в город. Былолюдно: одни спешили к поезду, другие – в магазины. Ему казалось, что их с Селиной объединяет чувство одиночества в этой толпе. Те люди сознавали себя на своем месте. Они всюду на своем месте: в поезде, в магазинах, на тех жизненных путях, в которых они ни на минуту не сомневаются и где каждый поворот как бы подтверждает правильность пути. А Вилфред по дороге к станции ощущал за них обоих, насколько они чужды окружающему.

На станции он купил газету. Сообщение было напечатано на первой странице. Яркое утреннее солнце освещало газету, которую он развернул перед ней так, чтобы они могли читать вместе. Там было напечатано, что адвокаты Дамм и Фосс арестованы. Напечатано об акционерном обществе, о судах, которых никто никогда не строил, о верфи, которой не было в помине, и о людях, которые потеряли деньги. И еще там были – уже от имени самой редакции – длинные рассуждения о лазейках в законе, о безответственных поступках, о знамении времени – обо всем, о чем они привыкли читать. Он поднял глаза от газеты, посмотрел на Селину.

– А вот и наш поезд, – сказала она.

Побывав у Роберта, Вилфред почти ничего не узнал. Тот был взволнован арестом двух своих друзей, но не настолько, чтобы можно было заключить, что и он замешан в этом деле. Насчет лодки он тоже не мог ничего сообщить. Когда этот рассудительный фаталист радовался, в нем всегда сохранялся налет печали, зато и потрясти его было нелегко.

– Я, собственно, хотел тебя кое о чем спросить: у тебя одно время был помощник...

– Был одно время, его звали Биргер.

– А фамилия?

Роберт рассмеялся.

– Я фамилиями не интересуюсь. Так и запомни.

Вилфред сидел и смотрел на него. Неужели этому человеку все известно? Неужели всем этим людям так дешево достается знание, которого они и не домогаются, то самое знание, ради которого другие готовы положить жизнь – и все только гадают...

– Ты слишком много печешься о других, – покровительственно заметил Роберт. – Что будешь пить?

Вилфред покачал головой. Он чувствовал такую усталость, что еле держался на ногах.

– Ты и вправду не знаешь, где он сейчас?

Роберт пожал плечами.

– Ей-богу, слишком, – повторил он.

Но, возвращаясь домой из неприбранной холостяцкой квартиры Роберта, Вилфред чувствовал, как все в нем заполонило одно лишь усталое изумление – оттого что люди могут быть так близко и в то же время так далеко друг от друга, что пути их, точно пути небесных тел, отклоняются друг от друга с математической точностью и, даже пересекаясь, тотчас расходятся, повинувшись закону, который самую дружбу превращает в непрерывное расставанье.

На полу в мастерской просунутая в отверстие для писем валялась желтая бумажка. Это была военная повестка... Он скомкал ее и отшвырнул в сторону. Он уже получал и прежде такие повестки: явиться туда-то, имея при себе зубную щетку, смену белья и прочее в этом роде... Всегда тебя что-нибудь да настигнет, но, если ты сам хочешь, чтобы тебя настигло что-то или кто-то, от тебя ускользают вещи, люди. Вилфред робко покосился на занавешенный холст. А потом, как был в одежде, рухнул на кровать. «Проспать бы до лета, – подумал он, – до самого лета...»

5

Нельзя сказать, чтобы Индюк тосковал по неисправимому Роберту, который отдавал распоряжения поднятыми вверх кулаками; само собой, человек он был любезный, но без него и его друзей в ресторане стало куда спокойнее. И все же... Посетителей не то чтобы стало мало – в модные рестораны Христиании по-прежнему равномерно стекалась непостижимым образом обновлявшаяся публика, но, когда зимой метрдотель по своему обыкновению обходил зал как бы для того, чтобы удостовериться, что увиденное им в зеркалах – правда, он замечал: что-то изменилось, стало иным, не похожим ни на недавние времена, ни на те далекие, когда...

Валдемар Матиссен остановился посреди зала в одном из тех приступов рассеянности, которые тревожили его самого. Так и есть: число посетителей не уменьшилось, но они стали

совсем другими, и кривая доходов ползет вниз. Метрдотель огляделся вокруг. На лицах клиентов не было того отпечатка постоянной готовности к кипучей деятельности, которая так часто ставила в трудное положение администрацию ресторана. Зато атмосфера утратила свою задушевность. «Может ли статья, – думал Матиссен, стоя посреди зала в заведении, где он нажил плоскостопие на обеих ногах, – что я просто-напросто привязался к биржевым спекулянтам?»

Он бросил подозрительный взгляд на официантов, торопливо сновавших с дымящимися блюдами в обожженных пальцах. Может, им опять покажется, что он чудит? Не подсматривают ли за ним, не шепчутся ли по углам? Матиссен выпрямил спину и решительно двинулся к своему закутку, чтобы там поразмыслить о превратностях судьбы. Сомнений больше не было. Происходили какие-то перемены. Поглядев в зеркала, Матиссен уже не видел в них возбужденных улыбок и губ, которые безостановочно движутся в жарких спорах о курсах акций. Он видел в них людей в масках. Само собой, это тоже были представители нового времени – те, кого он презирал и которые своими стычками явно роняли достоинство его доброго старого ристалища. Но маски на них были из тех, что носят больные, – маски наигранной надежды и, что хуже всего, покорности судьбе.

Матиссен поймал себя на том, что ищет взглядом столик завсегдатаев Кабака – не появился ли там кто-нибудь из более или менее постоянных клиентов. Он вдруг понял: в минувший месяц, с тех самых пор как настал новый год со всеми его дурными предзнаменованиями, вечерами столик чаще всего пустовал. Матиссен сел и стал рассеянно перелистывать счета за последние две недели. Сосредоточиться ему никак не удавалось.

Казалось, новогодняя молитва, которую читали в городских церквях, наполнилась вдруг житейским смыслом, о котором Матиссен не задумывался. До сих пор он испытывал тихую радость всякий раз, когда по воскресеньям брал в руки газетную вырезку, где стояли предостерегающие слова: «Новогодняя молитва норвежского народа. Нужда и Опасность». По телу Матиссена тогда пробегали мурашки, и он весь так и замирал от восторженного благоговения, которого всегда втайне жаждала его душа. Он впитывал грозные слова заклинаний, произнесенных с церковной кафедры, и ему казалось: он читает какую-то мощную поэму. Слова внушали ему нечто вроде детского страха, но в страхе этом была отрада!

А теперь заклинания перестали тешить его душу. «Нужда и Опасность» – до сих пор слова эти витиевато вплетались в жалобы на недостатки карточной системы, в разговоры об ожидаемом сухом законе и о прочем, что было связано с профессией метрдотеля, и звучали они отдаленно и поэтично, как звон колоколов в чужой стране. И вдруг они приобрели вполне реальный смысл. Люди терпели нужду, духовную и материальную, им грозила опасность, опасность грозила каждому в отдельности. Оказалось, его клиенты вовсе не так уж богаты, а может, даже просто бедны. Иначе почему они перестали вдруг приходить в ресторан? И почему те, кто приходил, надели маски? Ведь пока еще власти не обложили шампанское налогом как предмет роскоши, и Матиссен с профессиональной точки зрения это одобрял. И все-таки многие перестали приходить в ресторан, и таких становилось все больше. А те новые, кто приходил, – они уже не были новыми, наоборот, они становились уже как бы завсегдатаями, только у них не было невозмутимой повадки настоящих старых клиентов, но не было и напористости и широты настоящих новых.

Все это подчеркивали зеркала. Теперь Матиссен это увидел. Они предвещали светопреставление. И тут он заметил, что его собственное лицо посерело и отекло. Казалось, он перенес болезнь, которая длилась месяцы, а то и годы, и теперь ослабел, и силы его подорваны. Матиссен служил своему времени. Но последние годы не были его временем. Однако он служил и им. Его зеркала перестали быть волшебными зеркалами, которые помогают генералу вести в бой свои войска, повернувшись к ним спиной. Зеркала стали разоблачать. Но пока еще об этом знал только сам Матиссен.

Он с мольбой еще раз взглянул в зеркала, и вдруг все завертелось перед ним, изображение распалось надвое и закружилось в двух плоскостях, а сам он оказался внутри вращающегося ядра. Он высунул язык, проверить, не обложен ли он. Но и язык кружился, похожий на бесцветное рыбное филе, непонятно как очутившееся во рту. Матиссен посмотрел на свои руки, они дрожали. Он стал считать свой пульс.

Впервые за свою тридцатилетнюю деятельность в качестве генерала на ресторанном поле битвы метрдотель Матиссен, шатаясь, прибрел в директорский кабинет и, сказавшись больным, попросил, чтобы его заменил на его посту старший официант Гундерсен.

Эта осень была богата событиями. В октябре Вилфред выступил с исполнением песенок в ревю у Максима в зале Басархалл. Ангажемент он получил на пари. Несколько раз случайно посмотрев ревю, он запомнил почти все песенки наизусть и даже забавы ради внес в них кое-какие улучшения. Он охотно и с успехом исполнял их в узком кругу – это было его падение с вершин Моцарта. Роберт и наследники Фосса и Дамма за столиком в Кабаке знали директора кабаре. Он был совладельцем пяти тележек, развозивших сосиски, от которых Роберт, как выяснилось, и в самом деле получал прибыль. В один прекрасный день кабаре вдруг лишилось главного молодого солиста, случилось это в связи с вмешательством полиции в дела, касавшиеся только исполнителя лично. Роберт с присущей ему широтой поставил пакет акций «Морского Бриза» против десяти бутылок шампанского, поставленных Вилфредом, утверждавшим, что он будет принят в труппу после одного-единственного прослушивания. Спорили в шутку, но Роберт был из тех, кто добивается любой мелочи со всей свойственной им энергией, и на другое утро директор кабаре позвонил Вилфреду, подкрепив свои уговоры столь вескими доводами в виде наличных, что Вилфред согласился на нелепую затею.

Два вечера спустя после этой беседы Вилфред с чувством радостного задора уже вступил в сражение у Максима. Зал был длинный и узкий, и, даже когда в нем зажигали лампы, глубина терялась во тьме, над которой вился подсвеченный табачный дым. К вечеру кабаре всегда было набито битком, и только вдоль стен, до самого конца длинной кишки зала, двумя узкими полосами тянулись пустые столики.

Они считались опасными, нередко случалось, что с привилегированных мест на балконе вниз падали пустые бутылки. Опыт показал, что падают они отвесно – роняли их по небрежности, а не по злему умыслу.

На происходящее на сцене отчасти накладывало отпечаток то, что актеры начинали свое выступление импровизированными номерами, вызывавшими особый восторг завсегдатаев, потому что они вносили в программу разнообразие и новизну. Вилфреда особенно беспокоило, совладает ли он с пластической стороной выступления. Аплодисменты в зале ничего не доказывали – они были одинаково бурными и в общем дружелюбными как во время представления, так до и после него. Но пестрый букет, врученный ему бойкими чадами этой сцены, убедил его, что он одержал победу. Ее праздновали до беспамятства в опустевшем театральном зале после представления.

На другое утро Вилфред проснулся в своей мастерской с тягостным чувством, что взвалил на себя некое обязательство. По телефону позвонил Роберт и тихонько захмыкал в трубку, что было у него признаком величайшего удовольствия. Он спросил Вилфреда, как ему понравилось выступить. В душу Вилфреда закрался страх. Он был по натуре импровизатором, любителем, который в критическую минуту способен достигнуть небывалых высот. Но теперь он обязан каждый вечер быть в кабаре. От него чего-то ждут, от него зависят обстоятельства, важные для других. И так будет завтра, и каждый следующий вечер...

Для него настало трудное время. Он узнал, что такое страх перед выходом на сцену, страх

перед тем, сумеешь ли ты парировать выкрики публики, если ей заблагорассудится высказаться, или заменить коллегу, которого не оказалось на сцене в нужную минуту, – со всеми этими неожиданностями приходилось считаться в представлении, которое самым непредвиденным образом менялось от вечера к вечеру.

Через неделю Вилфред должен был признать, что вошел во вкус. Ежевечернее напряжение наполняло его радостью, какой он прежде не знал, ему нравилось рискованное сотрудничество с людьми, жизнь которых была для него незнакомой и новой... Многие из этих усердных развлекателей относились к своему ремеслу с ответственностью, которая вначале удивляла его и смешила, а потом стала внушать уважение своей несомненной искренностью. Здесь были пожилые и молодые женщины и мужчины, которые продолжали романтически грезить о своей профессии, стремясь уподобиться именам, о которых Вилфред слыхом не слыхал, и лелеяли профессиональные идеалы, которые на посторонний взгляд показались бы смешными, но для них самих и их окружения были столь же непреложно самоочевидными, как для главы Фагерборгской церковной общины – жажда получить отпущение грехов перед смертью.

Вилфреду нравилось среди этих людей. К тому же он зарабатывал деньги. С веселым страхом думал он о том, что слух о его выступлениях рано или поздно дойдет до ушей дяди Мартина и всей привилегированной элиты. Правда, выступал он под псевдонимом. Но прикрывался он им или нет, в крохотной столице различные круги общества не настолько изолированы друг от друга, чтобы крылатая молва не принесла новость прямехонько в гостиные.

И вдруг после двадцати дней изнурительной сценической деятельности Вилфред не смог извлечь ни звука из своей гортани. Табачный дым и непривычное напряжение погубили его скудные вокальные данные. Искренне огорченный директор вынужден был поручить исполнение роли таланту постарше. Очередь безымянных претендентов всегда толпилась в сумраке резервного полка надежды. И Вилфред, не успев всерьез выделиться среди безвестных, снова отступил в их ряды.

В ноябре кое-кто из друзей Роберта поехал в его гостиницу в Халлингдал. Гостиница на свой лад и в самом деле существовала. В разнообразных начинаниях Роберта всегда было зернышко действительности, вот только гостиница эта так и не стала гостиницей.

Селина поехала тоже. Вилфред внимательно наблюдал за пей, когда они пешком преодолевали последние холмы, у подножия которых их высадило такси. В коричневом спортивном костюме из темной непромокаемой ткани, с маленьким аккуратным рюкзаком за плечами, она шла легким, тренированным шагом. Она снова напомнила ему картинку из журнала – беззаботное выражение лица, как подобает на лоне природы, словно бы говорило о том, что она всегда лучше всего чувствует себя в горах. А случалось ли ей вообще выезжать из города, кроме тех редких случаев, когда она навещала тетку в Грурюде? Наверняка нет. В ее словаре не было ни одного выражения, связанного с лесом или полем. Вилфред все больше и больше восхищался ее поразительным умением вписываться в любую обстановку. В течение месяца, что он выступал у Максима, она каждый вечер сидела за столиком, предназначенным для «знакомых», справа у самой сцены, и в последние вечера, когда Вилфред, располагая только средствами мимики, предоставлял наиболее активной части публики исполнять текст, самым непринужденным образом стала руководить клакерами. Несколько добавочных хлопков каждый раз помогали ему извлечь из горла слабенький звук, преодолев полнейшее безголосие, которое, впрочем, зрители принимали вполне благодушно – как еще один неожиданный оборот выступления. И каждый раз Вилфред бросал на нее мимолетный благодарный взгляд, которого она не замечала. Она смотрела куда-то вдаль, даже не на сцену, а скорее, на заднюю кулису – на ней были изображены джунгли, из которых, словно бы из чащи деревьев, почему-то полагалось появляться актерам. Селина смотрела перед собой взглядом, не выражавшим ни

удовольствия, ни скуки. Вилфред не мог разгадать этот взгляд, хотя подозревал, что он вообще ничего не выражает.

Деревенская жизнь в постановке Роберта была не только полезна для здоровья. Правда, друзья собирались совершать долгие прогулки в горы, и неутомимый оптимист Роберт даже прокладывал маршруты на карте, но чаще всего они ограничивались окрестными холмами, по которым бродили группками по два-три человека. В компанию затесался пианист, который причинял им немало забот. По сцене имя его было Лукас. Роберт завязал с ним знакомство в ресторане. Лукас первым в Христиании стяжал успех у публики, напевая под собственный аккомпанемент так тихо, что его почти не было слышно. Беда была в том, что этот «шепчущий баритон» то и дело порывался застрелиться. Он всегда прятал свой револьвер на самом видном месте, пока кто-то наконец не догадался проверить его и убедился, что он не заряжен, – тогда на пианиста перестали обращать внимание.

Но оказалось, что этот меланхолик был знаком с Мириам. Он не многое мог сообщить о ней, однако ему было известно, что она собирается дать концерт в Копенгагене и что она подает большие надежды. А когда Лукас говорил о ком-нибудь из музыкантов, что он подает надежды, глаза его увлажнялись и он хватался за револьвер. Он был добродушный брюзга, и Роберт просил приятелей относиться к нему снисходительно.

Сам Роберт был, как всегда, терпим ко всему и ко всем. Он хотел отдохнуть от своей напряженной осенней деятельности и к тому же хотел знать, как смотрят его друзья на возможность открыть в этих местах гостиницу. Таким образом, поездка была предпринята не только ради удовольствия – как, впрочем, все, что предпринимал Роберт. Он любил придавать своим затеям видимость деловых планов дальнего прицела.

Снисходительные друзья нашли, что место выбрано удачно. Гостиница расположена не в горах, но и не на равнине, когда будет проложена дорога, до нее будет легко добраться, а если починить крышу и привести в порядок комнаты, дом, по общему мнению, станет отличной гостиницей.

Они выпили за это, а вечером танцевали под граммофон. Гостеприимство Роберта было ненавязчивым, но он позаботился об угощении. Он дал им понять, что намерен обосноваться здесь на зиму: ему следовало подумать о своем здоровье. И вообще подумать. Дело Фосса и Дамма оказалось не таким уж простым. Их все еще держали в тюрьме, и расследование продолжало ветвиться.

То, что Вилфреду пришлось услышать новости о Мириам, глубоко его потрясло. Его всегда волновало все, связанное с этой девушкой: ее музыкальный дар, ее серьезность, весь ее облик и характер будили в нем какое-то радостное любопытство. Он вспоминал, как, возвращаясь из консерватории морозными вечерами, они любовались северным сиянием с ограды Ураниенборгской церкви. И если он до сих пор так редко давал волю воспоминаниям, то лишь потому, что мысль о Мириам вызывала в нем и иное чувство – давний ужас перед безобразным поступком его детства, дерзкой вылазкой с целью грабежа в табачную лавчонку в Грюнерлокке, владелец которой оказался гонимым дядей Мириам. Подобные воспоминания всегда отзывались болью в его левой руке. Он сломал ее однажды воскресным днем в августе, спасаясь от ожесточенной погони по крутым склонам Экеберга до самого фьорда. Все это случилось потому, что тогда темные источники затопили его душу. Казалось, его неодолимо влечет к подспудным ключам, бьющим в сумрачных глубинах; когда-то ему хотелось вкусить от них, потому что они таили опасность и потому что он все время ощущал их в себе. С той поры... он стал взрослым, то есть научился по временам отталкивать от себя искушения. Но бывали минуты, когда его снова ослепляли вспышки – синие вспышки прошлого, предшествовавшего ему самому; это прошлое обладало всеми приметамы прошлого, непознаваемое, но неотступное; из этих дебрей душа вышла, считая, что освободилась от них, но колючие ветки свисают с деревьев, а не то к тебе липнет и липнет

паутина, все из тех же дебрей, и она временами грозит превратиться в сеть, которой тебя опутают навсегда.

Вилфреда потрясло, что он услышал имя Мириам из уст этого трагического шарлатана от музыки, он отметил, что даже для него ее имя окружено ореолом, каким, судя по всему, оно окружено для всех, кому приходилось с ней встречаться...

Поздно вечером Вилфред танцевал с Селиной в холле гостиницы, который представлял собой обшитый березой зал – подделку под старые крестьянские дома. Столовая была временно закрыта в надежде на ремонт – эту смутную надежду лелеял Роберт. Они танцевали, но думал Вилфред о Мириам, думал с той расплывчатой неопределенностью, как бывает, когда мысль лишь пассивно воплощает лучшую часть нашей души, воплощает потерянный рай, ради возвращения которого потрачено слишком мало усилий. Они танцевали. Селина любила танцевать, но в отличие от добропорядочных людей, которые в танцевальном ритме подают самих себя, она полностью растворялась в танце и потому как партнерша была совершенно бесстрашна: тем свободней мысль Вилфреда ускользала куда ей вздумается.

Роберт все это время играл роль деятельного хозяина. Казалось, он задался целью, чтобы гости были довольны и уверовали в его предприятие. Но он не мог долго заниматься одним и тем же делом. В один прекрасный день он решил начать прокладку дороги и даже нанял для этого двух жителей поселка. Он рассчитал всю работу по дням, и у него вышло, что участок будет закончен в две недели. Он и сам неплохо орудовал киркой и лопатой – он был человек сноровистый и чего только в жизни не умел. Но вдруг строительство ему надоело, и он спровадил рабочих, осыпав их заверениями в дружбе. Однако он вовсе не собирался отказываться от своего намерения жить поближе к земле. Однажды они нашли в лесу мертвую лань. Роберт искренне прослезился и тут же стал строить планы, как он будет разводить ланей для развлечения туристов. Его также очень заинтересовало объявление в газете о создании акционерного общества воздушных сообщений; вечерами у камина он рисовал друзьям заманчивые картины будущего, когда люди смогут переноситься из страны в страну, даже с континента на континент всего лишь за несколько суток. Прогресс техники неотвратим, и, что бы там ни говорили о войне, она выжимает из человеческого мозга неведомые ему прежде возможности.

А пока что Роберт хотел отдохнуть. Решил ждать у моря погоды, говорил он. По всему чувствуется, что надвигаются большие перемены. Перед отъездом Роберт навестил в тюрьме своего друга Дамма. Дамм сохранил бодрость духа. А сохранять бодрость духа Роберт считал едва ли не самым важным. Дамму почти не в чем себя упрекнуть. Так называемые вкладчики в конце концов получают свое, да и разве не сами они виноваты в своих неприятностях? Волков бояться – в лес не ходить, рассуждал Роберт, мрачновато поглядывая в камин. Но свежее пламя от подброшенного в огонь смолистого корня прогоняло его мрачность.

Моторную лодку «Сатурн», принадлежавшую арестованному другу, Роберт взял себе – так они договорились. Он незаметно вывел ее из бухты и, переименовав, поставил в маленьком эллинге по другую сторону фьорда. Впрочем, потом он обменял лодку на яхту – мотор слишком шумная штука. И вообще, парусники чище, яхту Роберт называл лебедем фьорда. Весной он собирался отправиться на ней в Копенгаген. Может, и Вилфред поедет с ним, да нет же, не как гость, раз он считает это неудобным, а как матрос, как самый простой матрос.

Роберт был неутомим в своем дружелюбии и без усталости строил планы. Взять, к примеру, торговлю вразнос... Если изучить статистику – а он при случае так и сделает, у него уже собран кое-какой материал, – станет ясно, что ночная торговля, скажем, горячими сосисками удовлетворила бы насущнейшую потребность города – ведь ночная жизнь непрерывно развивается...

Роберт мог часами сидеть, поддерживая пламя в камине и помешивая в нем кочергой, и развивать картины будущего, увлекательного и полного надежд для него самого и для всего человечества. Было в этом биржевике, к которому его гости все больше привязывались, что-то от несостоявшегося благотворителя.

Вилфреда умиротворял этот ангел света. Его поверхностные рассуждения, точно «шепчущий баритон», успокаивали душу, утомленную действительностью. Вся беда была в том, что самой действительности не доставало реальной плоти.

А если фрахты снизятся, она вообще канет в небытие...

Однажды недобрым, мутным утром прозвучали эти роковые слова. Произнесены они были случайно, без всякого злого умысла. Но они сгустились в воздухе неотвратимой, реальной угрозой. Правда, кайзер Вильгельм объявил, что война будет продолжаться, пока весь мир не признает немцев победителями. Со своей стороны американцы сулили послать тысячи аэропланов бомбардировать Эссен... Но как бы там ни было, приходилось считаться с тем, что война все-таки может закончиться. Мысль о мире тревожила страждущий северный народ. Обстоятельства могли перевернуть кверху дном золотой чан, в котором они привыкли купаться...

Грозные слова носились в воздухе. Но Роберт был слишком радушный хозяин, чтобы позволить неприятным мыслям долго тревожить своих гостей. Что бы там ни случилось – он многозначительно разводил руками, показывая, что тут, мол, ничего не поделаешь, – жизнь все равно полна возможностей для людей предприимчивых, для тех, кто смотрит в будущее. Сам он скромно считал, что наделен чувством будущего, конечно в известной мере – если представится случай... И снова мимолетная тень скользила по лицу Роберта, на которое отсвет камина бросал такие изменчивые блики, что трудно было разобрать, когда он скорбит, а когда радуется – радуется светлому будущему.

Надо признать, что в Норвегии дела обстоят не так уж плохо, рассуждал Роберт. Свободное предпринимательство приобрело большие права, что там ни говори о властях, которые установили карточную систему и намерены ввести сухой закон – иначе говоря, обесправить целый народ по части потребления спиртных напитков. Впрочем, решают вопрос не только власти, а то, как ты сам относишься к делу. Он, Роберт, например, прекрасно понимает тех, кто взял импорт спиртного в собственные руки. Недаром говорят: своя рубашка ближе к телу – а если ты еще оказываешь помощь ближнему...

Главное – терпимость. Широта и терпимость во всем, что касается прошлого и будущего. Вилфред больше не задумывался над тем, верит ли Роберт в собственные рассуждения и надежды. Ему и самому хотелось бы задернуть над прошлым занавес и поддерживать в себе множество надежд, не пытаясь уяснить, в чем они состоят. Ему хотелось вступить в пору душевной зрелости, но вступить так, чтобы самому не проявлять решающей инициативы и не рыться в прошлом, которое таит в себе вечную угрозу, наподобие зловещих дебрей. В «Иллюстрейтед Лондон ньюс» ему попался рисунок, занимавший целую полосу: на ничейной земле в зыбком отсвете отдаленных взрывов лежит солдат. Судя по движению, в котором он застыл, солдат намеревался отползти к своим позициям, но в грозном отблеске разорвавшейся гранаты увидел – и мы это видим тоже, – что путь назад прегражден колючей проволокой, препятствием, которое воздвигли он сам и его же товарищи. Бедный солдат попал в ловушку, в собственную ловушку. Под картинкой стояла подпись: «Вперед или назад?..» Рисунок твердил Вилфреду о том, что солдат должен все-таки вернуться назад, ибо нет для него пути вперед, пока он не вернется назад: вперед он может рвануться только сообщая с другими, и лишь с того исходного места, которое прячется за рядами колючей проволоки.

А может, все-таки бывает так, что вся жизнь – только рывок вперед, движение в разных

направлениях, но всегда вперед по отношению к данной минуте?.. Наверное, бывает, наверное, есть шанс рвануться вперед, перебегая от окопа к окопу, положившись на судьбу и предоставив прикрытию служить мишенью. Может, ты однажды и сделал такую попытку: выпрямился во весь свой рост, искрясь и переливаясь бьющими в тебе светлыми источниками. Но какой-то мгlistый мрак застил свет, а сзади угрозой нависло что-то темное, похожее на сеть, с которой тут и там свисают крючки...

– С позволения хозяина, – произносил Вилфред принятую у них здесь фразу и поднимался наверх за очередной бутылкой виски. Он старался продлевать эти прогулки – нести бутылку с заключенными в ней радостями само по себе сладостно щекотало кончики пальцев. Он ведь и впрямь воспользовался предложением Андреаса, тот самолично явился в автомобиле, поднялся по крутой лестнице с тяжелым ящиком, полным радужных возможностей, и глаза его сияли торжеством. Он довольно скептически поглядел на мольберт в углу – слава богу, холст был завешен, вздернул брови по благоприобретенной привычке и спросил: – Ты что, теперь художником сделался? – тоном, каким удрученный дядюшка говорит со своим беспутным племянником.

Вилфред позавидовал ему. Позавидовал удаче этого глупого воробышки с орлиным именем. Он был из тех, что получают радости от благ земных, ибо верят, что это блага.

Андреас рассказал Вилфреду об Эрне – она уехала на фронт как добрый ангел Красного Креста. Вилфред не знал, мог бы ли он предсказать это заранее, но, если бы хоть раз вспомнил о ней, наверное, мог. Газеты писали о благородных женщинах из нейтральных стран, которые хотят внести свою лепту в войну. Эрна, конечно, должна быть среди них – кто же, как не она? Самоотверженная, чистая, храбрая Эрна, чей отец заставлял родных есть полезную пищу, которая всем была противна. Эрна, которой он подарил шелковый шнурок однажды летом, в детстве, тысячу лет назад, – в детстве, которое кончилось для него еще в ту пору; преданная, пахнувшая свежим бельем Эрна – молодая женщина, которая вызывает муки совести у каждого, кто не похож на нее. Конечно, она будет утешать страждущих на линии огня и храбро держаться под градом пуль, и ее будут вспоминать калеки, и седеющие генералы будут вручать ей награды перед строем, когда кончится кровавая бойня... и она останется примером человеческого бескорыстия, до конца своих дней тайно обрученная с дипломом в золотой рамке, висящим слева над диваном и предназначенным для того, чтобы когда-нибудь, когда, быть может, новая война потребует новых добровольцев, показывать его внукам.

Вот как обстояли дела. И Вилфред позавидовал Эрне... Да, все они были достойны зависти. Расплывчатое доброжелательство его друга Роберта навязчиво завладело им самим. Заслужил ли мир те внезапные потрясения, какими он расплывается за раздирающие его противоречия? Добропорядочное общество единодушно считает, что революционеры в России хватили через край, и к тому же это *dirty trick* – нечестный поступок по отношению к союзникам. Правда, по имеющимся сведениям, царский режим тоже был не вполне совершенен, но ведь могли же эти русские подождать, как другие. Разве есть в этом мире кто-нибудь, кто живет так, как ему хочется?

Таково было мнение дяди Мартина. Правда, теперь он не высказывал столь безоговорочных мнений, как прежде; он смотрел на вещи с разных сторон, и сторон этих становилось все больше в его многосложной деятельности, однако по этому вопросу он придерживался именно такого мнения. Так думали люди, его окружавшие. Так думал и его британский друг. Дядя Мартин энергично размахивал своим британским другом и таинственно обрывал собственные намеки на цели его пребывания в Норвегии.

Все и во всем достойны зависти. Может, и Мириам держится такого же мнения – в Копенгагене или где там она живет? Вилфред увидел перед собой ее нежное лицо, где строгими были только глаза, но все черты выражали доброту и нежность. Да и сам взгляд

тоже, по сути, был добрым, но при этом испытующим – она не отводила его, когда другие не выдерживали, не отводила так долго, что тебе становилось не по себе, если ты хоть капельку покривил душой. Все то время, что длилась их дружба, Вилфред чувствовал себя под контролем этого взгляда. Мириам хотела навестить его, когда он был немым. Но он ее не принял.

Он смотрел на Селину, сидящую перед очагом, на ее величавую отрешенность в кругу загипнотизированных людей, которые так охотно поддавали под влияние рассуждений Роберта и собственных спасительных мыслей. А о чем думала она? Не была ли она единственным на земле человеком, который мог себе позволить не думать вообще ни о чем?

Наверное, так оно и есть. В глубинах ее души, быть может, даже и нет темных источников, разве что воспоминания о каких-нибудь ужасах, перешитых в детстве, отчего при утреннем пробуждении у нее всегда такой испуганный взгляд. И больше ничего. Никаких дебрей, из которых не можешь выбраться. Может быть,

сию минуту плюс сию минуту плюс сию минуту и исчерпывают для нее действительность. Многие стремятся к такому состоянию души, но его нелегко достичь...

...Может, лишь ей одной, орхидее, возросшей на навозной куче, – лишь ей одной доступно уподобиться полевым лилиям...

...А в мире совершались роковые события. Было время, когда казалось: наконец устала даже сама война, сами злые силы впали в дремоту. Но теперь пошли слухи, что немцы готовят решающее весеннее наступление на Париж. Мир содрогнется, борьба идет не на жизнь, а на смерть. Впрочем, может статься, был в этих событиях и другой смысл, и не каждому дано его понять. Норвежцы жили в стране, которая стояла в стороне от происходящего, от того, о чем они читали. Они отмахивались от прочитанного и смотрели не вперед, в будущее, а вокруг.

Несомненно было одно: что-то идет к концу, к тому или иному концу. Маленькое, местное, выросло и стало важным, а крупное, далекое, стало маленьким. Никто ничего не знал, но все ловили предвестья. Ловили их у домашнего очага, в веселых и не очень веселых компаниях, словно дети, которые грызут ногти перед грозой. Толковали о предстоящем плавании Руала Амундсена на «Мод» и, может, мечтали, уподобившись ему и его спутникам, убежать подальше от окружающего, хоть на Северный полюс. В тысячах домов люди читали «Соки земли» и говорили, что великий писатель прав – надо вернуться к земле, спуститься с облаков, отказаться от вымыслов и мечтаний. Людям нечего витать в облаках, во всяком случае теперь, когда облака лишились золотого ореола, они нависли низко, в них чудилась угроза, и края их потемнели. Дядя Мартин считая, что надо делать ставку на заключение мира – единственное, от чего можно ждать добра.

Об этом он произнес речь в день совершеннолетия Вилфреда. Этот день был отпразднован ленчем в самом тесном семейном кругу на Драмменсвей, а позднее – ужином в самом широком кругу в мастерской па Слоттсгате.

За ленчем, как и в былые времена, собрались все те же родственники, кроме тети Шарлотты, которая заболела испанкой и только прислала поздравление. Даже колдовские руки дяди Рене не могли наколдовать веселого настроения. Дядя Рене скорбел о своем дорогом Париже, он собирался поехать туда через Англию, чтобы быть вместе с любимым городом, когда придет час его гибели. Несвойственный дяде Рене пафос, как это ни странно, ни у кого не вызвал улыбки. У родных пропала охота подтрунивать над ним. Они вдруг поняли: если бы не болезнь тети Шарлотты, он бы и в самом деле уехал.

И позднее в мастерской, несмотря на свою нарочитую веселость, Вилфред не мог избавиться от тяжелого чувства. Тут собрались славные, безответственные люди, маленькие актеришки от Максима, в широте душевной они принесли пирожные; пришли его приятели по

Халлингдалу, ресторанные собутыльники. Все это были случайные знакомцы, и поэтому Вилфред чувствовал себя свободно в их компании. К ночи явились приятели побогаче с шампанским в чемодане, как и подобает праведникам накануне Страшного суда. Все, что они затевали, возвещало близящийся крах.

6

Виновник торжества Вилфред знал, что чествование было лишь поводом собраться. Это было удобно и ни к чему не обязывало. Гости потребовали, чтобы он произнес речь, – это его устраивало тоже. Можно было всласть поиронизировать над всем на свете. В мире все шло шиворот-навыворот. Под самое рождество разразился страшный снегопад, а потом вдруг в Христианию на целую неделю пришла буйная весна. В саду на Драмменсвей даже расцвели крокусы. По возвращении из Робертовой гостиницы на сетере Вилфред с удовольствием поработал в материнском саду. Было что-то притягательное в этой непутевой весне. Она была созвучна царившей вокруг смуте. Почему бы зимой не наступить весне? Почему бы не погибнуть нескольким крокусам, когда на море гибнут и гибнут люди? Это уже не тревожит ничью совесть, а только напоминает о громадном крушении, которое суждено каждому, едва только на рынке всерьез почувствуется страх перед заключением мира.

В своей речи на празднике в мастерской Вилфред упомянул об этом и еще о многом другом. Гостей это покорило. Он упомянул о крокусе, и это их озадачило. Он пролил несколько крокодиловых слезинок по поводу участи моряков, и тут они обозлились. Все эти грюндеры и ловцы удачи, среди которых ему так нравилось бывать, в глубине души весьма почитали мораль. Прежде чем низвергнуться в хаос разорения или попасть под надежную защиту тюремных стен, они хотели водрузить над своей жизнью знамя благопристойности. Среди них не один только бедняга Дамм имел дело с кораблями, которые никогда не были спущены на воду. Они приличия ради цеплялись за свое сострадание к норвежским морякам, смутно подозревая, что то жизнью и смертью своей оплачивали их бешеные деньги.

Нынешняя зима не имела ни начала ни конца. В своей речи Вилфред говорил и об этом. О чем он только ни говорил, рассеянно наблюдая за смущенными лицами гостей, которые в последних потугах вежливости ждали, чтобы их хозяин, он же почетный гость, замолчал и дал им возможность поговорить самим. Ибо возможность поговорить всего дороже ценилась в эти времена, когда тот, кто молчал и слушал, неизбежно предавался мрачным мыслям.

Но Вилфред долго еще мучил своих гостей, сидевших за уставленным яствами праздничным столом в доме, который эти люди считали обителью искусства и духовной жизни. Мукой этого краткого молчания он хотел развеять в прах их беспечность, пусть сорвут ослепляющие их шоры и тем свободнее окунутся потом в безудержную оргию. Его выступление напоминало речь, которую перед экзаменами произносил директор школы в душном гимнастическом зале, перенасыщенном ожиданием каникул. Ну и попытка была – выслушивать его разглагольствования, когда из верхнего окна, которое приоткрывали, чтобы толпа изнывающих от нетерпения учеников не задохнулась, явственно доносилось пение скворца. Вилфред посмотрел на склоненную голову Селины, сидевшей как раз против него, на стыке составленных столов. Он пробирался сквозь нагромождение образов, натужная изысканность которых возрастала вместе с его желанием причалить наконец к берегу. Подумав: «А можно ли высказать такую мысль, которая огорчит или обрадует ее?..» – он посмотрел на ее склоненную шею. Нет, не найти таких слов, которые бы ее проняли. Всей своей повадкой она как бы говорила о том; что превратности судьбы неизбежны. Быть может, она даже не проводила грани между радостными и печальными ожиданиями.

Но позади удрученных лиц в глубине комнаты в облаках табачного дыма у очага Вилфред различал закрытый мольберт. Теперь он ненавидел свою картину. Вот где истоки его нелепого поведения – попытка абстрагировать явления в абсолютную систему, которая от подлинного художника требует полной самоотдачи, а для него, дилетанта, означает трусливую попытку ухода от той или иной самоотверженной деятельности, которая с девяти до четырех часов отвлекает человека от сознания хаоса, изнуряя его здоровой, добропорядочной усталостью. Однажды он станет ученым мужем и ученостью перещеголяет всех прочих ученых мужей. В один прекрасный день всю свою тягу к организующей ясности он направит, точно свет прожектора, на искусство других. Не созданные им картины украсят его подобающим трагическим ореолом, он не доверит своего Моцарта ни одной клавиатуре, но зато направит анафему слепящего света на исполнителей, которые превзошли его самого, каким он был в ту пору, когда еще о чем-то мечтал.

Вилфред говорил и об этом, а взгляд его настороженно скользил по тем, кто слушал невнимательно, – он хотел принудить их ко вниманию в эти последние минуты. Он испытывал болезненное наслаждение властелина, терзая их своими разглагольствованиями. Может, его словеса отмечены гениальностью, а может, они – чистейший вздор. Его гости не могут этого знать – и потому молчат и задумчиво и вежливо кивают, подавляя нетерпение. Казалось, сама зима стала близиться к концу, пока он произносил эту бесконечную речь обо всем на свете, которая была так изнурительно эгоцентрична в своей кокетливой скромности, что только он сам мог до конца измерить всю глубину своего предательства. Казалось, он все говорит и будет говорить вечно, а тем временем на смену зиме придет весна, а потом и лето, а потом снова пожелтеют и увянут листья на деревьях, кроны которых пока еще стоят в снегу...

В разгаре речи Вилфред поймал себя на мысли о том, как быстро перелетает мысль с предмета на предмет, не считаясь с расстояниями, и в волшебным образом уплотнившийся миг успел подивиться тому, что может перенестись мыслью от пустыни Гоби к красным тюльпанам, пылающим в вазе на рояле, с такой же быстротой, как перелететь от этой вазы к пепельнице у ее основания, а от пепельницы – к вездесущему гипсовому бюсту Бетховена, который приходится убирать с инструмента каждый раз, когда на нем играют. В промежутках между узловыми моментами своей речи он мог переброситься мыслью к очереди безработных на Стортингсгате у дверей конторы Кристофера Ханневига, которую он видел нынешним утром: озябшие, одетые чуть ли не в лохмотья здоровенные мужчины молча переминаются с ноги на ногу на тротуаре, привлеченные сюда рассказами о новых верфях, которые великий Ханнеvig строит в Америке, – и дальше мог следовать мыслью за этими людьми в их мечтах о золотой стране Америке – она, конечно, участвует в войне, но в ту самую минуту, когда человечеству вновь понадобится, теперь уже для мирных целей, весь тоннаж, который пошел ко дну за время жестокой войны между всеми странами, способными хоть что-нибудь спустить на воду, перед ней откроются неограниченные возможности. Тут неутомимая мысль автоматически дала боковой отросток – на память пришли зловещие слова кайзера Вильгельма: «Война будет продолжаться, пока весь мир не признает немцев победителями...» И словно глухой аккомпанемент к этим словам, произнося в это время другие, он услышал выстрел первой немецкой дальнобойной пушки, разрушивший парижскую церковь. Протест Шейдемана в рейхстаге. Страдальческое лицо дяди Рене, когда он вспоминал о том, что происходит на фронтах вдоль Ипра и Соммы, и утешительный подтекст в словах одного из зрителей в синематографе на улице Карла Юхана: «Ну, раз они передали командование маршалу Фошу, теперь немецким свиньям конец...» И тут Вилфреду стало совершенно ясно, что все происходящее есть результат всего происходящего, более мелкое – результат более крупного, и он услышал голос, который ответил тому, первому, где-то совсем в другом месте: «Ты смотрел в „Космораме“ „Разъяренного“? Вот бы им нарваться на такого, как Вильям Фарнум...» В эту минуту Вилфред увидел четкую линию, связывающую надежду мира на маршала Фоша, поклонение грубой силе в лице киноактера Фарнума, который ведет себя на экране как скотина, и потребность в точно рассчитанном обаянии юной

фрекен Герд Эгgede-Ниссен, улыбка которой околдовала мужественного Псиландера в картине «Опасен для общества». ...Фильмы, фильмы, с их быстрой сменой кадров и самовластными переходами в пространстве и времени – фильмы являют собой язык эпохи! Кино – единственное из всех средств выражения обладает скоростью и независимостью мысли... И в это же самое мгновение, в эту секунду Вилфред почувствовал угрызения совести оттого, что другие, а не он воплощают все это в искусстве, создавая произведения, отражающие действительность и как бы проясняющие ее.

Может, и впрямь, пока Вилфред говорил, миновала зима. Может, и вправду под талым снегом на Бюгдэ проглянули подснежники. А его мысли уже унеслись к Рингерике, когда в далеких горах куковала кукушка и в майском воздухе разливался аромат черемухи. Из маленького поезда, курсировавшего между Лиером и Свангстранном, вышел человек и стал рвать поповник, разросшийся вдоль насыпи, а тем временем поезд, тяжело отдуваясь, взбирался по холмам так медленно, что взрослому мужчине нетрудно было его догнать – мужчине в летней панаме с сигарой во рту. Запах сигары всегда сопровождал этого человека, и была в нем какая-то дразнящая красота...

Но Вилфред говорил уже не об этом. Он предоставил вездесущей мысли коснуться многих явлений зараз, перемещаясь во времени и пространстве.

Да и вообще, продолжал ли он держать речь? Он увидел, как две-три головы обернулись к нему с надеждой – очевидно, он дал им маленькую передышку, больше он этого не допустит. Шея Селины была все так же склонена в безропотной готовности претерпеть этот словесный поток. Оценили ли они по достоинству Боло-пашу, политического авантюриста мирового масштаба, ярчайшего выразителя своего времени? Взять хотя бы его последнюю гениальную аферу – покупку французской прессы в разгар войны при посредничестве Аббаса Хильми за две тысячи немецких марок... Вилфреду пришло в голову – пришло лишь на мгновение, как маленький юмористический переход: вот человек, который понял, где залегает золотая жила эпохи, плодоносный источник гармонии в современном хаосе. Он прыгнул в самую сердцевину райских кущ, в то время как бездарные паши провинциальной страны приплясывают на обочине, вышибаемые из колеи свойственной времени центробежной силой. Немцы не двинут свои войска на Петроград, ведь новое русское правительство заключит с ними мир, и тогда немецкие силы, занятые теперь на Восточном фронте, освободятся. А стало быть, темные воды мира докатятся до золотых берегов Норвегии – и, какой бы это ни был мир, все равно норвежцы останутся с носом...

Возмущенный вопль был ответом Вилфреду со стороны шампанских батарей вдоль стола, а друзья от Максима сидели разинув рты и по временам вяло сглатывали слюну. Они больше не участвовали в игре. Ни один из них в ней больше не участвовал. Бедные в ней вообще никогда не участвовали. Мысли Вилфреда носились по горам и долинам. А богатые сидели здесь и знали, что они тоже больше не участвуют в игре. Они находились на борту судна, столь же ненадежного, как те суда, для строительства которых они создавали акционерные общества и которые так никогда и не были построены. Теперь вихревое движение вышибало их вон из игры, они понимали это, но понимали не до конца. А ему оставалось только подразнить их на краю пропасти, чтобы они порастрясли свое самодовольство и взглянули в глаза своей гибели...

Роберт задумчиво кивал в ответ на этот словесный поток. Подобные мысли не могли вывести его из душевного равновесия. Казалось, он защищен броней веселой уверенности в тщете всех своих надежд.

Музыкант Лукас устался в потолок в неизбывной меланхолии, которую не рассеивало даже его неукоснительное общение со стаканом. Все происходящее – плод всего происходящего. Озабоченные взгляды этих мелких людишек, быть может, последнее недостающее звено в цепи событий, которая в данную минуту завершается крушением корабля «Морской бриз» в

Северном море, и опять же к выгоде это или к невыгоде для Вилфреда, который стал акционером общества «Морской бриз», выиграв у Роберта пари насчет выступления в кабаре?

В сознании Вилфреда проносились века, расстояния искажались. Аромат сигары, человек, собиравший поповник вдоль железнодорожного полотна, – ведь это был его отец, от которого осталось единственное воспоминание – запах сигары. Они прозвали его Алкивиадом... Туманные намеки матери, извлеченные из-под спуда боли, но ставшие яркими воспоминаниями, едва их извлекли на свет из зловещих недр памяти, из-под спуда забвения, бережно прикрывшего старую рану...

Быть может, его пороки были тоской по чистоте? В нем уживались легкомыслие, которое навлекло несчастья на тех, кто чувствовал по-другому, и угрюмость, которая бархатистой тенью заволакивала лучистую пылкость его взгляда. Само собой, они составляли одно, проистекали из одного источника – легкость и угрюмость его нрава, его чистота и его пороки. Но люди определили точные границы, в которых все должно проявляться, – каждому душевному движению свои границы, не вздумайте их смешивать, боже вас сохрани, не вздумайте смешивать. На похоронах надо плакать, а в театре смеяться в положенных местах. Но если замерзший смех вдруг прорвется сквозь горе, подобно оттаявшим звукам в почтовом рожке барона Мюнхгаузена, тогда все волки разом завоюют, готовые тебя сожрать: «Он смеется не там, где положено, он поклоняется южному ветерку, он увидел божественный отсвет в прозрачной, как папиросная бумага, коже простолюдинки!»

Да, это правда, его отец поклонялся южному ветру. И они застигли его на месте преступления. Вот как обстояли дела. А теперь дела обстоят так, что отцовский золотой отблеск ложится на него, Вилфреда, который стоит в этом поддельном ореоле среди поддельных друзей в разгар поддельного веселья. А кто же такой он сам? Акробат на канате, балансирующий между безднами добра и зла, к которым он равнодушен, как равнодушен к этим друзьям, которых он любит, когда зимой хочется отогреться.

Вилфред посмотрел на склоненную шею Селины и увидел перед собой Мириам, услышал сумеречный аккомпанемент ее голоса. Она говорила не словами, которые произносила, прислушиваться надо было к ее голосу, который придавал краски и смысл тому, что было не внешним, а глубинным выражением ее души. Они сидели на скамье во Фрогнер-парке и ссорились, но ее беспощадные, язвительные слова были лишь формой, которая

обнажала суть, а суть... суть... он быстро перевел взгляд на мольберт, который явственнее говорил своим замаскированным языком, чем если бы он прямо и откровенно выбалтывал свою мысль, подобно уличному плакату. Вот оно – голос Мириам, скрытый мазками на холсте. Холст высказывался в форме, которая в первое мгновение создавала впечатление невысказанности, но в следующее мгновение и потом – как бы сказанного вдвойне: маскировка не затушевывала высказывания, а была более действенным способом высказаться, высказаться, чтобы сквозь внешнее выражение проступало все богатство смысла.

– Язык искусства... – Вилфред спохватился, что произнес эти слова вслух, позволил мыслям, вышедшим в мир слов, и мыслям, которые должны были остаться в области мысли, слиться воедино. Гости приподняли головы. Они застигли его на месте преступления. Он проиграл игру, совершил промах. Он говорил тихо, но подумал вслух. Он снова совершил непростительный грех, противоречивший задуманной им программе, – предал свое одиночество.

Да, игра была проиграна. На него обрушились крики негодования. Гости осушали стаканы, а потом через плечо швыряли их в стену. Они поднимали вверх сжатые кулаки, но это не были щедрые кулаки Роберта, которые в Кабаке означали, что сейчас забьют светлые источники,

это были злобные кулаки с побелевшими суставами. Легкую победу одержали они над ним, ведь он был настолько глуп, что выпустил хищных зверей на свободу, облекши в слова свою мысль вместо того, чтобы потоком слов держать зверей на привязи. Толстяк художник, специализировавшийся на детских портретах, поднял бутылку, прицелился и направил струю в лицо Вилфреду так, что шампанское потекло по его галстуку и рубашке. Вилфред с улыбкой ответил на этот выпад, опорожнив содержимое пепельницы на покрытую младенческим пухом макушку художника, которая была прямо-таки создана для того, чтобы внушать матерям доверие своим кажущимся родством с детьми, – с детьми, которые покидали его пропахшую духами мастерскую, обезумев от страха и чувствуя себя виноватыми в тех непристойностях, какими он сыпал, пока они ему позировали...

Поединок был воспринят как сигнал к забвению хорошего тона. Не прошло и пяти минут, как прокуренное помещение превратилось в арену, где сражались быки на четвереньках и пикадоры, размахивающие занавесками и шалями в танце, который им самим казался изящным; а потом мертвецки пьяные они валились друг на друга между стульями, и руки, искавшие опоры, ухватившись за конец скатерти, увлекали за собой все, что стояло на столах. Вазы и стаканы качались и падали, опрокидывались стулья; с длинным столом, опиравшимся на козлы, поднатужившись, одним-единственным движением плеча покончил какой-то решительный головорез. С книжных полок полетели книги, окна в потолке были выбиты с помощью томиков из собрания сочинений Гейне, которыми прицельно и методично швырялись те, кто занял позицию за печью. В надежде что-то спасти прибежал перепуганный жилец из квартиры этажом ниже, и застыл в дверях, в ночной рубашке, с всклокоченными волосами. Его тут же закатали в ковер и спустили по лестнице вниз, оттуда долго неслись его страдальческие стоны. Пожилой маклер, известный своей любовью к людям искусства, лежа под роялем, выписывал чеки с тремя и четырьмя нулями своим любимцам, лирическим поэтам, которые уснули так внезапно, как умеют засыпать только поэты после насыщенного впечатлениями дня. Да, звери наконец вырвались на свободу. Им пришлось ее долго ждать, но тем быстрее забылась неволя в разгуле свободных деяний.

Посреди комнаты, на полу, на турецкой подушке, прикрытой верблюжьей шкурой, сидела, наблюдая за происходящим, Селина в окружении перепуганных актрис от Максима, которые вначале опасались, что не сумеют вести себя как должно в таком изысканном кругу. Вилфред, у которого кровоточили губы и лоб, проложил себе дорогу сквозь эту охрану и весело опустил на колени перед Селиной. Она отнеслась к нему благосклонно. Смочив подол своего платья, она обтерла его раны, улыбаясь при этом с иронической нежностью, дразнившей его любопытство: где все-таки обретается эта человеческая душа? Волосы Селины пылали, глаза пылали тоже, а на лице царило выражение бессмысленной невозмутимости. Ступая по ломким осколкам, он повлек ее в глубину алькова, но там, на сундуке, превращенном в диван и застеленном восточным ковром, лежал один из небогатых судовладельцев и блевал, как и подобает моряку, никогда не нюхавшему моря.

Но дамы из варьете проявили необычайную заботливость. Они занялись мужчинами, которые при первых же обращенных к ним словах что-то залепетали, а дамы ласково поглаживали их под измазанной блевотиной одеждой. Они действовали, как добрые самаритянки, с самыми лучшими намерениями, под влиянием минуты, ради того, чтобы оживить умирающих, которые в глубине души скорбели о судьбе моряков. Один только Роберт в величавом спокойствии восседал скрестив ноги на письменном столе и маленькими глотками потягивал коньяк. Он сидел, точно Будда, в одно и то же время приобщенный и непричастный к той всеобщей взаимосвязи, которую предпочел считать не унижительной, а занятой: ему всегда казалось интересным изучать поведение людей.

И вдруг Роберт закричал. Вилфред не столько услышал крик, сколько его увидел – лицо Роберта так необычно исказилось, что очнулся бы даже мертвый. Сидя на столе все в той же неизменной позе, Роберт громко кричал от ужаса. Вилфред проследил за его взглядом. Он был направлен на мольберт. Вилфред обернулся. Там стоял меланхолик-пианист Лукас,

держа в одной руке кисть, в другой палитру, и мазал краской по холсту, по всей поверхности холста.

Одним прыжком Вилфред оказался рядом с ним. Он не ударил его. Не сгреб в охапку. Вплетясь со своим противником в вихревой клубок кистей и раздавленных тюбиков с краской, он расправился с ним всеми доступными ему способами борьбы. Вилфред испытывал в эту минуту не гнев, а стыд и оголтелую жажду убийства. Потом схватив тряпку с мольберта, он тщательно стер чужие мазки, но в то же мгновение обнаружил, что оставшиеся на холсте его собственные мазки издеваются над ним – в них не было ничего, кроме фальшивого благомыслия дилетантизма. На табуретке лежал нож, которым он соскребал краски. Подняв его театральным жестом, Вилфред нацелился острием в холст. И тут с облегчением почувствовал толчок в локоть, решительный, но дружелюбный. Обернувшись, он встретился взглядом с Селиной. Пламя в ее глазах угасло, они были спокойны. Отняв у него нож, она положила его обратно на табурет. Потом затянула картину покрывалом и бесстрастно повернулась к нему.

– Ты написал это однажды утром, – сказала она тихо, но так, что он услышал ее в общем шуме.

– Ты меня любишь? – спросил он.

Он все еще дрожал от страха. Она пожала плечами и отошла к роялю, где Роберт вежливо переменял позу и палил ей коньяку. А Вилфред остался на месте, вдруг явственно вспомнив все: в то утро он встал после первой ночи, проведенной с нею, и понял, что настойчивый свет, проникающий сверху, был сам по себе символом воплощения всех вещей в форму, новую и непохожую на то невнятное оголение внешней природы вещей, которое свойственно реализму.

О господи, так это было в то утро!..

Она спасла его картину! А теперь она сидела у рояля, будто собиралась играть. Но она ведь не умеет играть. А вдруг умеет?.. А может, она просто хотела защитить от нападения самый источник звуков, как защитила малюсенький источник, фальшивый источник, мольберт, изувеченный безумным меланхоликом, который хотел одного – уничтожить то, что могут создать другие.

Вилфред оглядел царящую вокруг разруху. Она непоправима, она выглядит издевкой. День его совершеннолетия. Причащение, столь недостойное, что нет надежды когда-нибудь помянуть его добрым словом. Тем лучше – мимо. Твое убежище разгромлено. Ты покидаешь свой дом и говоришь: «Я здесь никогда не жил». Так-то.

Он заботливо обошел мастерскую. Уложил поудобнее спящих мужчин и утешил плачущих женщин. Они вовсе не дурные люди, вовсе нет. Он дотронулся до руки Роберта – тот и во сне ласково и озабоченно сжимал рюмку коньяку. Погладил по голове Селину. Она не спала. Она сидела, уставившись в раскрытые ноты. Это были его детские музыкальные упражнения «Папа поет своему малышу», он сохранил их в порыве сентиментальности. Стало быть, она обнаружила ноты в беспорядке мастерской и тайком упражнялась на рояле... Трогательно.

Все трогательно. Бормочущие во сне мужчины. Бодрствующие женщины, которые провожают его взглядом. Кто-то вернулся из уборной, расположенной на лестнице, позабыв привести в порядок свою одежду. Он хотел изнурить их своей болтовней, потому что хотел овладеть душами многих, чтобы – пусть на короткое мгновение – узнать хоть что-нибудь об одной. Но он ничего не узнал, ни об одной душе...

Он вел за руку Селину. Движения ее были вялыми, но осознанными. Она была трезва и добра. На дороге под ногами у обоих хрустнули осколки стекла.

Дверь они оставили открытой, чтобы живые и мертвые могли выйти и войти. Внизу, у подножия лестницы, валялся сосед, забывшийся сном в своем ковре. Утренний воздух пахнул им в лицо. Было уже светло. Вилфреду не удалось проникнуть ни в одну человеческую душу. Каждый существует в своем собственном замкнутом мире.

7

Светлые сумерки стояли над Нурмаркой, когда Вилфред отстегнул лыжи, чтобы спуститься с последнего склона, где уже почти не осталось снега, в Серкедал. Впереди на западе небо отливало тусклым золотом, но, когда он обернулся по старой привычке, как бы желая удостовериться, что и то, что осталось позади, причастно к действительности, он увидел темные ели на темном небосводе. В эти весенние вечера контраст между светом и мраком был так резок, что настроение мгновенно менялось, а изменившийся пейзаж становился всеобъемлющим символом.

Вилфред спрятал лыжи за сложенные штабелем дрова и стал медленно спускаться вниз по мокрой дороге, по обочинам которой островками лежал талый снег. Вокруг в невидимых ручейках булькала вода. Да и на самой дороге в этот светлый весенний вечер лед уже хрустывал под ногами. Нынешняя зима, казалось, никогда не кончится, и все же весна уже чувствовалась и в запахах, и в свете, и в теплых порывах ветра, от которого окружающий мир становился еще более зыбким.

Вилфред медленно спускался в долину. Две красные крыши, видневшиеся на юге, ловили отблески ослепительного заката. Они напоминали ему два красных пятна на щеках Селины, стоявшей в дверях хижины, когда он расстался с ней после полудня. Скрип лыж по твердому насту заглушил ее слова, если она вообще что-нибудь сказала ему вслед. Тишина стала явственнее, когда лыжня свернула в сторону – он знал, что теперь уже не увидит ее, если обернется. На мгновение его кольнула совесть: ведь ей предстояло одной провести ночь в заброшенной хижине возле Хаукена, но это мгновение было кратким. Селина не боялась, сказала, что не боится, когда он спросил ее об этом, но только после того, как он спросил. Она вообще редко что-нибудь говорила, если он не задавал вопросов. И ей не в первый раз приходилось ночевать одной. Впрочем, он уходил промышлять для них обоих. Так у них было заведено.

Так у них было заведено. Когда во второй половине зимы Вилфред отказался от своей мастерской, пересдав ее некой буржуазной даме, которой казалось, что она живет более полной жизнью, приобщаясь к искусству, он понял: так у них будет заведено, если им вообще суждено жить вместе, если он и она будут –

они. Месяца два они жили где придется. Ночевали у друзей, которые смотрели на вещи просто. Но беда была в том, что те, кто смотрел на вещи просто, сами скоро исчезли. Они и на это смотрели просто. И потихоньку, почти незаметно стали исчезать в эту зиму и весну, в последние месяцы войны и золотого века. Теперь страна принадлежала тем, кто пришел на смену биржевым спекулянтам. Канула в прошлое классическая эпоха, о которой уже говорили: «В прежние времена, в ту пору, когда еще действовали энергичные биржевики...»

В ботинках у Вилфреда хлюпало. Внутри – вода, снаружи – сухо и холодно, на западе над вершинами гор – солнечный пожар, позади – замкнутое пространство долины, где еще царит зима и где живут они вдвоем в хижине, в которую они проникли, гвоздем взломав замок. Вилфред шел не торопясь. Он придет в город как раз вовремя. Раньше полуночи нет смысла забираться в дом на Драмменсвей, чтобы набить рюкзак всем, что попадется под руку. Нельзя забираться в дом, который едва-едва задремал. Дом должен крепко уснуть. Не только

его обитатели, но и сам дом должен крепко уснуть – напасть на него можно только тогда, когда он отдыхает, притупив свою бдительность. Вилфред знал это по опыту.

Однако внизу, в Серкедале, он ускорил шаги. Здесь было темнее, казалось, уже настала ночь, хотя было еще рано. Прежде Вилфред время от времени хватался за карман, чтобы посмотреть на часы, которые дядя Мартин подарил ему шесть лет назад в честь семейного торжества, которое заменило конфирмацию. Но теперь он отстал от этой привычки. Часы вместе с цепочкой и старыми ручными часами перекечевали – каждая вещь по отдельной квитанции – в ломбард на Театральной улице, где доброжелательный закладчик с угрюмым взглядом (он казался «угрюмым» потому лишь, что каждый уверен: у закладчика может быть только угрюмый взгляд, и еще потому, что он носил очки с очень выпуклыми стеклами) посмотрел на Вилфреда сквозь линзы очков сурово, удивленно... Часы и всякая всячина. Однажды это оказалась шкура дикой африканской кошки, Вилфред получил ее в день своего совершеннолетия от Роберта в придачу к многочисленным байкам о хищных повадках кошки при ее жизни... Вилфред снес шкуру к тому же закладчику, а тот сказал: «Но ведь это ни то ни се...» «Почему же, это кошка», – пояснил Вилфред. В угрюмом взгляде выразилось неуверенное доброжелательство. – «Но она должна чем-нибудь служить – хотя бы ковриком перед кроватью...» Они обменялись улыбкой. Вилфред отправился домой в каморку с цементным полом при мастерской на Вилсегате, где они тогда жили, и Селина выкроила кусок из войлока, подровняла ножницами, а сверху нашила шкуру – получилось что-то вроде маленькой пантеры, созданной специально, чтобы лежать у камина, и закладчик дал за нее шесть крон.

В долине было темно, но Вилфред знал, что сейчас не больше девяти или половины десятого. В город он придет около одиннадцати и позвонит в один-два дома. Он не хотел беспокоить Роберта, хотя тот, если бы понадобилось, отдал бы ему последнюю рубашку. Но Роберт жил «без адреса», в каком-то бараке в Руделокке, который он, по слухам, обставил весьма комфортабельно: у открытого очага лежали даже персидские ковры, – но никто не знал, приятно ли ему будет, если его убежище обнаружат. Роберт по-прежнему ждал у моря погоды. Он не обанкротился и не разбогател, не стал ни беднее, ни богаче, чем прежде...

Селина в коричневом матросском свитере – как непринужденно она его носит! Точно королева в изгнании носит рубище под невидимой горностаевой мантией... Загоревшая Селина с уже заметным животом стоит в дверях хижины, точно пародия на иллюстрацию к сентиментальной новелле. Селина держит в руках охапку дров, которую подобрала на подтаявшем снегу, – эта трущобная Сольвейг с обломанными ногтями снисходительно поглядывает на своего Пера Гюнта, который только что под пение пилы повалил дерево в лучах заходящего солнца. Они ведут себя как два вора, никогда не обсуждая своих поступков и не вспоминая о них: он помалкивает потому, что все-таки ему это не совсем приятно, ну а она? Никто не может сказать, по душе ли ей все это. Ей дана роль, и она отдается ей. Отдается ему? Нет, роли.

«Ро-ли, ро-ли», – отстукивали его шаги на дороге. Роли, которая ей выпала в жизни, все равно какой из ролей: поднимать бокал шампанского или аккуратно рвать газетную бумагу в занесенной снегом уборной с обледенелым стульчаком. И ни словечка, ни единого знака, чтобы выразить радость или огорчение.

Когда уже нельзя было найти приюта у тех, кто смотрел на вещи просто, они придумали другой выход. Правда, тогда на улице вдруг потеплело. Неделю они провели в пустом доме в Свартсуге возле Бюндефьорда. Несколько ночей на Экеберге, а две – на лодочной пристани Акерсэльв, куда пропуском послужил пароль, сообщенный приятелями от Максима... И тут Вилфреду пришла в голову мысль о Нурмарке, его точно осенило – выход, райское блаженство. Он явился домой на Драмменсвей, взял лыжи, простился с матерью, простился честь честью – едет, мол, проветриться, отдохнуть. Она радостно вскинула голову – сын порывает с дурными привычками и для укрепления здоровья хочет пожить на лоне природы,

заняться физическими упражнениями. Сама она в последние годы уже не вставала на лыжи. По этой причине ему оказалось проще прихватить с собой и ее старые лыжи. У Селины не было лыж, и раздобыть их было не у кого.

В городе Вилфред позвонил в две-три двери. Но никто ему не открыл. Он стоял у дверей, вспоминая, как однажды школьником позвонил в дверь Андреаса на Фрогнервей, а потом убежал, чтоб подразнить старую служанку Марию, наверное, она уже умерла, многие умерли... Какая торжествующая, властная воля была тогда в нем! А теперь он звонит в двери, и самый звонок как бы предупреждает о том, что ему не откроют. Ну а

захоти он по-настоящему, чтобы открыли? Открыл бы тогда кто-нибудь? Он знал, что воля его излучает волны, которые рождают в других желание распахнуть дверь, восторженно встретить его, быть дома, когда их дома нет. Но сейчас в нем не было этой воли. Он не хотел видеть людей. А явись они, он ничего не захотел бы от них. Может, пропустил бы стаканчик, чтобы скоротать время до наступления ночи.

Вместо этого он побрел по улицам, хлюпая мокрыми ботинками. Завидев дом на Драмменсвей, он обошел его со стороны железной дороги и увидел, что небо над Бюгдэ предвещает непогоду: в городе будет дождь, а в горах, наверное, снег, нескончаемый, благословенный снег, который на свой лад вернее всего предвещает весну. Вилфред сделал несколько шагов к берегу. Здесь однажды в горячке детского бала он встретил Кристину. Они заключили договор, который посвятил его в тайну пола, – эта тайна должна была помочь ему постигнуть мир. Он напряженно вслушивался в звуки дома. Опустился на колени на склоне, идущем к морю, и увидел распустившийся крокус. Здесь он съезжал на лыжах и падал, а мать рассеянно восхищалась им из окна, а он счищал с себя снег и горделиво пролетал последние головокружительные метры, полагая, что можно скрыть, что он падал!.. ? теперь он ждал, чтобы дом умолк, как умолкает дом весенней ночью перед дождем. Старый фасад – он таил прегрешения его отца, вежливо таил дурное и хорошее и светлыми ночами был слеп и глух.

Вилфред бесшумно прокрался в дом. В потемках, закрыв глаза – так он видел зорче, – двинулся вперед, как лунатик, нащупал ручку кухонной двери, в точности зная, на какой высоте она находится, ручку скрипучей двери со сломанным замком, и на него уютно пахло льдом из кладовки. В то же мгновение он узнал запах куропаток.

Стало быть, сегодня был семейный обед. Руки быстро ощупывали разнообразные кастрюли, пока не наткнулись на белую миску с трещинкой, где остатки куропаток соблазнительно плавали в застывшем сметанном соусе. Он ощупью нашел косточку, по форме напоминающую ложку, которая в детстве служила тайным черпаком охочему до лакомого воришке. И в холодной кладовке к нему вернулось детство: в промокших ботинках все равно что босиком, как бывало лунными ночами, когда он, подросток, мечтая полакомиться, в ночной рубашке пускался на незаконные деяния под надежной охраной родного крова.

Только теперь решительно раскрыв рюкзак, Вилфред фонариком осветил полки. Надо вести себя благоразумно, не покушаться на банку с оливками или таинственные баночки с икрой, любимой дядей Мартином. Он решительно схватил тефтели и консервы «Солдатский паек», ловко нашарил картошку в ящике под скамейкой. Вилфред наполнял рюкзак привычно и планомерно, ему надо прокормить двоих – а может, троих? При этой мысли в нем не пробудилось никаких чувств – ни радости, ни горя. Чему быть, того не миновать. Может, ему передалась от Селины ее покорность судьбе? Он не думал о будущем. Стоя в кладовой своего детства, он ушел в прошлое. Он воровал, как и тогда, но только теперь для поддержания жизни. Под конец он все-таки взял несколько банок с оливками. И совсем напоследок стянул несколько бутылок из стенного шкафчика в коридоре. В столовой он в самой невообразимой очередности отхлебнул понемногу из разных графинов, стоящих на буфете, и не потому, что не мог обойтись без спиртного, это время давно миновало, а потому, что представился удобный случай, а он хотел себя побаловать.

Но, порывшись в ящиках секретера в гостиной, он не нашел там денег. Выглянувшая из облаков над Бюгдэ луна на мгновение пришла ему на помощь. Вилфред тщательно перебрал счета и письма. Он знал: луна вот-вот скроется. Небо предвещает непогоду. Стоя с мешком за плечами, он рассеянно пробежал глазами бумаги и складывал их обратно в том же порядке. Он не хочет рыться в письмах и вещах матери, ему нужны деньги, небольшая сумма. В одном из писем – оно было отправлено адвокатской фирмой – он прочел: «Поскольку бумаги, в которые Ваш брат, директор Мартин Мёллер, вложил деньги, оказались менее выгодными, чем предполагалось...»

Луна внезапно скрылась. Вилфред очнулся в темной гостиной на Драмменсвей. Он успел мысленно пережить разные периоды своей жизни, детство, отрочество, годы созревания. На какое-то мгновение он перестал понимать, сколько ему лет, какая сейчас пора и как он здесь оказался. Он невольно потуже затянул мешок, зажав его большими пальцами, потом в темноте положил на место недочитанное письмо и задвинул ящик. Пора уходить. Он тайком прокрался в дом, и дом этот дышит уже так, как дышит спящий незадолго до пробуждения. Что-то напряженно пульсировало в мозгу, нет, пожалуй, не там, но и не в крови. Потому что его кровь, как и быстрая мысль, отхлынула туда, где к северу от Лангли, неподалеку от Хаукена, стояла хижина, – он знал там каждую котловину, каждую тень. Его дом был там.

Его дом был там. Вилфред тронулся в путь. Он шел с тяжелой поклажей: консервы, всякая снедь... Он действовал по доброй воле, никто его не принуждал. Вот почему он нес свой груз. Рюкзак с продовольствием превратился в некий символ – какое-то задание, что ли, не вполне определенное, некий долг по отношению к чему-то. Добрые силы бродили в нем, не выявляя себя. На одной из темных улиц Вилфред остановился, почувствовав, как в нем прорезывается фраза: «Поскольку бумаги, в которые вложил деньги Ваш брат, оказались менее выгодными...»

Стало быть, они просто-напросто разорены, подобно многим другим, кто вздумал играть с огнем. Его холодная мать, со всем ее скрытым пылом, играла, играла совсем немного, но, как видно, этого оказалось достаточно. Ему самому, с любезного одобрения адвокатов, был выделен небольшой капитал, чтобы он мог играть, не затрагивая своего наследства. Теперь, став совершеннолетним, он мог бы потребовать, чтобы его выделили окончательно. Прежде такая мысль не приходила ему в голову, впрочем, об этом не стоит жалеть. Сколько бы у него ни оказалось денег, много ли, мало ли, ему всегда будет их не хватать. Некоторое время он прожил в мире, лишенном точного мерил ценностей, среди людей, которых можно было считать богатыми или бедными, смотря по тому, как на это смотреть, но они располагали наличными деньгами. Он как раз и рассчитывал сейчас на небольшую сумму наличными, чтобы взять такси, добраться до дому с тяжелым рюкзаком, купить еще кое-какой еды. А его безответственная мать, должно быть, мучается сейчас бессонницей из-за письма, смысл которого ей непонятен: «Поскольку бумаги, в которые вложил деньги Ваш брат...»

А впрочем, как знать, чувствует ли она себя бедной? Может ли она так сразу, без перехода, понять, что значит бедность?.. Он пойдет к этим самым адвокатам, он в своем праве. Вот он стоит на улице под крапывающим майским дождиком с рюкзаком, набитым краденными продуктами, и собирается к своему адвокату. Вилфред горько рассмеялся – он начал зябнуть под морозящим дождем. Там в горах, в заснеженной хижине, лежит Селина, прислушиваясь к шепоту елей, и чувствует, как в ней растет ребенок – у нее тоже нет будущего, но ее это не тревожит, у нее никогда не было будущего.

Вилфред повернул обратно и зашагал в сторону восточной части города. Он был сейчас в том настроении, когда по мелочам проявляешь решительность. Он надумал поспать часок-другой в квартире Роберта в Руделокке. Если Роберт дома – хорошо, если нет – тоже хорошо. В конце зимы Вилфред с Селиной нашли прибежище в темном деревянном доме Руала Амундсена в Свартсуге возле Бюндефьорда. Великий полярник путешествовал где-то среди льдов, а они пробрались в его дом и прожили в нем некоторое время, дивясь комнатам,

обшитым темным деревом и оборудованным под каюты, с компасом и прочим снаряжением. Однажды, возвращаясь домой, они обнаружили, что в дом проникли посторонние: это были журналисты, полиция... Остановившись на опушке, они сразу поняли: что-то произошло, повернулись и пошли в горы.

Но к Роберту не было нужды вторгаться без спросу. Низенькое барачное строение можно было узнать еще издали – припараженный исправительный дом, вполне в духе Роберта, которому все годилось и ничто не сулило унижительных неожиданностей.

Роберт вскочил, едва услышал стук. Кто знает, случалось ли вообще спать по-настоящему этому всеобщему доброжелателю, никогда не задававшему вопросов. Он и теперь ни о чем не спросил, только помог Вилфреду спустить с плеч набитый мешок, который отяжелел от пропитавшей его влаги. Не хочет ли Вилфред выпить? Хочет. Он еще не успел ответить, а перед ним уже стоял стакан. Вовремя поднести стаканчик – Роберт был способен и не на такие чудеса. А Роберт уже помешивал жар в импровизированной печи, которую сложил собственными руками, ловкими во всем, за что бы он ни взялся.

– Деньги? – На загорелом лице Роберта мелькнула улыбка. – Само собой. Вот только с наличными... – Изобретательный в поисках выхода, он уже шарил вокруг взглядом – не подвернется ли что-нибудь ценное, что можно заложить или продать. И вдруг просиял: – Акции «Морского бриза»!

– При чем здесь они?

Уставившись в огонь, Роберт расплылся в широкой добродушной улыбке.

– Да они же твои, дружище. Ты можешь их продать – хочешь сегодня, хочешь завтра!

Вилфреду стало совестно.

– Ведь это же было просто пари...

Лицо Роберта на мгновение омрачилось.

– Ты, может быть, думаешь... К тому же они уже давно переведены на твое имя.

Они просидели вдвоем до утра, пока рассвет не забрезжил в единственном выходящем на восток окне. Роберт извлек из кармана книжку – это был «Пан», с которым он никогда не расставался. В этом человеке самым естественным образом уживались разнообразнейшие противоречия: умиротворение и неприкаянность, интерес к акциям и любовь к поэзии, и это нравилось Вилфреду. Славно было никогда не знать, какой он сегодня, – знать лишь одно: всегда, в каждую данную минуту, он на твоей стороне. Был ли он богат или беден? Судя по всему, и то и другое вместе – вполне в духе времени. Он был на удивление осведомлен в вопросах искусства и экономики. О таких людях говорят «шалый», а может, даже «шарлатан»: этот человек щедро одаривал ближних дешевым счастьем, пока ему было чем одаривать.

На полу и в самом деле лежали роскошные ковры. В алькове стояло удобное ложе. Достоинство Роберта было в том, что он никогда ничего не навязывал. Он не благодетельствовал, а давал щедрой рукой. Он не верил в силы добра, но зато не ведал и зла. Рано утром он сам отправился реализовать бумаги.

– Возможно, немного погодя их можно было бы продать дороже. Бумаги оказались надежными.

Он беззаботно сунул кредитки Вилфреду. Вилфред со своей стороны предложил поделиться.

– Давай, – охотно согласился тот и пододвинул к себе небольшую пачку. Сидя за столом, на котором валялись деньги, они пили утренний кофе с коньяком. – Снабдили друзья, – пояснил Роберт. Кстати, не хочет ли Вилфред захватить бутылку с собой?

Они попивали кофе и говорили о письме, которое нашел Вилфред. По лицу Роберта снова мелькнула тень, мимолетная тень огорчения, похожая на апрельскую тучку, нависающую вдруг над улыбающейся землей.

– Все дело в том, – сказал он, – что твоя мать не создана для этого.

Не создана. «А ты сам, – подумал Вилфред. – Ты или, к примеру, адвокаты Фосс и Дамм, на чье имущество, включая пресловутый бар, наложен арест, – вы, стало быть, „созданы“? Вы не ждали другого конца. Вы – пешки, повинующиеся переменчивой игре жизни, да и сами вы – воплощение переменчивых настроений и нрава».

– Ты можешь позвонить адвокату из будки у спортивного зала, – предложил Роберт.

Но из будки позвонить не удалось. У кабины ожидала очереди женщина с ребенком и корзиной. Этого оказалось довольно, чтобы Вилфред передумал. Не хочет он лезть в материнские дела, даже если они касаются его самого. Не хочет ничего знать – ни хорошего, ни плохого. Он вернулся к Роберту за рюкзаком. Они постояли вдвоем в темной комнате, в которой свет зажигали только при закрытой двери.

– А ты сам? – спросил Вилфред на прощанье. Роберт пожал плечами.

– Все меняется. – Он улыбнулся. – Но если тебе понадобится жилье... – Он сделал выразительный жест. – Только ничего не покупай в лавках по соседству, – беспечно добавил он. – Понимаешь, я, собственно говоря, здесь не живу... Пиши мне до востребования. – Вдруг он что-то вспомнил. – Твоя картина, – сказал он, указав в темный угол. Разглядеть Вилфред ничего не мог, но понял, о чем речь, и поежился. – Да и другие картины тоже. К тому же дама взяла напрокат рояль. Наверняка сверх задатка ты можешь получить еще деньги.

У Вилфреда потеплело на душе.

– Ты можешь потребовать их у нее?

Тот неопределенно кивнул, словно соображая на ходу, как прибегнуть к услугам неизвестного посредника.

– Возьми себе то, что удастся получить, – улыбнулся Вилфред. Так они и стояли, улыбаясь друг другу в полумраке. Потом Роберт быстро выпустил друга, стараясь, чтобы дверь не заскрипела. Вилфред легко зашагал к стоянке такси, тяжелый мешок стал невесомым. Когда машина свернула к северу от Бугстадванн, над Серкедалом вдруг сразу засиял майский день. Где-то наверху вокруг стволов пихт с тихим потрескиванием таял снег, в истоках рек под синим ледяным покровом всхлипывала вода.

Вилфред нашел лыжи за штабелем дров и, тяжело отталкиваясь палками, стал подниматься по мокрой дороге к вершине горы, которая становилась все белее, чем дальше он шел. Тут был иной мир, не похожий на долину, освещенную солнцем мая, не похожий на пустые городские улицы под морозящим дождем, на гостиную на Драмменсвей, залитую лунным светом, или темную комнату Роберта в бараке, усталом дорогами коврами.

Но когда, перевалив через последний гребень, он легко заскользил по лыжне вдоль ручья, он не услышал ответа на условный свист. Он уже видел стену хижины, серебристо-серую на фоне белого озера, он снова свистнул, но никто не отозвался. Он с силой всадил в снег палки, усталость после тяжелого подъема сменилась тошнотворным страхом.

Он толкнул дверь палкой и, как был, на лыжах, с трудом перевалил через порог.

При свете дня, проникавшего в хижину, он увидел Селину на скамье прямо против входа. Она полусидела, полулежала. Нижняя часть ее тела была обнажена, по ногам стекала кровь. Он споткнулся на пороге с лыжами и рюкзаком. – Это я, Селина, это я! – Споткнулся и упал перед ней. Руки его наткнулись на серый комочек, перепачканный кровью и слизью. Он хотел встать, но лыжи мешали ему подняться. – Селина! – крикнул он.

– Ну как ты сходил в город? – спокойно спросила она.

8

Умерла тетя Шарлотта.

Известие принес Роберт. Весенним вечером, освещенный заходящим солнцем, он появился на пороге хижины в промокших городских ботинках и рассказал о случившемся.

– Я подумал, надо тебе сообщить поскорее. Сегодня утром объявление напечатано в газете.

Селина к этому времени уже совсем поправилась. Тогда Вилфред хотел не откладывая ехать в город за врачом, но она попросила его повременить, а на другой день попросила подождать еще: у нее, мол, все в порядке, врач ей не нужен.

Как это случилось?

Она пошла с ведром за водой, и вот, когда она поднималась от реки вверх...

Но ведь он сам запас для нее воду?

Она пошла с ведром за водой. Он не знал, лжет она или нет, и не расспрашивал. Не знал, страдает ли она. Он пытался угадать.

Но, казалось, его прежняя способность угадывать с ней давала осечку, словно и угадывать было нечего. Он пытался разгадать ее, денно и ночью окружая заботой, ухаживая за ней, когда она это разрешала. Но вообще – беспокоиться не о чем. Она держалась безукоризненно. Молодая здоровая девушка, у нее вышла маленькая неприятность, но никто бы об этом не догадался. Приди Вилфред немного позже, быть может, и он ничего бы не узнал. Она ведь никогда не говорила прямо, что ждет ребенка.

При вести о смерти тети Шарлотты Вилфред не испытал большого горя. Скорее страх, и это чувство все усиливалось, пока Роберт ставил к стене свой нелепый чемоданчик и снимал ботинки, чтобы их просушить. А потом ему дали поесть и налили остатки вина. Бокалом служила чашка с отбитой ручкой, но Роберт подносил ее ко рту так, словно она была из хрусталя, смотрел сквозь нее на свет и блаженно вытягивал ноги в шерстяных носках.

Да, чувство, которое испытывал Вилфред, было сродни страху. Это была первая смерть в семье после отца. Тетя Шарлотта с ее шуршащими юбками, всегда такая ласковая. Детей у нее не было. Может, ее ребенком был дядя Рене?

Что-то вроде умиленного страха: стало быть, такое может случиться. Мысль о матери, обо всех остальных. Одним человеком стало меньше в их семейном кругу, который распался, по все же продолжал существовать. Вилфред бросил взгляд на свои руки. Недавно они держали окровавленный комочек, который был жизнью. Теперь, когда пришла весть о смерти,

Вилфред вспомнил об этом. И спросил Роберта:

– У тебя есть дети?

– Кто знает! – беспечно ответил тот.

Вилфред не смотрел на него, он задал этот вопрос, чтобы увидеть, дрогнет ли что-нибудь в лице Селины. Ничто не дрогнуло. Неужели она совсем не испытывает горя? Может, она сама все это подстроила? Но если даже так, неужели она совсем не горюет? Вилфред пытался уловить, что он чувствует сам. Что-то похожее на горе. Но не из-за ребенка, не из-за тети Шарлотты, которую он всегда любил. Горе оттого, что вот они, трое друзей, сидят здесь одни, в лесу, вместе, но за тысячу километров друг от друга. Роберт прислушался.

– Скворец в лесу? Чудеса! А может, это вы завели здесь себе собственного скворца?

Горе из-за всего, что говорится. Из-за слов, которые призваны скрывать мысли или выражать не то, что думаешь. Сам он всегда пользовался словами для этой цели, а еще для того, чтобы мучить и терзать. Надо было бы сказать ей, что он любит ее, если только он ее любит. Сейчас весна, они молоды. Да, сердце его сжимается сейчас от горя.

– А загар-то у обоих какой! Так и брызжете здоровьем!..

Роберт огляделся в полумраке хижины. Они кое-как украсили ее, она приобрела жилой вид, в ней даже чувствовался уют.

– Вы живете, как первые люди в последние времена.

Доброжелательные слова, сказанные, чтобы порадовать. Подруга сердца и добрый случайный приятель. Вот они сидят и тщатся быть вместе, и находятся за тысячи километров друг от друга. За стенами хижины весна черпает из своих светлых источников, они будут разливаться все шире, пока не наступит летняя пора. Сначала пришел страх оттого, что кто-то умер. А горе было вызвано не смертью. Вилфред думал о своей бездетной тетке Шарлотте с ее шуршащими шелковыми юбками. Имело ли значение то, что она жила на свете, а если имело, то для кого? Ни разу не произнесла она резкого слова, одни только ласковые, веселые, подходящие к случаю слова. Но при той жизни, какую она прожила, можно ли сказать, что она жила? Что изменилось бы, если бы она не жила вовсе, если бы она не появилась на свет из-за несчастного случая, из-за того, что кто-то поднял тяжесть прежде, чем она родилась... И все-таки она прожила жизнь, бездетную жизнь, реальную, или почти реальную. Но, глядя на нее, нельзя было подумать, что она сознает: «я живу!» Наверное, у нее всегда все шло слишком благополучно. Наверное, человек не может до конца осознать, что живет, если он всегда одинаково благополучен.

– Ну а вы – долго вы намерены оставаться здесь, в глуши?

Теперь вопрос задан, правда, задали его с улыбкой, херес отличный, и сидят они все-таки вместе. Но те двое, кого касались эти слова, никогда не произносили их вслух. Задавать вопросы – опасно. Вопросы вынуждают принимать решения. А они оба не слишком склонны решать. Что-то случается само собой – а может, и не само собой. И происходят перемены.

– Хм! – Вилфред взглянул на Селину. Она стала очень тоненькой, но не худой. Кожа и волосы пламенели, как прежде.

– Пока не уедем отсюда, – ответила Селина.

Улыбка, любезный смешок. Стало быть, и она считает, что все случается «само собой». Перемены – в душе или в теле – приходят неизвестно откуда, иногда неслышно прокрадываются в щель, хотя бы, к примеру, смерть. У Роберта оказалась с собой бутылка

виски. Мужчины пошли к ручью за водой. Ручей бежал так глубоко под покровом последнего хрупкого льда, что один должен был придерживать другого за ноги. Зачерпнув воды, Вилфред спросил:

– Ты узнал что-нибудь у адвоката?

Лицо его покраснело от усилия. Роберт стоял, утапывая бахромчатую кромку снега.

– Деньги, вложенные в бумаги, потеряны, – сказал он.

– Значит, у нее ничего не осталось?

– Почему ты не спросишь у нее самой?

– Телефон плохо работает.

И оба рассмеялись. Хотя смеяться было не над чем. Но они смеялись над тем, что Роберт понимает, почему Вилфред не спрашивает, почему не показывается дома и почему не может и не хочет быть с людьми, которых очень любит.

– Но на похоронах-то ты все-таки будешь?

Они поднимались вверх с ведрами в руках. Теперь начало быстро смеркаться. В котловине, обращенной на северо-запад, снег совершенно посерел. Но между котловинами маслянисто поблескивал брусничник.

– Само собой.

Она была сестрой отца, сестрой синего сигарного дыма, воспоминание о котором до сих пор сладко дразнит его обоняние. И ее запах помнит Вилфред. Брат и сестра – два разных запаха. Они подошли к двери хижины. Селина накрыла сундук шейным платком вместо скатерти.

– До чего же ты домовита, – заметил Роберт.

– Раз у тебя дом... – сказала она. Сказала без горечи, может быть, даже радостно.

– ...под каждым кустом! – закончил Роберт. И разлил виски. – Дом у нас там, где есть бутылка.

Беззаботно, уютно. Роберт проделал этот долгий путь, чтобы сообщить горестную весть, побуждаемый участием и дружелюбием. Вспомнил, что в чемоданчике есть еще бутылка. Тактичное благодеяние – впрочем, он недаром живет у самых источников. Вилфред пил с наслаждением.

– Пожалуй, вкуснее всего с водой.

– Да еще с такой водой! – вставила Селина.

Вилфред внимательно вслушался. Что это – ирония? Ничуть. Даже не ирония. Ирония – это сострадание к самому себе. А способна ли она сострадать другим?..

И снова Роберт устремился к потертому чемоданчику, который он оставил у самого порога. Одет Роберт по-городскому, чемоданчик у него тоже городской – словом, вестник из города. Оказывается, он прихватил с собой кусок говяжьего филея и бутылку бургундского, а когда он порылся тщательней, их оказалось даже целых три. Он объявил об этом с кокетливым удивлением, почти смущенно. Если у них найдется сковорода...

Сковорода нашлась. А масло нашлось у Роберта, он получил его по медицинской справке – нет, слава богу, справку выдали не ему, до этого он еще не докатился! Он коротко усмехнулся. Кстати, он не прочь заняться стряпней. А для Селины он прихватил китайское кимоно с панталонами, если она не побрезгует. Он рылся в чемоданчике, извлекая из него поочередно один подарок за другим. Еще там оказались длинные листки с цифрами и томик Снойльского.

– Читали Снойльского? Презабавный поэт. – Роберт всегда питал слабость к старой шведской поэзии. Он ронял фразы одну за другой почти без всякого выражения.

Селина деланно ахнула, как всегда, когда речь заходила о новой тряпке. Потом решительно объявила, что переоденется в лесу. Холодно ей не будет, там теплее, чем в доме. Она умела утверждать нелепицу таким тоном, что приходилось верить. Роберт начал колдовать над сковородкой.

– А она?.. – спросил он.

– Нет. Не знаю.

– Нет... Во всяком случае, она мягкая. – Теперь он имел в виду говядину. – Одну мы наскоро подогреем, а остальные ты поставишь на верхнюю полку, так что они будут в самый раз. – Это уже касалось бургундского.

– Не знаю, – повторил Вилфред, расставляя бутылки.

– Перцу, – распорядился Роберт и, получив его, добавил: – Никто вообще ничего не знает.

– Что-то знать надо! – запальчиво возразил Вилфред.

Роберт жарил мясо. В скудном свете очага он внимательно следил за сковородой.

Вилфред зажег керосиновую лампу с зеркальцем сзади. Где-то в непроглядной тьме сейчас наряжается Селина. Он почувствовал к ней вдруг прилив необычной нежности, лишенной плотской страсти. Склоненная спина Роберта рисовалась силуэтом в золотом ободке света, отбрасываемого очагом.

– Готово, – объявил Роберт о своей стряпне, когда вошла Селина. На ней было черное кимоно с золотыми драконами.

– Приманка для туристов, – виновато произнес Роберт. – Ты сама краше любого наряда.

Он опытной рукой разложил мясо, пока Вилфред расставлял на столе вымытые чашки. Селина опьянела от одного вида вина.

– Кулаки вверх! – закричала она. Но стоило ей немного выпить, как она стала трезвой. Роберт подлил ей немного вина, и ему тоже тотчас наполнили чашку. Сплошная любезность и взаимная доброта. Слышно было, как внизу журчит ручеек. В темноте ласково шелестели ели.

– Теперь дядя Рене уедет в Париж, – сказал Вилфред.

Они не сразу посмотрели на него. Они думали о своем.

– Из-за этой церкви в Париже? – спросил Роберт.

– Он не может примириться с тем, что ее разрушили. Он больше парижанин, чем сами парижане.

– Ты поедешь с ним? – спросила Селина.

Вилфреду это не приходило в голову. Он не знал, что это приходило ему в голову.

– В Париж?

– Ну да...

Она спросила просто так, ни с того ни с сего, вообще она никогда ни о чем не спрашивала. А тут вдруг спросила.

– Может статья, – ответил он.

Роберт слегка вздернул брови. Во время еды он хотел покоя,

– М-мм! – промычал он негромко.

Они его поняли. И в один голос повторили:

– М-мм.

Выпили за это. Запивали еду, заедали вино. Подбросили в огонь несколько добротных чурок, глаза им застлал дым, они смеялись, ослепнув от дыма, и в голубоватом сумраке казались друг другу привидениями.

Она спросила, поедет ли он в Париж. Никто его не приглашал. Он глубоко сочувствовал дяде Рене еще с той поры, как был немым, и хотел выразить свою благодарность дяде за то, что тот открыл ему волшебную тайну импрессионизма; в этом периоде искусства крылось что-то, что было созвучно Вилфреду во всем.

– И спасибо, что ты притащился в такую даль, чтобы сообщить мне об этом.

Пустяки. У Роберта машина, он оставил ее внизу, в долине. Стало быть, и машина у него есть, машина и яхта, – может, дела его не так уж плохи?

Кстати говоря, полезно пройтись пешком десятка полтора километров. Редко ведь удается вырваться на природу. Вообще-то насчет Роберта и природы разобраться трудно – верно ли, что он ее любит? Он во всем человек городской. С другой стороны, он мастер на все руки...

– А как же гостиница? – спросила Селина.

Гостиница на месте. Он отчасти привел ее в порядок, но еще не совсем. Поживем – увидим.

– Но она твоя? – упорствовала Селина.

– Да как сказать. – По лицу Роберта скользнула привычная мимолетная тень. – Это штука сложная, теперь не всегда разберешь, владеешь ты чем-нибудь или нет. Распробуйте-ка лучше это виски. Я получил его у нашего общего приятеля, Андреаса.

– Получил? – Селина становилась настойчивой.

– Ну приобрел. Предприимчивый малый, этот Андреас. Машина, яхта, большими делами заворачивает. И фамилию сменил, слышали?

Машина, яхта. Стало быть, Андреас предприимчивый малый, потому что ими обзавелся. Но разве сам Роберт не заворачивает крупными делами? Нет, Роберт не из предприимчивых, он занимается всем понемногу и доволен своей участью. Они послушались его совета – с наслаждением смаковали виски. Они наслаждались всем вокруг и подкладывали чурки в

огонь... Подумать только – Эрн, орел, синий на золотом фоне, – здорово! Интересно, есть от этого прок – вот так взять да и поменять фамилию? Может, проснешься утром и в самом деле возомнишь себя орлом... А что, если взять себе фамилию – Мышь?

На рассвете, выйдя на улицу, они слепили чудеснейшую снежную бабу. С добросовестностью пьяных они расхаживали взад и вперед, приносили остатки снега с опушки леса, поливали снежную фигуру водой и отделявали ее, стараясь перещегоолять друг друга. Вилфред занялся лицом и придал ему некоторое сходство с простодушно-демоническим Андреасом. Утренний холодок пощипывал разгоряченную вином кожу. Они ненадолго вздремнули, а потом стали наводить порядок в хижине. Вилфред проснулся, услышав, что Селина расхаживает по комнате, собирая вещи. Стало быть, так же без слов она приняла и это: все кончено, надо отсюда уходить. Роберт стоял в дверях, он вернулся с улицы, завершив свой утренний туалет, и хриплым голосом напевал какую-то бодрую песенку. Кажется, они проведут славное утро – обойдутся без предотъездной хандры.

Но когда они свернули по тропинке влево от проруби, где истончившийся лед, позванивая, таял на утреннем солнце, Вилфред обернулся, чтобы поглядеть на брошенную ими хижину, одинокую и холодную, – на ее серебристо-серой стене на мгновение вспыхнул золотистый отблеск. Снежная баба потеряла руку, которую они вылепили ей в пьяном усердии. Это уже поработало солнце. Вторая рука была поднята кверху, словно в знак прощания. И снова у Вилфреда привычно кольнуло сердце, будто он совершал очередное предательство, – всегда что-нибудь предаешь, безответственно барахтаясь среди своих жалких переживаний, попеременно хороших и дурных, но не слагающихся ни в какую сумму и ни к чему не ведущих.

Он взглянул на Селину. Она не оборачивалась. Она шла по тропинке, балансируя под бременем слишком тяжелой ноши, которую во что бы то ни стало хотела нести сама: даже в таких примитивных условиях существования приходится что-то перетаскивать с места на место. Роберт помахивал своим легким чемоданчиком, продолжая нахваливать прекрасное утро. Внизу на лесных склонах пели птицы. А в самом низу их ждал Робертов автомобиль.

Вилфред еще раз обернулся, но уже не увидел хижины, только различил блик света как раз на том месте, где она стояла, – он создавал ощущение крова, пристанища. А потом уже не стало видно ничего, кроме холмов с бегущими по ним шальными ручьями, которые вспыхивали на солнце там, где они выплескивались из берегов и выбегали на дорогу резвыми струйками – серебристая паутина, след потайных светлых источников.

9

В крематории Вилфреду никак не удавалось настроиться на скорбный лад. Пастор страдал дефектом речи, произносил «й» вместо «р» – возникало непривычное слово «скойбрь», оно витало в зале, насыщенном запахом цветов, приобретая для Вилфреда то одно, то другое значение. Было вообще неприятно сидеть на передней скамье среди тех, кто должен скорбеть. Взять хотя бы мать, обливавшуюся слезами сверх всякой меры. Она горевала бы гораздо больше, если бы ей не надо было так сильно горевать.

В темной глубине крематория Вилфред заметил Роберта и Селину. Мило, что они пришли. Характерная черта Роберта – он как бы и соблюдал все правила приличия, и как бы не подчинялся им. Он всегда поступал так, как от него ждали, а казалось, что он повинуется порыву, влиянию непосредственного чувства. Вилфреду хотелось быть с ними, ощутить себя свободным и одиноким. А вместо этого он должен сидеть на передней скамье среди действующих лиц. Ему не верилось, что это тетя Шарлотта лежит в белом гробу, усыпанная

цветами. Однако шуршанье ее шелковых юбок умолкло. Вилфред пытался услышать его сквозь слова священника. В слова эти тоже было трудно поверить. Все казалось неправдоподобным, кроме разве что дяди Рене. Он сидел как-то обособленно на самой первой скамье, почти бесплотный в своем узком черном сюртуке с шелковыми лацканами. Он становился все более прозрачным по мере того, как с фронта поступали все более печальные вести.

Ближе всех к Вилфреду сидела тетя Клара – та, которая отказалась преподавать немецкий. Странно – он только сегодня обратил внимание, что они постарели, все его родные, даже мать немного постарела, чуть утратила свою очаровательную, округлую мягкость. Одна только тетя Клара оставалась такой, какой он ее знал всегда. Зато, наверное, она и не выглядела моложе, когда была моложе. Она сидела, обмахиваясь неизменным шелковым носовым платком, и пепельно-серый кончик языка, как всегда, облизывал пересохшие губы. Во всей ее фигуре была какая-то удивительная опрятность, гармонизировавшая с этой обителью смерти. Вилфред в первый раз видел тетку не в серой одежде, но и в черном она казалась серой, и не от усталости или от возраста, а как бы от природы – благородный серый цвет.

Дядя Мартин в черном сюртуке – на коленях цилиндр с креповой лентой – сидел с мрачным видом, словно исполняя заученную роль: олицетворение скорбящей семьи. А может, у него и в самом деле на душе лежало бремя – бремя заботы обо всех родных, – так или иначе он демонстрировал скорбь. Осанистой мощи в нем несколько поубавилось за минувшие напряженные недели, но по-прежнему он являл собой монументальную противоположность одухотворенному дяде Рене с его колдовскими руками. Дядя Мартин всегда представлял собой.

Из-за прикрытия его дородного туловища выглянула тетя Валборг, она, словно сообщница, весело кивнула Вилфреду. Вилфред ответил вежливым кивком, не преминув сменить вспыхнувшую на мгновение улыбку подчеркнутым скорбным выражением.

Он осторожно огляделся вокруг, ища взглядом Кристину. Вот она – сидит на третьей скамье справа. Она как бы тактично отделяла себя от семьи, она ведь так и не вошла в нее до конца; но ее изысканная седина придавала ей какое-то сосредоточенное и уверенное выражение, которое не надо было подкреплять скорбной миной. Где бы она ни оказалась – хотя бы на похоронах в промежутке между публичными демонстрациями рыбной муки Накко и невоспламеняющихся карбидных ламп, – Кристина всегда была на своем месте. В настоящую минуту она сидела в крематории и держалась как безукоризненная родственница.

Среди близких вышел небольшой спор по поводу церемонии похорон. Мать и дядя Мартин считали кремацию неуместной. Боже сохрани, он не возражает против самой процедуры, говорил дядя Мартин, она вполне благопристойна, и он не какой-нибудь там ретроград, но сожжение – знаю, знаю, здоровый, гигиенический обычай, и все же для людей нашего класса несколько слишком радикальный – так, во всяком случае, считает он. Но дядя Рене спокойно настоял на своем. Зато он уступил их желанию, чтобы из часовни гроб везли на лошадях. Тут он был согласен – в подобных случаях автомобиль ни к чему.

Вилфреду казалось, что следы распри все еще разъединяют скорбящих в этот скорбный час. Он снова чувствовал в себе услужливую готовность вести себя так, как они от него ждут. Беда лишь в том, что они больше не составляют монолитной семьи, она распалась на отдельные личности. Вилфред и раньше чувствовал особенности каждого и настраивался на соответствующий лад. Но теперь различия стали как бы осязаемее: каждый в большей мере существовал сам по себе, в меньшей мере чувствовал единство с другими. И поэтому на Вилфреда нахлынуло знакомое ощущение, будто им управляют различные силы. Так бывало всегда, когда, расставшись с кем-нибудь, он угрызался, что не угодил этому человеку, и начинал играть роль, становясь таким, каким его желал видеть этот человек.

Теперь он готов играть роль для них всех – но беда в том, что каждый тянет в свою сторону. Взять, к примеру, раз и навсегда вылепленную тетю Клару – что у нее может быть общего с дядей Мартином? Она похожа на один из сухих пищевых концентратов, которые нынче вошли в моду, – они сохраняются свежими в обезвоженном состоянии. Тетя Клара раз и навсегда нашла свою форму. Какие же чувства должна она испытывать к дяде Мартину, с которым навеки обречена быть связанной семейными узами, ведь он хамелеон, ведь его скоропалительная перекарска в британские цвета должна представляться ей вульгарным ловкачеством. Уж он-то не отказался бы изъясняться на каком бы то ни было языке, – независимо от того, знает он его или нет. Он чувствует себя как рыба в воде – правда, рыбе никогда еще не приходилось быть выброшенной так далеко на сушу. «...Поскольку бумаги, в которые вложил деньги Ваш брат, оказались менее выгодными...».

Вилфред покосился на мать и взял ее за руку. Она вздрогнула, словно мысли ее витали где-то далеко, а потом горячо стиснула и погладила руку сына. Это было как раз перед тем, как начали опускать гроб – неизбежный мучительный ритуал, установленный для того, чтобы даже самых безразличных охватил ужас перед смертью и сердце сжалось при мысли о бренности всего земного.

Рука ее крепче впилась в руку сына, пока гроб исчезал в провале. Стало быть, вышло удачно, что он прикоснулся к ней именно в эту минуту. Ее слабость вызвала у него ощущение собственной силы, словно они летели на лыжах с крутой горы и он, откинувшись назад, тормозил спуск для них обоих. И почему только никогда не удается оторвать взгляд от этой злосчастной процедуры, которая потом является тебе в кошмарах, мучительно напоминая о пределе, положенном всякому сознанию... Вилфред пытался сосчитать свечи в подсвечниках или вспомнить описание кремации: «...Элементы тканей тела соединяются с кислородом воздуха... печь нагревается до температуры 1000 градусов Цельсия. ...Углерод тканей тела соединяется с кислородом, образуя углекислоту, которая исчезает... в общих чертах, это тот же процесс, который происходит при медленном сгорании тела в могиле...» Вилфред пытался уцепиться памятью за этот канцелярский текст. Он выучил его почти наизусть, как выучивал целые страницы энциклопедий и справочников в ту пору, когда поставил целью выучить все, что только можно узнать.

Он улыбнулся матери, чтобы вернуть ее в настоящее, но обвал мыслей уже неудержимо влек ее в бездну. Легкие, беззвучные слезы вытекли из-под вуали. И тут крематорий огласило бурное рыдание, которое тотчас распространилось по рядам.

Теперь уже всех захватило стремительное движение вниз. Все оказались во власти неумолимого закона, который нашептывает: «Сегодня мой черед, завтра твой». Только нашептывает он эти слова под маской сострадания. Вилфред знал это и не хотел ему подчиняться. Он наклонился вперед и посмотрел на дядю Рене, сидевшего поодаль. Его ведь происходящее касалось больше всех. Он не опускал глаз, они были прикованы к какой-то точке над гробом – может, он явственно видел душу, которая в этот момент медленно воспаряла, освобожденная от своей земной оболочки... а может, он прислушивался к взрывам в той парижской церкви, они, наверное, никогда не умолкали для его внутреннего слуха. А может, тут было и то и другое. Может, он смутно надеялся на воссоединение с усопшей в безотчетной вере в непреходящесть всего сущего? Дядя Рене никогда не принимал участия в дискуссиях о спиритизме, которые вошли в моду по британскому образцу. Но он никогда не высказывался в пользу сухого рационализма. Должно быть, он существовал в мире красок и звуков, всегда робко оставаясь у самой границы и не решаясь вступить в круг активных творцов, – его влекло в этот мир, но он не мог вырваться за пределы пограничной полосы, где обреталась его душа, не зная слишком высоких взлетов.

Пожав руки всем присутствовавшим на церемонии, Вилфред вышел вместе с дядей Рене. Они держались все так же рядом и во время ленча в самом узком кругу. Его устроили на Драмменсвей, у фру Саген, чтобы избавить дядю Рене от хлопот. После ленча дядя отвел

Вилфреда в сторону. Они уселись каждый со своей чашкой кофе в восточном кабинете, где в свое время дядя Рене поведал племяннику так многое из того, что знал об искусстве, ради которого он в конечном итоге жил.

Дядя Рене рассеянно помешал кофе ложечкой, а потом отставил чашку, так и не притронувшись к ней.

– Я хотел бы пораньше уйти, – спокойно сказал он. – Мне было бы приятно, мой мальчик... я все еще называю тебя так по старой памяти... – Он смущенно жестикулировал своими прозрачными руками. – Мне было бы приятно, если бы мы вместе поехали на пароход – вернее, если бы ты меня проводил...

В это мгновение он стал вдруг таким беспомощным во всей своей старомодной эlegantности, таким незащищенным против чужого любопытства; он был совершенно неспособен объяснить своим ближайшим родственникам, почему он принял решение уехать.

– А ты ни о чем не спрашиваешь, – поспешно продолжал он, словно желая предотвратить вопрос, который был бы ему в тягость. – Ты все угадал, как и прежде, ты всегда был большой мастер угадывать, да, да... – Он улыбнулся покорной улыбкой, как бы уступив нахлынувшему на него почти счастливым воспоминаниям о музыкальных вечерах и часах, посвященных живописи. – Мой пароход отходит в четыре часа от пристани Тингвалла, он доставит меня в Ньюкасл, теперь иначе не проедешь. Оттуда я надеюсь добраться морем до Гавра; стало быть, дня через три-четыре, самое большее через неделю окажусь на месте.

– В Париже, – сказал Вилфред. Это не было вопросом. Но он сам почувствовал, что в тоне его прозвучала неуместная нотка самой банальной зависти.

– Да, да, конечно. Вначале я думал пригласить тебя с собой. Видишь ли, твоя тетя Шарлотта... – Он опять устремил взгляд куда-то вдаль, как два часа назад в крематории. Вилфред невольно проследил за ним глазами, но его собственный взгляд уперся лишь в малайскую маску, которая в детстве всегда наводила на него страх. – ...Твоя тетя не хотела, чтобы я ехал один: она боялась за меня, а сама она в последние годы хворала. Но по правде сказать, мой мальчик, я предпочел бы поехать туда один. У меня там нет никаких дел, и вряд ли поездка пойдет мне на пользу, но у меня такое чувство, будто... дружба былых времен, что ли, – словом, будто я предаю город, который, по сути, научил меня всему, что я знаю о жизни, поэтому я хотел быть там, когда это случится, если это случится... В голосе дяди Рене не чувствовалось волнения, а только твердая решимость объясниться. Но именно поэтому к глазам Вилфреда подступили слезы. Многие всколыхнулось в нем – он подумал о несбывшихся надеждах, которые этот бездетный человек, вероятно, связывал с ним, полагаясь на то, что своим влиянием разовьет в нем чисто эстетические склонности, – быть может, он мечтал облагородить человеческую душу, а может, смутно желал выразить протест против того провинциального и вульгарного, что было неразрывно связано с безмятежным существованием в маленьком самодовольном обществе, которое всегда было ему чуждым. Голос дяди Рене зазвучал суховато, даже с оттенком суровости:

– Прошу тебя ничего не усложнять... – И вдруг в нем прорвались почти мальчишеские нотки. – Я хочу сбежать, неужели ты не понимаешь, просто хочу сбежать, никому ничего не сказав. Но тебе я сообщу свой адрес, как только он у меня появится. Может, когда-нибудь в будущем я покажу тебе Париж... Может, все еще окончится не так скверно. Может, в последнюю минуту война...

Это помогло. Голос дяди сорвался от волнения. Это помогло Вилфреду. Он тут же почувствовал ясную трезвость.

– Спасибо, дядя, – твердо сказал он. – Если хочешь, я заеду за твоим багажом и встречу тебя на пристани...

– Об этом я и хотел попросить тебя. Спасибо, мой мальчик. Понимаешь, я уже все уложил. Наша старушка Лина присмотрит за домом. Она в курсе... – И снова мальчишеские нотки зазвучали в его голосе, на этот раз, правда, сдавленном. – Ты просто возьми машину, такси... – Он порылся в кармане, извлек оттуда несколько купюр, но Вилфреду удалось вернуть их ему обратно. – Тебе даже не придется звонить. Наша Лина умеет видеть сквозь занавески. А багаж невелик, я беру с собой немного...

Он встал, и казалось, его взгляд снова ищет что-то на стене напротив. Он подошел к узкому окну в эркере и стал глядеть на залив. И вдруг какая-то смута поднялась в душе Вилфреда – волнение, протест, надежда, что дядя передумает. Он вдруг почувствовал, что ему нужен этот старый человек – нужен друг, не случайный, как все его друзья, а друг, пусть не одной с ним крови, но одного семейного круга, человек, с которым он может говорить о своем отце, узнать у него о том, что он пытался угадать, никогда не решаясь узнать, и все откладывал и откладывал ту минуту, когда расспросит именно его.

А теперь было поздно. В узкой спине дяди, стоявшего у окна, была твердая решимость. Вряд ли мысли его были здесь, они, как видно, унеслись далеко-далеко, но не в Северное море, к коварным подводным лодкам, а прочь от всего будничного. Может, и ему было в чем упрекнуть себя, может, и он не сказал того единственного слова, нежного слова, которое подтвердило бы все, но которое люди никогда не успевают сказать друг другу, потому что всегда бывает слишком поздно.

Наверное, так оно и было у дяди Рене, и так, Вилфред угадывал это, было у всех. Видно, людям стали не по плечу слова, которые предназначены не только для того, чтобы скрывать, видно, привычка злоупотреблять словами укоренилась так прочно, что слова перестали быть мостиком связи между людьми, их приходится заменять прикосновением, а то и просто движениями тела, теми, что поддаются истолкованию. Может, так бывает у зверей, может, их грациозные повадки выражают чувства, а мы этого не подозреваем и ложно истолковываем их, полагая, что это ищет выхода присущая им живость и под ней не кроется ничего, кроме так называемой непосредственности.

Вилфреду казалось, что он угадывает нечто подобное этим движениям в фигуре дяди Рене. Он напоминал грациозного зверя, тонконогую гну – нет, она жвачное животное; скорее, он напоминает куницу или горностаю – что-то сторожкое, мгновенно исчезающее, ускользающее бесплотной тенью, оставляя лишь воспоминание на сетчатке глаза...

Он тоже встал, тихо кашлянув. Кто знает, долго ли им дадут спокойно побыть вдвоем в эркере. Дядя Рене мгновенно обернулся и подошел к нему с протянутой рукой.

– Спасибо, Вилфред...

И снова вернулось глупое волнение. Вилфред хотел прогнать его какой-нибудь циничной, грубой мыслью. Но дядя Рене неожиданно сказал:

– Не надо, мой мальчик.

Они постояли друг против друга.

– В следующий раз, дядя Рене, я постараюсь тебя не разочаровать, – сказал Вилфред. И пожалел о своих словах.

– Вздор, малыш! – Дядя коснулся его плеча. – Надежды сами по себе доставляют радость тому, кто надеется. А как потом сложится жизнь... – Он легко развел руками – колдовскими своими руками, которые творили из воздуха. Потом быстро взглянул на часы. – Три, – сухо заметил он.

И как раз в эту минуту в проеме эркера, где висели портьеры из стекляруса, выросла громоздкая фигура. Они отпрянули друг от друга, словно застигнутые на месте преступления.

– А, вот вы где, – сказал дядя Мартин против обыкновения тихо.

Но когда Вилфред ехал с багажом на такси по городу, ему казалось, что он совершает путешествие сквозь пласты времени. И сквозь пласты чего-то недопонятого. Там, на пристани, его ждет человек... а может, его собственное детство? Нет, это сама жизнь, наконец-то настоящая жизнь в этом мире грез, человек, который принял решение. Может быть, легкий как пушинка дядя Рене единственный из всех не соблазнился грезами о свободе, золоте, процветании, потому что теперь и всегда был во власти одной-единственной грезы. Да, вот в чем, наверное, все дело. Потому-то даже война не сдула эту пушинку.

В весеннем воздухе вдруг снова произошла перемена. Над морем сгустилась тьма, сулившая похолодание, резкий ветер и снегопад над открытым морем. Пыль и мусор уже завивались на пристани, где взад и вперед молча сновали портовые рабочие. С палубы моряки тихо переговаривались со своими родными, впрочем, те почти не разжимали губ.

Вилфред огляделся. Тупая усталость охватила его, когда он увидел, что дяди нет. Потом он сообразил, что приехал на четверть часа раньше. Он бросил взгляд на выдавший виды английский пароход. Весь его облик, облупившаяся краска, кое-как наляпанные пятна маскировки на носу и на корме не внушали доверия. Посередине красовалось название корабля и два намалеванных норвежских флага, потускневших от соли, дыма и тяжелого морского труда. Составив вместе три кожаных чемодана, чтобы не загромождать дорогу, Вилфред пытался совладать с охватившим его унынием.

И вдруг он увидел дядю Рене – належке, с одним только зонтиком в шелковом чехле. Вилфред удивленно оглянулся – машины не было. Стало быть, дядя приехал сюда раньше и стоял за одним из навесов, чтобы сократить процедуру прощания. И вдруг воцарилась тишина.

Это остановили подъемный кран на баке. Крышки люков захлопывались с ритмичным стуком. Но в промежутках между ударами было тихо. Ни слов команды, ни звонков. Вилфреду стало не по себе: было что-то зловещее в этой тишине, словно уже теперь надо было таиться от врага. У сходней стоял молодой штурман с осунувшимся лицом, глаза его закрывались от усталости. Они подошли к нему, дядя Рене показал свои документы.

– А-а! Пассажир! – сказал тот, изобразив что-то вроде улыбки. – А багаж?

Дядя Рене указал на три чемодана. Штурман поднял глаза, ставшие приветливее. – Что ж, чем меньше вещей... – Он знаком разрешил ему подняться на пароход. – А молодой человек? – спросил он, когда они подошли к нему уже с чемоданами.

– Это мой племянник, он проводит меня на палубу.

Штурман, как бы извиняясь, пожал плечами.

– К сожалению...

Больно было смотреть, как дядя Рене тащит два чемодана. Худенький и беспомощный, он вскарабкался на палубу с чемоданами и зонтом, а потом, вернувшись, наклонился, чтобы поднять третий и, стоя в этой согбенной позе, бросил на Вилфреда быстрый, ободряющий взгляд. Он все еще держал в руке зонт – забыл оставить его наверху.

В эту минуту на пристани началась небольшая толчея. Дядя Рене еще не появлялся, когда

родственники моряков словно по какому-то сигналу вдруг устремились вперед. Вилфред затесался в их ряды. Послышалась короткая команда. Только тут он обратил внимание, что заработал мотор, его нарастающий гул и стал сигналом для провожавших. И тут он увидел дядю Рене на самой корме: он махал рукой в перчатке. Вилфред выбрался из толпы и пошел вдоль парохода мимо сходен, которые тут же и убрали. Казалось, во время этой короткой прогулки от носа до кормы Вилфред измерил пароход земными мерами, и он стал казаться маленьким и беззащитным.

Даже до низкой палубы было все же слишком далеко, чтобы они могли пожать друг другу руки. И снова перед Вилфредом возник мучительный образ: несказанные слова, несостоявшееся прикосновение... Небольшое расстояние между их протянутыми друг к другу руками стало как бы символом расстояния между людьми. Каким бы оно ни было коротким – все равно оно слишком велико. А ведь они могли преодолеть его незадолго перед тем, но тогда они были заняты багажом. Всегда это злосчастное «слишком поздно».

И тут он увидел слезы в глазах дяди. Они уберегли от слез его самого. Что бы они ни сказали друг другу, это только умалило бы происходящее, сделало бы его неловким и глупым. Но они смотрели друг на друга, и этот взгляд был мостиком между ними. Неужели только теперь Вилфред заметил, что у дяди Рене карие глаза? Дядя всегда прищуривал их – поддразнивая, как когда-то казалось Вилфреду. Но это было давным-давно. А теперь это были две щелочки с карим пятнышком внутри. Черный дым из паровой трубы заволок фигуру в свободном пальто, стоявшую у поручней. На голове у дяди была старомодная спортивная фуражка. Но никакое спортивное одеяние не могло скрыть его хрупкую утонченность, придать ему вид бывалого путешественника. И однако, в сердце этого худого человека жило мужество и верность. И от этой мысли, больше даже чем от того, что они расставались, глаза Вилфреда наполнились слезами. Дядя Рене беспомощно взмахнул рукой. Тем временем корма парохода все дальше отдалялась от берега, и внезапно между ними оказалась бездна. Вилфреду вдруг стало стыдно, что он остается в безопасности на суше, а дядя Рене уходит в море на утлом суденышке, на палубе которого матросы спокойно делают свое дело. Капитан в поношенной форме, стоя на мостике, молча следил за тем, чтобы все шло заведенным порядком.

И вот Вилфред уже перестал различать лица. Это случилось сразу – без перехода. Корабль уже не был больше куском замызанного борта, до которого рукой подать, он стал крохотным суденышком, которое держит курс в Англию. Игрушечный кораблик неторопливо поворачивался вокруг своей оси и вдруг стал решительно прокладывать себе путь в сторону фьорда, туда, где над вскипающим белой пеной морем кружили чайки.

Еще один раз Вилфред отчетливо увидел дядю, он перешел на другую сторону палубы – ту, что была теперь ближе к суше. Увидел, как тот поднял обе руки в прощальном приветствии, и Вилфред поднял в ответ обе свои. Казалось, они, всегда избегавшие нежностей, теперь впервые обнялись.

А потом Вилфред стоял, отвернувшись к навесу, и плакал. Он слышал, как мимо идут люди, возвращающиеся в город. Какая-то женщина громко причитала, и, казалось, ее стоны передразнивают чайки, которые летели назад, к берегу, туда, где начинался канализационный сток, – там они вернее находили себе пищу. Овладев собой, Вилфред еще раз посмотрел вдаль, но пароход уже скрылся за темной завесой дождя, налетевшего с фьорда.

Вилфред стоял, подставляя себя внезапному ледяному душу. В одно мгновение все вдруг потемнело. Море вдали – светлый источник, только что игравший и переливавшийся серебром и синевой, – тоже стало темным. И темным стало все светлое в самом Вилфреде и вне его. Он обернулся к берегу – башня Акерсхуса темной тенью выступала на фоне неба.

Часть вторая.

ТЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ

10

Он не проснулся. Он пробился сквозь мерцающую неверным светом пелену боли. А потом снова погрузился в сон, в котором одна зловещая картина сменяла другую. Время от времени сознание его почти совсем прояснялось, и тогда он громко вскрикивал. Стон облакался в протяжное «нет», обращенное неизвестно к кому.

Один раз он поднялся с кровати, на которой лежал, и выглянул в окно, где брезжил тусклый утренний свет; свет резал глаза, хотя улица была тенистой. На вывеске прямо напротив было написано по-датски: «Мясная лавка рабочего кооператива». Под вывеской красовалась посеребренная голова быка. Вилфред был в Копенгагене.

Это не укладывалось в сознании. Он пытался удивиться, но оказалось, что удивляться утомительно, он снова бросился на кровать и надолго погрузился в дремоту. Теперь сон его был почти безмятежным, ему виделось одно и то же: люди, которые все шли и шли между ним и вывеской напротив. Но в том, как они шли, таилась угроза. И, вздрогнув, он просыпался, но снова окунался в забытие, и они снова шли и шли в одном направлении, и при этом все ускоряя шаг, словно спешили увидеть что-то, чего он видеть не мог. Навстречу им двигалась единственная фигура – это была дама, нет, простая женщина, когда он разглядел ее получше. А когда она оказалась совсем близко, он понял, что это фру Фрисаксен из шхер, и она вовсе не шла – она плыла в своей серовато-белой лодочке, которую омывали лучи света, – золотая скорлупка, а в ней маленькая женская фигурка, залитая золотистым светом заходящего солнца... И вдруг пласты времени стали чередоваться в обратном направлении... Но он никак не мог найти в них точки опоры, это были одни обрывки, не было в зыбкой круче воспоминаний такого уступа, за который он мог бы уцепиться, чтобы восстановить разорванную связь событий: а потом дело было

так...

Не то чтобы ему обязательно надо было уяснить почему и как... Но только ему казалось, что в цепи, которой он опутан, не хватает слишком многих звеньев, слишком многих... Но может, и цепи-то никакой нет... И вдруг он почувствовал, что начинает гримасничать, вернее, что это само собой, помимо его воли, выделяет гримасы его лицо. Он доплелся до окна и выглянул на улицу. На ней уже зажглись фонари, и люди шли медленней, и не такой густой толпой, как во сне. Он смутно различал на доме напротив серебряного быка. Они уставились друг на друга в каком-то тупом взаимопонимании.

Китти. Он вспомнил это имя, произнесенное презрительным тоном, – но кто его произнес? И как, черт побери, она выглядела? А может – может, это название бара? Он смутно вспомнил помещение с крашенными золотой краской столиками, длинную стойку, а за ней фигуру, напоминавшую химеру собора Парижской богородицы, – фигуру, склоненную в профессиональной позе, и ослабившуюся физиономию, которая не сулила клиенту ничего хорошего...

Он оглядел свою одежду. Шерстяной свитер грязно-желтого цвета. Поднес руку к носу и принюхался – чем это пахнет? Благородный аромат смолы, смешанный с тяжелым запахом неизвестно чьих духов. Он принюхался снова, пытаясь найти разгадку. Но запах духов возобладал над всем, оттеснив остальное в холодную мглу небывальщины. Нет, он не может вписать себя в эту картину, он тут ни при чем.

Вернувшись к кровати, Вилфред с отвращением посмотрел на серую простыню. Может – может, он просто-напросто угодил в заштатную гостиницу, из тех, где постояльцу по ошибке иной раз забывают постелить чистое белье?

Все может быть. Сев на кровать, он огляделся. Звонка не видно, на щербатом коричневом линолеуме протоптана дорожка. Нет, это не гостиница. Его взгляд упал на его собственные брюки – синие матросские штаны, они валяются в темном углу у двери. Кремовый пиджак, очевидно из чесучи, небрежно накинут на спинку стула, пиджака он не узнает. Впрочем, кажется, он заходил куда-то, где примерял пиджаки. Рука испуганно отдернулась, коснувшись ночного столика. Столик зашатался от прикосновения, и мир вокруг пошатнулся тоже. На полочке в углублении лежала тонкая Библия – может, все-таки гостиница... Вилфред взял книгу в руки, рассеянно перевернул несколько страниц...

«Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: „зачался человек!“

Он поискал взглядом заголовков вверху страницы. Так и есть, книга Иова. В памяти зашевелился знакомый текст. Сколько овец и верблюдов потерял бедняга Иов? Да еще господь бог наслал на него проказу. Вилфред пугливо оглядел себя. Подозрительное одеяние – рубашка, свитер, а штанов нет... Оп, пошатываясь, побрел к стулу, где висел пиджак, и стал обшаривать карманы. В карманах было пусто. Пиджак новый, судя по этикетке на подкладке воротника, куплен у Феникса на улице Вестербро. Совершенно точно, Вестербро. Может, там он и видел Китти. И вдруг он отчетливо вспомнил, что Китти – это не женское имя, а название бара. Облегченно вздохнув, он занялся брюками. В одном из карманов оказалась пачка скомканных ассигнаций – норвежских. Он положил их на стол, а одежду развесил. Из нижнего белья вывалилась куколка с желтым личиком и темными волосами. На ней было шелковое платье, хитрые стеклянные глаза и вздернутый нос придавали ей выражение бесстыдства. Вилфред постоял, зажав ее в руке, но попытка вдуматься причинила ему такую боль, что он уронил куклу на край стола, оттуда она свалилась на пол, да там и осталась сидеть с видом невинного укора. Он с трудом наклонился. И тут взгляд его упал на небольшой бумажник из черной кожи. В нем он обнаружил толстую, аккуратно сложенную пачку датских купюр достоинством в сто крон. Его вдруг охватило безудержное веселье. Нет, он явно не похож на Иова, которого покарал господь. Сколько же все-таки верблюдов – четыреста или четыре тысячи потерял Иов при нападении халдеев? Вилфред своих верблюдов не потерял, они остались при нем. Стало быть, и проказой господь на сей раз его не поразил, и у него нет нужды скоблить себя черепицей. По булыжной мостовой загромыхал пивной фургон. Вилфреду стало еще веселее, он процитировал наизусть:

«Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые».

Несносная способность запоминать текст и буквы...

Он огляделся кругом. Может, бедолага Иов в пустыне тоже больше всего тосковал по зубной щетке... Вилфред пустил в ход кончик полотенца – оно по крайней мере было чистым. В кувшине оказалась холодная вода. Он ополоснул ею лицо, пытаясь по мере возможности почувствовать себя освеженным. Но на этом силы его иссякли, он устало рухнул на кровать и, вытянувшись на ней, постарался мысленно упорядочить последовательность событий.

Исходный пункт – бар «Китти», и тут к горлу сразу подступил какой-то тошнотворный маслянистый привкус, наверно, это джин – точно, джин, самое мерзкое, что есть на свете.

Джин всегда почему-то приносит несчастье. И еще была девица. Нет, ее звали не Китти, нет, это название бара, какую-то девчонку звали Глэдис, но то была не она, там были две девчонки, а может, три или четыре, много девиц – теперь он вспомнил, и еще какой-то темноволосый кудрявый наглец, он все лез в драку. Но это было уже после. После чего? После всего того, что покрыто мраком. Там был Роберт. Может, Роберт и сейчас здесь? Нет, тогда Вилфред не лежал бы тут одиноким изгнанником, что твой Иов. Роберт не из тех, кто бросает в беде друзей. А Селина – может, она тоже здесь? Вилфред осторожно приподнял голову и растерянно осмотрелся. Конечно, ее здесь нет, комната маленькая, довольно длинная, но узкая. Он услышал за стеной чьи-то шаги и смутно понадеялся, что все разъяснится, хотя и боялся разъяснений. Нет, надо снова спокойно лечь и попытаться найти исходную точку. Машинально пошарив рукой под кроватью, он наткнулся на что-то гладкое и холодное – бутылка. Он осторожно поглядел ее на просвет: так и есть – джин. Бережно оторвав голову от подушки, он поднес бутылку ко рту. Ладно, пусть его приносит несчастье, а все же, выпив, он будто освежился под душем.

Вилфред тихо отставил бутылку на пол, и тут толчками стали пробиваться воспоминания. Но что это – какие-то слова? Да, слова, бесконечный разговор под звуки плещущейся воды при лунном свете в Христиания-фьорде. Чертова привычка удерживать в памяти слова, а не события... Не слова ему сейчас нужно вспомнить, а то, что случилось не то на Вестербро, не то где-то еще. Перед глазами вдруг возникла табличка с названием улицы – Саксогаде. Опять та же история – совершенно отчетливо видишь название, буквы, но вовсе не то, что случилось на Саксогаде или где-то там еще. Решительно потянувшись за бутылкой, Вилфред отхлебнул глоток, чтобы разделаться со словами. Но они снова возникли с неистребимым напором. Нет, не к бару «Китти» ему надо сейчас пробиваться – это было на борту какой-то яхты. Ну да, точно, Робертова яхта «Илми». Они совершали прогулку по морю. Может, все-таки Роберт в Копенгагене? Нет, его здесь нет. Что-то где-то случилось, в этом вся загвоздка, – какая-то катастрофа.

Джин сделал свое дело. Теперь Вилфред видел картины и слышал слова в определенной последовательности, ее приходилось принять: до боли отчетливые слова и сами картины навязчиво вторгались в сознание.

«Совесь...» Это говорил Роберт. Правильно, так оно и было. Вилфред вдруг увидел его у штурвала: стиснув под мышкой румпель, он наклонил голову, чтобы при полном безветрии раскурить носогрейку. И тут взошла луна. Луна уже показывалась и прежде. И тогда Селина спустилась в каюту, чтобы поспать. А Роберт сидел и философствовал лунной ночью на свой наивный и мудрый лад. Он сидел и попыхивал носогрейкой. Теперь Вилфред видел перед собой дымок, который маленькими облачками поднимался вверх в лунной ночи, такой тихой, что парус еле-еле надувался... «Совесь, – говорил Роберт, и это звучащее воспоминание так властно овладело Вилфредом, что голова его откинулась назад на подушку в каком-то дремотном блаженстве, в котором было, однако, зернышко мучительной сосредоточенности – попытки удержать слова на должном месте. – Она как клейкая бумага для мух – знаешь, такие длинные коричневые полоски, крестьяне вешают их на кухне под лампой. Полоска никогда не бывает чистой, стоит ее повесить, глядь – уже села первая муха и бьется, пытается освободиться. Но она не освободится. А к концу дня вся бумага будет усеяна мухами, несколько новеньких еще борются, пытаются отлепиться, но большинство сидят неподвижно, черными пятнами, словно сидели тут испокон веку».

Вилфред вдруг увидел перед собой всю картину – увидел, как он сам сидит, глядя в летнюю ночную даль, на два маяка, едва различимых на светлом горизонте. Вспомнил, что довольно рассеянно воспринял простой образ совести, нарисованный Робертом. Это его не так уж занимало. Его заинтересовало другое – склонность этого непутевого малого рассуждать обо всем на свете. Как, собственно, вышло, что Роберт ввязался в дела, которые не давали ему ни минуты покоя и передышки? Они были не в его характере. Вилфреда поразила мысль, что Роберт чувствовал бы себя хорошо в деревне, где простые вопросы требуют простых

решений. Как случилось, что именно он заразился беспокойным городским духом, зауряднейшими общими свойствами мелкотравчатой развращенной столицы? Он был никак не создан для этого. Недаром его поглощала наивная философия – мысли, которым естественно было бы кружить над бороздой, проложенной плугом...

– И одна из мух самая жирная, – решительно сказал Роберт, хмуро уставившись прямо перед собой. – Как ты думаешь, это у всех людей?

– Безусловно.

– Ну вот! Говоришь «безусловно», просто чтобы отделаться. Ты небось считаешь, что все на свете осмыслил, может, так оно и есть. Но я тебе скажу, пусть я звезд с неба не хватаю, но если я что продумал, так, уж значит, продумал до конца, можешь мне поверить...

Вилфред внимательно взгляделся в него.

– С чего ты взял, что звезд с неба не хватаешь?

– Называй это как хочешь. Думаешь, я не знаю, какого ты мнения обо мне? Но мне все равно... – Он сплюнул в море. – Говорю тебе, я считаю, у каждого человека на этой бумажной полоске сидит одна особенно жирная муха, которая никак не угомонится. И не потому, что когда-нибудь ей удастся освободиться, о нет, это не удастся ни одной. Но она как бы больше и жирнее других, она все трепыхается и жужжит. И самое странное, что вовсе не всегда самый большой наш грех родит такую жирную, беспокойную муху, иногда это какой-нибудь пустяк...

Вилфред быстро перебрал в памяти своих «новейших» мух – их была целая туча, но они были маленькие, спокойные, не трепыхались и не жужжали. Спокойные – это верно, но Роберт прав: никуда от них не денешься... И своим прежним и нынешним слухом он услышал бас Роберта.

– Однажды, когда я был мальчишкой, я участвовал в парусных гонках в Тёнсберге. Соревновались маленькие лодки – шлюпки и прочие в этом роде. И вот одна лодка перевернулась, в тот день засвежело, не так уж сильно, вроде как вчера вечером. Случилось это немного впереди нас, и мы еще толком ничего не разглядели, как троих ребят, что были в той шлюпке, подобрал один из катеров со зрителями. Но вот подходим мы к тому самому месту, и тут парень, которого звали Юнас, и я, глядим, что-то виднеется в море, впрочем, я не был уверен, что виднеется, да и Юнас тоже, он ничего не сказал, я промолчал тоже, но на какую-то секунду нам показалось, будто в море плывет человек, я его видел отчетливо, а может, и не отчетливо, не знаю, может, и вовсе не видел, да и ни Юнас, ни я ничего не сказали, я как раз закреплял шкот после поворота, это было почти у финиша, самая захватывающая минута – мы шли вторыми в нашем классе лодок...

Роберт умолк. Вилфред заметил это не сразу. И не потому, что он не слушал, но в глубине души его больше поразило то, что у Роберта было детство, и, может быть, счастливое детство, с морем и солнцем, в Тёнсберге, и что он рассказывает об этом в первый раз.

– Ну и...

– Мы поплыли дальше.

– Как поплыли дальше?

– Мы были у самого финиша. Ведь это гонки, нервы напряжены, мы мечтали победить, ты что, не слышишь, что я говорю? Мы мечтали победить.

Роберт повысил голос в запальчивости, столь же ему не свойственной, как и вся история,

которую он внезапно воскресил своим рассказом.

– Ол райт, вы поплыли дальше. Но ты же сказал, будто не был уверен, что вы видели того парня.

– Вот именно, это я и говорю. Может, мы его не видели. Во всяком случае, Юнас не сказал ни слова. Он тоже был чем-то занят. А тот, кто сидел на руле, – это он был владельцем шлюпки, – тот уж никак видеть не мог. Мы выиграли заплыв – обошли других на два корпуса. Здорово это было. Первая регата в моей жизни. И тут оказалось, что один парнишка с той лодки утонул.

– И тут на полоске появилась муха?

Роберт с досадой выпрямился.

– В том-то и дело, что нет, черт возьми. Никакой мухи – в ту пору никакой. Само собой, мы все были потрясены – мы немного знали парнишку, он был из Слагена. Но мы же не знали, видели мы его или нет. Об этом ходило много толков – как это, мол, участник парусных гонок может погибнуть на глазах у соперников, и прочее в этом роде, и газеты об этом писали. Юнас ничего не говорил, я тоже – по правде сказать, я и не верил, что вообще-то видел парня, но потом подоспело вручение призов, это было уже в начале осени, и тут председатель клуба произнес речь о том, что случилось, и сказал – впрочем, это и в газетах было напечатано, – что совершенно ясно: никто его не видел, потому что среди моряков есть неписанный закон: когда речь идет о человеческой жизни, все остальное – время ли, деньги ли – не имеет никакого значения, и он уверен, в его клубе нет никого, кому не было бы ясно как день, что спасение человеческой жизни важнее любой победы в состязании, ну и прочее в этом роде...

Теперь Вилфред почувствовал, как серьезно говорит Роберт, и сам сказал тоже серьезно, чтобы и в самом деле помочь другу:

– И вот тут-то и появилась муха?

– Именно. Не знаю, как было у Юнаса. Мы с ним не говорили об этом, ни разу не говорили, мы каждый день виделись в школе и потом часто встречались в жизни, но ни разу об этом не упоминали. И никогда с тех пор не дружили. У нас, по сути, было мало общего. Общее было одно – муха...

Он посидел, помолчал и вдруг добавил: – Между прочим, Юнас – это тот самый адвокат Дамм, который сейчас сидит в тюрьме.

Вилфред со стоном приподнял голову, измученный попыткой сосредоточиться, – слова шелестели в строгом порядке, в назойливой последовательности. Но потом – что было потом, после слов насчет Дамма, который сидит в тюрьме?.. Может, поэтому Роберт и навещал его так часто. У них была общая тайна, они зависели друг от друга...

Вилфред стер цепочку мыслей и раздраженно уселся в постели; в комнате сгустилась тьма, но в голове заметно прояснилось. Он слышал уличный шум, голоса... Может, никакой особой беды не случилось. Они высадились на берег в Копенгагене, что ж, у них, кажется, и был такой план. Нет, что-то все-таки случилось...

Он снова лег, закинув руки за голову. Что-то случилось. Но что, черт возьми? Он пытался расслышать голос Роберта в гуле звуков, отдававшихся в голове. Но тогда вновь начала прокручиваться все та же пластинка на тему совести.

– Провались она к дьяволу его совесть! – громко выругался Вилфред, соскочив на пол. Ему

снова стало весело. Он вдруг почувствовал себя свободным, по крайней мере почти совсем освобожденным от головной боли... Схватив пиджак и брюки, он торопливо оделся. Ему пришлось слегка согнуть колени, чтобы поглядеться в осколок зеркала. Не так уж плохо он выглядит, во всяком случае в сумерках. Он пригладил пальцами волосы, даже придал им вид некой прически. Селина!..

Селина спустилась в каюту.

А дальше? Раз у него не осталось ни яхты, ни каюты, что о них вспоминать? Может, объяснение найдется где-то в городе, в этом уютном городе, который он смутно помнил с той поры, как в детстве они с матерью как-то летом останавливались в нем по дороге к отцовским родственникам в Гиллелейе...

Она спустилась в каюту. Он спустился в каюту. Они спустились в каюту... Вилфред повторял фразу, словно на уроке грамматики. Так, как же все-таки было? Спустились они в каюту или нет? Во всяком случае, куда-то они пришли. «Меродоз».

«Меродоз». Он вдруг отчетливо вспомнил это название. Увидел пузатую бутылку, которую им подали на длинной веранде гостиницы в Осгорстранне. «Меродоз?» – было напечатано на карточке вин. С интригующим вопросительным знаком. Оказалось, что это готовая смесь виски с содовой, скрытая попытка обойти закон, запрещающий подавать напитки крепче 12 градусов. Совершенно точно – они высадились в Осгорстранне, ночь была светлая, на веранде сверкали гирлянды электрических лампочек, маячили какие-то веселые люди со стаканами в руках, кто-то что-то говорил, звенели бутылки. Вот как все это было. «Меродоз»!

Кажется, Роберт сбыл с рук свою яхту.

Точно Вилфред не помнил, но что-то в этом духе, кажется, произошло. Был какой-то белобрысый прилизанный парень, его звали... Мучительная боль пронзила голову при усилии вспомнить. Они бились об заклад, чем-то менялись. Он тогда еще заметил необычный азарт Роберта. Роберт утрачивал свою невозмутимость, только когда речь заходила об обмене. Вилфред видел, как эти двое сидят, уставившись друг на друга оловянными глазами, и меняют все подряд, одержимые общей жадью, чтобы все на свете переходило из рук в руки. Роберт встретил в том парне достойного партнера. Точно, это произошло в Осгорстранне. Темные силуэты мунковских деревьев рисовались на фоне светлой ночи. И конечно же, они бились об заклад и чем-то менялись. Роберт вел себя как молодой бычок, как ребенок. Они танцевали. А Роберт не танцевал. Он сидел и менял одно на другое; каждый раз, когда Вилфред с Селиной возвращались после танца к столику, оказывалось, что он выменял что-нибудь еще. Он сбыл с рук свою яхту... А потом Роберт с Селиной куда-то исчезли. Может, и ее тоже сбывали с рук?..

Черт с ним. Вилфред избавил себя от акробатических усилий, потребных для того, чтобы поглядеться в зеркало, и, проворно нагнувшись за бутылкой, отхлебнул последний глоток. Это сразу подействовало. Ключ торчал в двери изнутри. Заперто. Вот что значит аккуратный человек. Если даже у него рано поутру была женщина, он сам выпустил гостью из комнаты и – как знать? – может, проводил ее до дому? Ему снова стало весело, и, заперев дверь уже снаружи, он остановился у порога. Он был не прочь отдать кому-нибудь ключ. Квартира, конечно, отличная, но неизвестно, вернется ли он сюда. Из мрака на лестничной площадке выступила старая женщина с зеленоватым лицом. Свет, просачивающийся сквозь плафон в «венецианском стиле», смутно освещал ее черты.

– Вы уходите, сударь?

Вилфред учтиво поклонился с легким налетом шутовства, в котором не мог себе отказать.

– Меня зовут... прошу прощения, сударыня, я вам не представился...

Она понимающе кивнула.

– Вас, можно сказать, представили, сударь. Вы человек аккуратный.

Он стал шарить по карманам, она жестом остановила его. Может, он уже и заплатил?

– Вы уже заплатили за месяц вперед, сударь, – тотчас сказала она. – Вы здесь желанный гость.

Он перестал рыться в карманах. Сплошная предупредительность. С чего бы это? Вопрос вертелся у него на языке.

– Спасибо за гостеприимство, – учтиво поблагодарил он. – Если комната...

– Комната будет ждать. Когда бы вы ни вернулись, она будет в полном порядке. – И старуха добродушно закивала, как бы подчеркивая свою терпимость и большой опыт. Порывшись левой рукой в своих многослойных шаях и юбках, она извлекла оттуда визитную карточку. – Если у вас есть знакомые, которые ищут квартиру...

На углу, где висела табличка с названием улицы, Вилфред остановился, с наслаждением вдыхая свежий воздух. «Улица Нансена» – прочел он. И тотчас его подхватила суতোлка улицы Фредериксборггаде, а присущий городскому животному инстинкт повлек в сторону Вестербро.

Когда он расположился в баре «Китти», там было малолюдно. Женщина в черном атласе приветливо встретила Вилфреда, мимолетным взглядом дав понять, что узнает его, – это как бы обязывало его прояснить свои воспоминания. Ему отвели угловой столик у окна, выходящего на улицу, и, хотя был вечер, Вилфред неутоленно мечтал о завтраке. Он с ужасом отстранил карточку вин и меню, стал искать сигареты. Она тут же предложила ему сигареты из ящичка на соседнем столике. Он попросил, чтобы ему подали яичницу с беконом и кофе, побольше кофе. При этом он просительно взглянул на женщину в надежде, что она не будет очень удивляться. Она понимающе мигнула. Проглотив еду, он почувствовал полное блаженство. Больше всего ему хотелось тут же и пообедать, но он решил подождать, как подобает воспитанному человеку.

Точно, это произошло здесь. На месте была химерообразная личность за стойкой бара. Вилфред вспомнил все, как будто это было вчера. Впрочем, это и в самом деле было вчера. Ему захотелось водки. Дама оказалась тут как тут. Она поставила на стол бутылку, излучая безграничное благожелательство.

Селина спустилась в каюту...

Селина спустилась в каюту... Они сидели себе и болтали о совести при свете луны. А потом один из них возьми да и обменяй яхту на что-то, что к другому отношения не имело. Другой вернулся па борт «Илми» – да только теперь у нее был уже новый владелец.

Вилфред вернулся на яхту. Белобрысый прилизанный парень... что-то на что-то меняли... К столу Вилфреда подошла девушка, она попросила прикурить. Он долго шарил, ища спички. Она наклонилась к огоньку и сказала:

– Адель просила передать привет.

Он вежливо кивнул. Ему хотелось пообедать. В меню, кажется, значились почки под винным соусом. Черт их знает, что за почки, может, человечьи, а может, кошачьи.

– Передайте и ей привет, – ответил он.

– Она придет в «Северный полюс», – сказала девушка.

Девушка была миловидная, с плосковатой грудью в соответствии с требованиями последней моды. Гладкие, соломенного цвета волосы прикрывали щеки и были подстрижены как раз на уровне подбородка.

– Вам понравилось на улице Нансена? – спросило это существо.

– Очень! – воскликнул Вилфред. – Что я могу вам предложить?

Он вдруг возрадовался всему происходящему. Все идет как нельзя лучше. Вот он познакомился с очаровательной и явно не слишком недоступной девушкой, а она передает ему привет от Адели – кто бы эта Адель ни была, очень любезно с ее стороны. И вдобавок она еще на Северном полюсе. На мгновение его пронзило воспоминание об удивительном доме Руала Амундсена – темном моряцком доме в лесу Свартсуг, где он прожил неделю, но тут возле них оказалась заботливая, как горлица, дама в атласе, которая принесла два стакана какого-то умиротворяющего напитка, хотя ему что-то не помнилось, чтобы он его заказывал. ...Столики вокруг быстро заполнились. Точно откуда-то извне был подан знак, из тех знаков, какие никогда не услышишь, но всегда заметишь их действие.

– Это у Педера уже закрыли, – мгновенно откликнулась дама.

Он многозначительно поднял брови, интуитивно покосившись на левое запястье, и только тут обнаружил, что на руке опять нет часов.

– Адели так понравились часы, – сказала сидевшая напротив девица.

«Вот она, разгадка, – подумал он. – Стало быть, ночью я был с этой Аделью».

– У вас удивительного цвета волосы, как шампанское! – сказал он, заглядывая в глаза девушке. Понимай как знаешь – то ли восторг, то ли ирония. Он стал приглядываться к своей миловидной гостье. У нее были светло-голубые глаза и светло-синее платье с пристойным треугольным вырезом, желтоватые гладкие волосы уныло свисали на глаза, ломая округлую линию щек.

– А почему вы не зачесываете волосы за уши? – спросил он и тут же пожалел, что спросил. Она сделала быстрое движение обеими руками, и он на мгновение увидел темноватый шрам на шее. Он не раз видел такие шрамы – след оперированных желез.

– Извините.

– Ладно, чего уж там... – сказала она.

Стакан в ее руке, протянутый вперед и немного в сторону, угодил как раз под струю из бутылки, которую дама в атласе уже держала на весу. Может, здесь такой порядок – заплати один раз и пей сколько влезет? «...Поскольку бумаги, в которые вложил деньги Ваш брат, директор Мартин Мёллер, оказались менее выгодными...» Может, эта самая Адель что-нибудь знает о недостающих звеньях. Он повис на цепи, а в цепи не хватает звеньев, и многих. На сами-то звенья ему плевать, но хочется хоть недолго повисеть на чем-то прочном.

– Может, уже пора отправиться на Северный полюс? – спросил он.

Ее мимика была до вульгарности недвусмысленна. Он сейчас же протянул ей меню. Почки – стоящая вещь. Они заказали почки. Пусть будут кошачьи – не имеет значения. Заказали бутылку шампанского. На карточке значилась всего одна марка, с нее и начинался список вин, и называлась она почему-то «Номер 22». Девушка бесстрашно выпила шампанское. Он

заказал для нее полбутылки портвейна.

– Пожалуй, это больше подойдет к вашим почкам...

Грянул оркестр, они пошли танцевать. Быстрым и отчаянным движением притянув его к себе, она призналась ему, что Адель сразу угадала – он из благородных. Она как бы поверяла ему личную тайну – с глазу на глаз. Он подумал: если посланница любви этой Адели довольно-таки соблазнительная девица, какова же сама Адель? Они вернулись к столику, дама в атласе, подсев к ним, выпила рюмку вина за их здоровье. Здесь все были знакомы друг с другом. Вилфред ничего не имел против этого. Девушку звали Глэдис. Из выреза на груди она извлекла газетную страницу с новыми кроссвордами, на которых в славном городе Копенгагене помешались все официанты, и спросила Вилфреда о страусе, африканском страусе из трех букв. Он сразу назвал:

– Эму. – И увидел, как женщины обменялись взглядом: никаких сомнений – он из благородных.

– Государство в Африке из шести букв, вторая «о»? – спросила она.

– Сомали, – тотчас ответил он.

Теперь обе уставились друг на друга в неподдельном восторге.

Что-то большое и черное ввалилось в зал. Оно двигалось напролом среди танцующих. Женщины объявили хором:

– Эгон!

В их тоне звучало испуганное восхищение. Человек подошел прямо к их столику. Смущенно встав, Глэдис отошла к стойке.

– Куда ты, черт возьми, подевался, приятель? – пылко воскликнул парень, схватив Вилфреда за руку. – Время уже... – Неизвестный Эгон уставился на свое запястье, где не оказалось часов, потом грубо расхохотался. – А, черт побери! – тихо сказал он не то с восхищением, не то с досадой. Потом резко провел рукой по волосам Вилфредовой дамы, так, что обнажился шрам. – Ты что вздумала задерживать здесь этого господина, черт тебя возьми... – Он снова посмотрел на свое запястье, на сей раз с нескрываемой злостью.

– Господин был так любезен и угостил...

– Тебя, дурица? – спросил Эгон.

Вилфред почувствовал резкий прилив неприязни.

– Хотите присесть?

Эгон хотел. И хотел выпить именно то, что в эту минуту ему протянула дама в атласе. Это был покладистый парень, который, однако, гнул свою линию.

– Выпьем, Эгон? – с иронической вежливостью осведомился Вилфред. Тот не кивнул в ответ, а только приподнял стакан – его тотчас снова наполнили. Он опять выпил.

– Она ждет, – многозначительно сообщил он. У него были карие глаза, выражавшие простодушие, – оно было бы опасным, не будь оно таким откровенно наигранным. Воротничок сверкал белизной, щеки безукоризненно выбриты. – Надо думать, твой пыл не убавился со вчерашнего дня, приятель? – спросил он Вилфреда, оскалившись ровными белоснежными зубами.

Селина спустилась в каюту. Почки стыли на тарелке перед Вилфредом. Эгон с удивлением приподнял бутылку красного вина и сделал знак кому-то, находившемуся позади. Тотчас появилась атласная дама и поставила на стол какое-то темное снадобье. Вилфред почувствовал, как в нем просыпается сладкая бесшабашность, подняв стакан, он уставился на шрам над глазом Эгона. И тут же почувствовал, что предает малютку с волосами цвета шампанского, – вечно приходится кого-то предавать.

– Ясное дело, – ответил он, сверкнув восторженным взглядом, таким, что не сомневался – тот видит, что это притворство. Эгон, одними губами повторив его слова, поглядел на свое запястье теперь уже с явным сожалением. – Бывает, – примирительно сказал Вилфред.

Оба ослабились всеми зубами.

– Пошли? – предложил Эгон.

Пока Вилфред расплачивался, шампанская девица уже взялась за ум: она выказывала знаки своего расположения другим. Вилфред заметил настороженный взгляд, брошенный Эгоном на пачку купюр, и нарочно поднес их чуть ли не к самому носу парня, чтобы раз и навсегда положить конец возможным недоразумениям. На улице стоял мотоцикл. Эгон с места взял бешеную скорость. Холодный ночной воздух обдувал лицо Вилфреда, устроившегося на заднем сиденье, каждый раз, когда он отворачивал голову, чтобы не чувствовать сладковатого дыхания Эгона. ...Селина спустилась в каюту.

Селина спустилась в каюту. Ну и что? Может, у них с Робертом что-то было? Оба исчезли в Оггорстранне. Ну и черт с ними. Вилфред и пальцем не шевельнул, чтобы этому помешать. Выходит, дружба Роберта тоже была притворством? Это мучило Вилфреда куда больше ревности. Но это неправда. А если правда?.. Ладно, что было, то было, такие теперь времена. К тому же никого из них здесь нет. А он сидит на заднем сиденье мотоцикла, и от холодного ночного ветерка у него проясняются мозги. Где-то пробили часы – часы на башне ратуши.

Эгон резко затормозил.

– Приехали, – сказал он, ткнув пальцем прямо в стену. Серая стена на какой-то неизвестной улице. Здесь фонари не освещали фасадов. Было почти совсем темно.

– Боишься? – спросил Эгон. Он вернулся, куда-то припрятав мотоцикл. Вилфред принял вызов. Ему смутно чудилось, что он попал в руки аферистов, – но в таком случае откуда взялись вчерашние деньги? Деньги у него. Стало быть, он среди друзей? И вдруг он увидел, что Эгон стоит где-то внизу, видна только голова, – Вилфред и не заметил маленькую подвальную лесенку. Эгон кивнул.

Самое время сбежать, вырваться на свободу, а парень пусть себе стоит под землей и кивает. Но зачем? У Вилфреда сладко екнуло сердце, он поспешно спустился вниз на несколько ступенек. Тот потянул его к маленькой, едва различимой дверце. Потом вставил в скважину ключ, и они вместе двинулись по полутемному проходу. Навстречу пахло слабым запахом сыра. Вилфред в растерянности остановился. Но Эгон уже подошел к двери в противоположном конце помещения. Из нее хлынул резкий свет – Вилфред шагнул ему навстречу и оказался в круглом зале со множеством зеркал. Они отбрасывали слепящий свет па покрытые белой штукатуркой простенки.

«Северный полюс», – подумал Вилфред. От просторного зала и в самом деле веяло Арктикой. И тут он услышал приглушенную музыку. Парень постучал условным стуком в низенькую дверь. Она тотчас приоткрылась, и в то короткое мгновение, пока она оставалась приоткрытой, пронзительные звуки музыки ворвались в зеркальный зал. Как видно, дверь была из толстых досок, обитая войлоком. Но вот она снова захлопнулась, и они остались в

белом зале.

В тот же миг у них за спиной появилась пожилая дама в элегантном сером платье; она держала в руке блокнот с отрывными листками-карточками и автоматическую ручку. Величаво кивнув, она спросила, не угодно ли будет господину поставить здесь свое имя, она указала на карточку – это была карточка члена закрытого светского клуба «Северный полюс», – чистая формальность. Она попросила у Вилфреда 25 крон – также чистая формальность. Вилфред машинально расплатился. Черт знает сколько этих формальностей!

Эгон не отходил от него ни на шаг. Дама поставила на стол серебряный поднос с прохладительными напитками. Все трое чокнулись. Вилфред почувствовал терпкий вкус мяты. Дама сказала ему: «Добро пожаловать!» Она вполне могла сойти за жену пастора.

Плотная дверь распахнулась – они вошли в соседнее помещение. На эстраде, погруженной в полумрак, расположился оркестр – он уже не играл. Поблескивали инструменты и серебряные галуны музыкантов. Громадное помещение уходило куда-то ввысь под темные своды, лампы почти не давали света. Приглушенный свет падал на красный шелк занавеса и гнутых стульев. Вдоль стен за столиками сидели люди, когда Вилфред вошел, многие возвращались на свои места после танца. Он не столько их видел, сколько догадывался об их присутствии под красноватыми сводами.

– Ну как, нравится вам? – спросил низкий голос за его спиной.

Вилфред обернулся. Темная радость все сильнее завладевала им. Рука, обтянутая шелком, просунулась под его локоть. Женщина была высокая, крепкая, когда она выпустила его руку, он невольно оглядел ее с головы до ног.

– Великолепно, – беспечно ответил он, это могло относиться и к помещению, и к женщине. Она удовлетворенно хмыкнула. Неужели у этой женщины и впрямь такой низкий голос? – Вы, очевидно, и есть Адель? – спросил он.

– Очевидно, – отозвалась она и залилась великолепным грудным смехом. Вилфред подумал: «Такие красавицы встречаются в деревнях, в норвежских долинах». Волосы у нее были темные, глаза очень темные, почти черные. Желтое шелковое платье в обтяжку, и во всем облике что-то вопиюще непристойное. Они вдвоем прошли через зал по узкому, крытому ковром проходу, по обе стороны которого в красноватой тьме стояли столики. За некоторыми сидели люди – в основном сидящие мужчины, но было и несколько юнцов с осоловелыми глазами. И повсюду девицы, женщины, дамы – они сидели за столиками и сновали между ними на пути куда-то и откуда-то; девицы, вызывающие и робкие, много хорошеньких, несколько красивых, все в более или менее вечерних туалетах, чаще всего – в платьях, коротких спереди и сзади со шлейфом, которые только начали входить в моду в Норвегии. Здесь кишела приглушенная жизнь. Предупредительный официант, с вышитым серебряными нитками полуночным солнцем на лацкане куртки, подал какую-то темную, приправленную пряностями жидкость в высоких бокалах. Вилфред предпочел бы рюмку «Белой лошади», губы склеились от застарелой жажды, в висках горячо пульсировала кровь. Адель подняла свой бокал; он каждой клеточкой своего тела ощущал ее близость, от этого слегка кружилась голова. Вокруг на столиках и портьерах сидели и висели желтые куклы с бесстыжими глазами – родственницы той, что осталась в его убогой комнатухе.

– Нет, нет, – сказала она, угадав его мысли. – Вчера вы были не здесь. Вы вели себя немного неосторожно... – Она засмеялась коротким ласковым смешком.

– Ах, боже мой, – беспечно отозвался он. – Я здесь не затем, чтобы разгадывать загадки, захотите – вы мне все объясните.

– Поставим точку, – охотно согласилась она. – Вы так молоды – вам, наверное, лет двадцать

пять?

Он не стал спорить. В эту минуту зазвучала музыка и вспыхнул яркий свет. Но едва танцоры из темных уголков зала стеклись на середину, свет снова приглушили, и теперь он беспокойно мерцал, просачиваясь сквозь какой-то вращающийся механизм, который рассеивал по полу, стенам и потолку головокружительный звездный дождь; все струилось. Казалось, ты стал насекомым в огромном кружащемся рое. Она уверенно вела его в каком-то новом танго, танец требовал от него особой готовности подчиниться, сейчас эта готовность была в нем безграничной. Больше всего ему хотелось покорно отдаться на волю волн. Темный напиток приятно разливался по телу, прогоняя дурные воспоминания. В ее общительности была какая-то властность, которая, к удовольствию Вилфреда, освобождала его от инициативы и ответственности. «Будь что будет», – думал он. Но почему выбор пал на него? Вопрос этот смутно всплывал в нем в такт движениям танца, ему приходилось сосредоточивать на них все свое внимание. Он невольно подумал: «Такая девушка подошла бы Роберту, она бы прибрала его к рукам».

Они возвратились к своему столику, тесно прижавшись друг к другу. Едва музыка кончилась, свет опять приглушили. Вилфред заметил, что пожилые мужчины в смокингах здороваются с его дамой не без почтительности, а слуги вопросительно поглядывают на нее. На столике уже стояли новые, такие же высокие бокалы с темной жидкостью; в прошлый раз она едва пригубила напиток. Только теперь он обратил внимание, что стена позади музыкальной эстрады и маленькие квадратные поля на потолке искусно расписаны серебристыми полярными пейзажами, освещенными невидимыми источниками света. Адель давала пояснения отрывистыми, короткими фразами. Заведение это существует год, здесь бывают сливки общества, слышаны о нем и иностранцы... Теперь их много приезжает в город...

– Но почему я? – наивно спросил он.

Она пожала плечами.

– Может, вам больше нравится «Китти»?

При чем тут «Китти». Просто он не из денежных мешков.

– Как знать, – рассмеялась она.

– Увы, я знаю, – кокетливо вздохнул он. – Я, так сказать, моряк на мели.

Она весело кивнула.

– Команду распустили, – заметила она. – А хозяина освободили от права собственности. Кстати, он просил передать вам привет. Ему пришлось наведаться в полицейский участок. Его уже отправили на родину.

Рассказ звучал в ее устах беззлобной шуткой. Но он вдруг вспомнил одну из подробностей плавания.

– «Меродоз», – сказал он со вздохом.

– Вот именно «Меродоз», – тотчас подхватила она. – Яхта была гружена «Меродозом». «Меродоз» на яхте и у всей команды! А как вам понравилось у моей тетки? – Он мял в руке визитную карточку. – Вот именно, – поспешно подхватила она. – Квартира не слишком подходящая, но на первое время надежное пристанище. Остальная компания угодила за решетку, а вы, я думаю, предпочитаете обойтись без скандала?

Так вот оно что. Там была гнусная шайка. Вилфред вяло кивнул. Она вынула другую карточку – это был адрес на улице Гаммель-Мёнт.

– Еще одна тетушка? – спросил он.

– Может, пригодится в другой раз.

Была в ней какая-то мощная непристойность, которая ему нравилась. Наверняка она верный друг тем, к кому хорошо относится. Голоса вокруг них звучали все громче, новые посетители появились из обитой войлоком двери в темной глубине. Очевидно, уже закрылись рестораны, по старой привычке Вилфред приподнял запястье. И тут же перед ним оказались его ручные часы, она извлекла их из вышитой сумочки, лежавшей на полочке под столешницей.

– Как вы догадываетесь, я не собиралась их присваивать, – с улыбкой заметила она. – Господи, чего-чего только при вас не было! – Все эти подробности выяснялись урывками. Вилфред ничего не имел против, чтобы тайное осталось в тайне. – Мы случайно оказались на пристани в то самое время, – сказала она в виде пояснения. – И присутствовали при высадке. Она была довольно странная.

– Мы? – тупо переспросил он.

– Небольшая компания... – У нее на все был готов ответ – этаким легким дружеским щелчок. – Помочь другим не удалось бы. Полиция с «черным вороном» прибыла без промедления... – Она сделала загибающее движение руками, и он тотчас увидел все: смертельно усталых матросов, которых загоняли в «воронок», – зеленые, в грязных полосах лица при свете солнца.

Да, тогда светило солнце! Яркое солнце, слепившее глаза после душного мрака каюты. Недурной розыгрыш – как, впрочем, все в нынешнее время. Громадный розыгрыш в духе времени, дело рук безответственных, отчаявшихся людей, которые протянули свои игривые щупальца через весь мировой рынок, через все моря. Они присосались к искусству и просвещению, к бизнесу и публичным домам и еще бог знает к чему. Это были люди с берегов светлых источников, которые продолжали вести свою зловещую игру с грязью и ценностями, и игра эта заражала пугливых и оскверняла честных. Вилфред ничего не имел против этого, он был один из них – фаланга мизинца громадной жадной лапы. В этой стране тоже были свои герои черной биржи, свои крупные мошенники, газеты разоблачали их, он читал об этом еще в Норвегии, и ни на кого это уже не производило впечатления... Может, это и есть как раз те седеющие джентльмены, которых он сейчас видит вокруг себя, люди, чьи портреты в один прекрасный день появляются в газетах – в профиль и анфас с оголенной шеей, и на всех лицах лежит та удивительная общая печать сходства с ошипанной птицей, которое создают фотографии на паспорте и в полицейских архивах. Он вспомнил стародавнее словечко – «добропорядочность», одно из тех понятий, которыми оперировал дядя Мартин. Интересно, как обстоит дело с добропорядочностью у этих господ и, если уж на то пошло, у его родного дядюшки Мартина? При этой мысли Вилфреду стало весело. Он заметил, что Адель наблюдает за ним.

– Но почему именно я? – настойчиво переспросил он.

Она засмеялась вызывающе и многозначительно.

– Чего не сделаешь для своих ближних! А потом, я за версту чую хорошего любовника.

Он поперхнулся вином. А-а! Была не была!

– Надеюсь, я вас не слишком разочаровал...

– Дай вам бог счастья, вы оказались настоящим Казановой. – Он скорчил гримасу. За столиками в окружающем полумраке говорили теперь во весь голос. Им приходилось наклоняться совсем близко друг к другу.

– Вы, наверное, здесь что-то вроде хозяйки? – спросил он.

Она отозвалась с обычной быстротой:

– О нет, нет, вы же видели Мадам. Ту, что сказала вам: «Добро пожаловать». Она – важная дама. Нет, я... – Она рассмеялась почти беззвучно и закончила фразу уклончивым жестом.

– А этот – Эгон?

– Господи, да он наш посыльный. Как это у вас говорят – мальчик на побегушках.

– Решительный молодчик? – Его забавляла эта не вполне искренняя искренность, которая ничего ему не объясняла.

– Решительный? О господи, еще бы. Ведь это он... – И снова поясняющее движение рук.

Вилфред с изумлением уставился на нее.

– ...«Выудил» меня? Значит, я должен его отблагодарить?

Она засмеялась.

– Об этом он позаботился сам еще вчера. – И руки ее сделали бесшумное движение, как бы очищая карман.

– Ах, вон оно что! – Вилфред мотнул головой.

Он чувствовал себя все приятнее, медленно хмелея от темного зелья в высоких бокалах.

– Вам нравится наш фирменный напиток? – спросила она со смехом. Фирменный напиток украшал многие столы, за другими пили шампанское и красное игристое вино. – Немецкое дерьмо, – тихо пояснила она, проследив за его взглядом.

Официант на мгновение наклонился к ней, она отдала краткое распоряжение.

– Играть умеете? – тихо спросила она. Он невольно бросил взгляд на свои пальцы. – Нет, нет, – сказала она. – Я не о музыке. – Она сделала быстрое движение своими красноречивыми руками, и Вилфред сразу увидел, как по столу летают карты и жетоны.

– А-а, это, – вздохнул он. – Нет.

Ее это не огорчило.

– Ничего, со временем придет... Только когда играешь, не надо пить. Вам не надо. А другие... – И снова движение рук закончило фразу. Это были сильные руки, хорошей формы, но лишенные женского очарования, такими руками доить коров.

Шум за одним из столиков сменился возней, раздались крики, в воздухе замелькали кулаки. И тут Вилфред увидел Эгона – он вырос словно из-под земли. На нем была светло-серая ливрея с галунами. Его появление произвело магическое действие. Только какой-то бледный молодой человек с осоловелым взглядом продолжал стоять, как-то неприятно булькая горлом и слепо размахивая руками. Эгон сделал почти незаметное движение, быстро и резко ударив молодого человека ребром ладони по затылку. Тот рухнул ему на руки, и оба исчезли где-то в глубине; со стороны могло показаться, будто слегка захмелевшего гостя провожают до уборной.

– ...И тайны хранить умеет, – заметила она улыбаясь. Но улыбка была несколько натянутая. Она быстрым настороженным взглядом обшарила помещение.

– Черт возьми, а ведь парня отравили, – сказал Вилфред.

– У вас острые глаза. Не утомляйте их. – Она продолжала улыбаться, но в голосе прозвучал намек на угрозу. «Пора с этим кончать», – подумал он. Помещение медленно кружилось перед его взглядом, это было довольно приятно. – Загул давно начался? – участливо спросила она.

– Какое сегодня число?

– Шестое июня.

Оп вяло пересчитал по пальцам.

– Неделю или что-то вроде.

– Тогда пораньше возвращайтесь домой, – сказала она.

Сказано это было дружелюбно, но звучало приказанием, и снова он подумал: «Пора бы причалить к берегу». Его охватила странная сонливость. Он поглядел на высокий бокал.

– Собственно, что это такое, черт возьми?

Она ласково отняла бокал.

– Это вам вреда не причинит. Эгон вас отвезет... Нет, не сюда – в другую дверь.

Она поддерживала его под локоть. Он уже не пошатывался, но колени были как ватные. Она провела его мимо нескольких столиков к двери в противоположном конце помещения. Он смутно отметил это в последнем проблеске сосредоточенности. Они миновали комнату, где сидели, болтая, пять женщин. Тощая девица с грудным ребенком на коленях клевала носом. Когда они проходили мимо нее, пепел от сигареты, прилипшей к отвислой губе, осыпался на лоб ребенка.

– Лола! – сердито окликнула Адель. – Нечего тут дрыхнуть! А не то сиди себе дома с мальчишкой.

В ту же минуту на Вилфреда пахнуло ночной прохладой. В дверях, одетый в свою комически пышную ливрею, стоял Эгон.

– Отвези этого господина домой, – приказала Адель.

Теперь они ехали в автомобиле. Эгон прекрасно вел машину, он сворачивал в пустынные улицы с властной уверенностью в том, что каждый уступит ему дорогу. Но была какая-то неувязка: Вилфред огляделся по сторонам – он не узнавал улиц. Впрочем, дело не в том, он слишком плохо знал город, но он от природы хорошо ориентировался, и, если направление было взято неверно, ему становилось не по себе.

– Куда мы едем? Разве нам не на восток? – спросил он.

Эгон за рулем усмехнулся. Он не отрывал взгляда от улицы, лжившейся им под колеса. Вилфреду хотелось собраться с силами и возразить – он смертельно устал, но ему во что бы то ни стало хотелось именно сейчас сказать свое веское слово.

Машина с визгом затормозила. Соскочив на тротуар, Эгон оказался у его дверцы прежде, чем Вилфреду удалось ее открыть.

– Сюда, – вежливо сказал Эгон, схватив его за руку. Схватил не крепко, но решительно. Вилфред понимал, что, если Эгон вздумает дать волю рукам, хватка будет совсем другая.

– Где мы?

– На Гаммель-Странд.

Точно. Теперь он различал сладковатый запах пристани и лежалой рыбы. Когда-то ему хотелось жить здесь.

Они поднялись по узенькой лестнице. Перед ними открылась дверь, покрытая желтоватым лаком. Эгон показывал квартиру, сопровождая пояснения короткими кивками.

– Гостиная. Ванная. Туалет. Ваша спальня...

Они оказались в уютной комнате с зелеными обоями – два больших эркера выходили на канал. Светлая ночь заглядывала в окна. Башня Кристиансборга уже поймала отблеск красного солнечного луча. Повернувшись, Вилфред увидел улыбающееся лицо Эгона.

– Угодно что-нибудь еще?

– Нет, спасибо, Эгон. А за этой дверью?..

– Комната фрекен Адели, – ответил тот. – Спокойной ночи. Вилфред уронил на пол одежду и провалился в пенистую

пучину. Вода обступила его со всех сторон.

11

Она ходила с ним повсюду, вернее, он ходил с нею. Она вечно что-нибудь затевала и хотела, чтобы он участвовал в ее затеях. Он относился к этому терпимо, во всяком случае, довольно терпимо.

Дома Эгон усердно им прислуживал. Вилфред и он никогда не разговаривали друг с другом. Никто бы не узнал в Эгоне развязного парня, который когда-то обратился к Вилфреду в баре «Китти». Но он мог пройти мимо Вилфреда, иронически улыбаясь, с каменным выражением лица. Вежливость его была слишком подчеркнутой, хотя ее нельзя было назвать откровенно оскорбительной. В первые дни Вилфред несколько раз пытался вызвать Эгона на разговор. Подняв прикрытые веки, тот секунду глядел ему прямо в глаза, а потом отводил взгляд с выражением, в котором было нечто среднее между услужливостью и прямым вызовом. Но если дома была

она, Эгон как тень скользил по комнатам, стараясь не попадаться обоим на глаза.

Вилфред дал матери телеграмму и написал письмо. У него, мол, все в порядке, он катается на яхте с друзьями – словом, все хорошо. Он с сыновней заботливостью осведомлялся о ней и ее делах, но в этой почтительности против его воли проскальзывал оттенок иронии. Ему пришло в голову послать ей немного денег – пусть понимает, как хочет: то ли это свидетельство его бережливости, то ли вспомоществование от посвященного, который, собственно говоря, ни во что не посвящен. И то и другое должно было ее порядком удивить.

Завтракали они вдвоем за городом или дома – легкие изысканные завтраки. Она никогда не вставала раньше часа дня. Вилфред пользовался этим, чтобы урвать время для далеких прогулок по Копенгагену, который он начал понемногу узнавать. Потом он возвращался домой, или они встречались в городе, но ни одно из тех мест, которые они посещали, он не

сумел бы отыскать без ее помощи. Иногда они проводили время в кафе Лорри во Фредериксбергском саду, туда приходили художники, расписывавшие стены, а столяры чинили столы и стулья после ночных увеселений. Мимо кафе мелькали какие-то девицы, некоторые заходили в кафе, девицы были самые разные, в том числе из «Северного полюса»; одни приносили с собой кулечки с едой, другие катили детские коляски. Это были ночные птицы, которые, не сговариваясь, назначали друг другу свидания на лоне природы и болтали о ночных делах. Они сидели бледные, чувствуя себя не в своей тарелке в ярком свете дня, но это чувство объединяло их. Некоторые прихватывали с собой рукоделье. Это были маленькие мещаночки, расцветающие на лоне природы. Приходили молодые хлыщи в соломенных шляпах, пили пиво или нахально потягивали водку из запотевших стопок и ели бутерброды с креветками.

Иногда они вдвоем отправлялись в ее машине на север вдоль берега Зунда. На крыше автомобиля у них красовался газовый баллон, потому что бензина не продавали. Но у них бензин был, и баллон на крыше служил для отвода глаз. Были у нее также и сигареты, и сигары для Вилфреда, которых в Скандинавии нельзя было приобрести. Сама она днем никогда не курила и не пила, что бы она ни ела, она все запивала молоком, и вид у нее был такой здоровый и цветущий, что она вполне могла бы сойти за единомышленницу Эрниного папаша. У нее были густые темные брови, которые слишком часто сходились на переносице. Когда Вилфред позволял себе немного выпить, они благосклонно взлетали вверх. Он купил себе новую одежду, и она была счастлива, когда он одобрил галстук, который она ему где-то раздобыла.

По воскресеньям они ехали поездом от Нёрребро по маленькой, поросшей травой узкоколейке, а потом, усевшись на берегу моря возле Принсесести, ели бутерброды, которые прихватывали с собой в коробке из-под обуви. Мимо проходили по-воскресному одетые люди, говорили: «Приятного аппетита», они отвечали: «Большое спасибо». Иногда они заглядывали в маленькие трактиры в деревушках, где по дорогам бродили гуси, и купались в Хумлебеке. И никому бы не пришло в голову увидеть в этой молодой паре, посещавшей людные места, что-нибудь подозрительное.

Однажды они забрели в Тиволи и, усевшись на лужайке, стали смотреть на акробатов, тренировавшихся перед вечерним представлением. Это была итальянская труппа, составлявшая, как видно, одну огромную семью, члены которой с разных сторон стекались на солнечную лужайку. Маленький чернокудрый бамбино должен был оттолкнуться от трапеции и, перелетев по воздуху, схватиться за руки отца. Мальчонке было лет шесть, его маленькое тело хранило еще какое-то незрелое младенческое очарование. Отец, высокий, мускулистый, висел на своей трапеции, зацепившись за нее согнутыми в коленях ногами, и взлетал высоко над сеткой, расставив руки, чтобы подхватить малыша в самом поднебесье. На всех лицах было написано такое напряженное ожидание, словно предстояло нечто из ряда вон выходящее. Звон трамваев и шум далекого города, который находился совсем рядом, звучали как вестники другого мира, почти нереального в сравнении с этим миром, насыщенным волей всех этих людей.

Мальчика подкинули на трапецию, освещенную рассеянным светом солнца, он выпустил ее, на мгновение одиноко повис в пространстве, но не сумел ухватиться за руки отца. На всех артистах были грязные тренировочные костюмы в темных пятнах пота. Маленький Джузеппе снова прыгнул с трапеции, перевернулся в воздухе и – упал в сетку. Отец, проплывший на своей трапеции назад, бранился. Бранилась мать, стоявшая на лужайке, бранились дяди и тетки с порогов близлежащих палаток. Джузеппе снова прыгнул с трапеции, снова мимо отцовских рук и – упал в сетку. Жесткие петли сетки в ключья порвали его тренировочный костюм. Проступившая кровь стекала по освещенному солнцем костюму. Мальчик беззвучно плакал, возвращаясь к трапеции, из носа у него текло. Он снова прыгнул и снова очутился в сетке.

Казалось, в стране артистов бушует буря, мускулы под их тонкой одеждой вспухли могучими узлами. Маленького Джузеппе перед каждым прыжком воодушевляли криками. Они желали ему добра. Но он промазывал. И падал в сетку. Разъяренные родственники бранились и кричали, честь семьи была под угрозой, ближайшее представление сулило крах. Кровь Джузеппе смешивалась со слезами, из носа лило ручьем. Под глазами залегли мертвенные тени, лоб был изодран сеткой. Черные кудри повисли, как мокрые водоросли.

Вилфред, сам побледнев как полотно, приподнялся с железного стульчика, стоявшего у стола.

– У вас, кажется, есть общества защиты животных... – Он чувствовал, как в нем закипает праведный гнев, – его опять волнуют судьбы тех, до кого ему нет дела.

Адель властно усадила его на стул.

– Оставь их, – сказала она.

В нем бушевала самая настоящая злость, злость против нее, против циркачей, против безжалостных требований ремесла.

Джузеппе поднялся вверх по блестящей стремянке, к нему качнули трапецию. Он казался совершенно прозрачным, голубые жилки вздулись на бледных висках, страдание было написано в каждой черточке его лица, во всех округлых чертах детского лица, которые словно окаменели. С улиц за оградой парка доносился непрерывный звон трамваев.

– погоди, – шепнула Адель, схватив Вилфреда за руку. – В следующий раз у него получится.

– Ничего у него не получится. Ты что, не видишь...

Маленький Джузеппе примерился. Он примерялся и прежде, но падал в сетку. Теперь он стоял высоко вверху и мерил расстояние с отчаянной решимостью на детском лице. До сих пор он плакал беззвучно, теперь с его дрожащих губ сорвался жалобный писк. Семья в мертвом молчании застыла на лужайке. Откуда-то из парка пришли два сторожа и садовник, они бросили работу и затаив дыхание подошли поближе. Отец снова устроился на своей трапеции, зажав ее коленями, и приготовил руки, чтобы поймать сына.

Отец раскачался на трапеции – она описала мощную дугу. Об этом человеке не думал никто, никто не думал, что он тоже занят тяжелым трудом, работает и учит – наставник, отец. В следующую долю секунды Джузеппе тоже раскачался на трапеции, оторвался от нее, перевернулся в воздухе и – ухватился за руки отца.

Ликующий вопль огласил лужайку. Все хлынули к стремянке, с которой спускался Джузеппе. Могучая мамаша заключила сына в объятия, едва его не задушив. Братья, тетки, дядья – вся труппа тискала его, мяла, подбрасывала в воздух и ловила с восторженными возгласами. Артисты плакали, смеялись, называя его какими-то звучными именами.

Адель смотрела на эту сцену горящими глазами. В ней появилось что-то незнакомое, что сбило Вилфреда с толку.

– Ну да, конечно, – с досадой заметил он, – ты угадала. Но это получилось один раз. А в следующий раз, и потом – сколько они будут его мучить?

– Глупыш, – спокойно возразила она. – Разве ты не понимаешь, теперь он научился!

И снова – сверкающий взгляд из другого мира, смутивший и встревоживший его.

А Джузеппе уже поднимался по переносной лесенке. Когда же наконец угомонится этот

мальчонка? Проворный отец был уже на месте в противоположном конце лужайки. Он снова раскачался на своей трапедии. Мальчик раскачался тоже, прыгнул, перевернулся в воздухе и – ухватился за отцовские руки. И снова ликующий вопль огласил залитую солнцем лужайку, вздетые кверху руки словно воссылали благодарность небу. Те двое снова взобрались на трапедии. Снова качнулись, оттолкнулись – встретились.

И вдруг лужайка опустела. Все семейство отправилось завтракать. Маленький мирок вступил в новую жизненную фазу. Отец с сыном замыкали шествие, отец шел, положив руку на голову сына. Джузеппе больше не плакал. Он улыбался сквозь слезы и сочащуюся кровь. Последнее, что они увидели, была рука отца на голове сына.

После этого они долго шли молча, вышли на улицу Гаммель Конгевай, рассеянно поглядывая на витрины кондитерских лавок и прачечных.

– Откуда ты знала, что у него получится? – спросил Вилфред.

Она ответила не сразу. Она шла, вскинув голову к трепещущему свету, упругой, победительной походкой.

–

Мы знали это, – сказала она. – Отец... Он не упустил бы его.

– Вот как... – Вилфреду был не совсем ясен смысл ее слов.

– Не упустил бы его. Разве ты не видел – все это знали. Вся семья, садовник, который перестал копать. Никто не упустил бы его – ни один из них.

– Ты что, была артисткой?

Она засмеялась своим грудным смехом.

– Пожалуй, можно сказать и так.

Но вечерами, когда она отдыхала и у него снова выпадал свободный час, ему не терпелось отправиться в «Северный полюс». Его тянула туда не возможность покутить – он пил в эту пору очень мало: как видно, ему передалась ее профессиональная добросовестность. Он танцевал с Аделью, сидел за ее столиком, он был почетным гостем. Седеющие господа кланялись ему, искали его общества. Изредка Адель просила его потанцевать с какой-нибудь из девушек. Он шел с ней в танце до стойки бара, а там оставлял ее, якобы для того, чтобы выпить у стойки. Он замечал, что после этого ей было легче найти кавалера – он был из тех, у кого стоит перенять девушку. Если дела у девушки шли плохо, она бросала на Адель умоляющий взгляд. Но та оберегала его, видно было, что она не хочет его обесценить. Вилфреда это забавляло, но как-то со стороны.

В разгар лета, когда копенгагенцы потянулись из города, в «Северный полюс» зачастили иностранцы. Тут пригодилось его знание языков. Случалось, она просила его присесть к какому-нибудь столику, чтобы поддержать непринужденный разговор. В этих случаях она обращалась к нему не повелительным тоном, а как бы прося об услуге, в которой, быть может, он не откажет.

Иногда появлялись провинциалы – тяжеловесные, кряжистые мужчины с деньгами. Они хотели погулять вволю и готовы были за это заплатить. От таких и она, и он держались подальше. Им подавали счет, и, когда они расплачивались за то, чего пожелали, заботу о том, что оставалось у них в кармане, брали на себя в игорном зале за стеной. По утрам иногда видно было, как эти люди беспомощно бродят по соседним улицам, иногда даже по этой самой улице, и растерянно таращатся на все окна и двери. Стало быть, у них было

смутное чувство, что они угодили в руки грабителей, и они хотели сделать попытку вернуть содержимое своих кошельков...

И были соловьиные ночи, когда, тайком сбежав из заведения, они катили на велосипедах в буковую рощу и слушали волшебные звуки, льющиеся из зарослей вдоль полей. В такие светлые ночи дороги отливали тусклым серебром, они молча катили руль к рулю, а иной раз лежали на холме под открытым небом в жарком объятье. На обочине, прислоненные друг к другу, стояли их велосипеды, точно любовная пара в страстном прикосновении. И тогда всю ее властность как рукой снимало, он вообще не узнавал ее и не знал, с ним она или далеко от него. Может, в такие минуты она бывала наконец с тем, кого любила? С каким-нибудь Эгоном, а может, это был скотник с деревенского хутора ее детских лет – сладкая, мучительная мечта, пахнущая молоком и сеном...

Он ведь и сам тосковал – о ком? О Селине? Нет. В его мире все было зыбко. Адель была для него просто «кто-то». Он не всегда помнил, как она выглядит, и порой пристально вглядывался в нее, чтобы удержать в памяти ее черты.

А иногда в сумерках они сидели на холодных деревянных скамьях перед закрытыми палатками, где днем неистовствовали клоуны, вращались колеса и гремела карусельная музыка. А теперь циркачи наводили на лужайке порядок или распивали запоздалую бутылочку пива за одним из опустевших столиков. Это были люди, с которыми Адель была знакома и которые приветливо относились к нему: артисты, сторожа, маленькие смешливые певички с застрявшими в волосах блестками, ежившиеся в своих легких пальто. Вилфред научился подражать соловью, этот трюк пользовался большим успехом. Он садился к ним спиной на скамью в нескольких метрах от них и изображал соловьиную пару, переговаривающуюся в зарослях кустов. Он замечал, что Адель гордится его искусством. А если, устроившись на эстраде, он начинал импровизировать на пианино, ее радость не знала границ. В эти светлые ночи те, кому всегда приходилось развлекать других, развлекались сами. Они сидели парочками на холодных скамьях, покачивая головой и подпевая знакомым мелодиям. А он снова становился тогда маленьким Моцартом, только вместо отца у него была мать, которая демонстрировала его и заставляла родственников хлопать.

Но далеко не всегда их отношения были идиллическими. Как-то в воскресенье после обеда они сидели на траве в Феллед-парке, вокруг расположились многочисленные семейства с собаками и играющими детьми, и Вилфреду вдруг вздумалось показать стайке ребятишек, как надо бросать бумеранг. У одного из малышей был день рождения, и он получил в подарок красивый резной деревянный бумеранг, который вызвал восторг детей, но они не умели с ним обращаться – они бросали его заостренной частью вперед. Вилфреду никогда не приходилось держать в руках бумеранг, но что-то подсказывало ему, что дети бросают его неправильно: бумеранг каждый раз камнем падал на землю, и наконец маленький герой дня в разгар своего праздника горько разрыдался. Тут в игру вмешался Вилфред и попросил разрешения бросить бумеранг. Сердце гулко забило у него в груди – он чувствовал, что это одна из тех минут, когда все удастся, если же не удастся... Заостренный кусок дерева с изящно отделанной поверхностью приобрел вдруг в его руках магический смысл. Он весь дрожал от напряжения, когда стал в удобную позу, а стайка ребятишек в нетерпеливом ожидании сомкнулась вокруг него.

Со свистом прорезав воздух, бумеранг взмыл вверх, детям пришлось заслонить рукой глаза от лучей заходящего солнца, чтобы его рассмотреть. Далеко-далеко над верхушками деревьев он сверкнул на солнце и – повернул! Теперь он приближался к ним в свистящем полете. Дети заворуженно смотрели на него, потом в испуге разбежались, но снова замерли на месте. Бумеранг, похожий на маленький аэроплан, приближался, тяжело вращаясь вокруг своей оси, и наконец приземлился на траву, как раз там, где стоял Вилфред.

Дети восторженно кричали и вили на нем. Ему пришлось снова бросить бумеранг, а потом

показать им, как это делается. Он взял грязную ручонку именинника и научил его правильно держать игрушку. И что же, бумеранг, пущенный слабенькой рукой, поднялся в воздух и, перед тем как упасть на землю, сделал что-то вроде поворота. Мальчонка приплясывал и прыгал от счастья и побежал показывать свое искусство матери, которая уже шла им навстречу по лужайке.

Но когда Вилфред, разгоряченный забавой и успехом, вернулся к Адели, она встретила его угрюмо. Она предложила сразу же отправиться домой. «Впрочем, может, ты предпочитаешь взять ведро и лопатку и поиграть в песочек?..» На нее вообще часто накатывала озлобленность, когда речь заходила о детях. И еще когда Вилфред каким-либо образом пытался вмешаться в чужие дела.

Однажды ночью он вышел из заведения черным ходом. У дверей стояла девушка по имени Хенни, со своим старым, потасканным любовником – она время от времени снабжала его деньгами, которые перепадали ей от мужчин, у которых кровь была погорячее, а кошельки потолще. Вилфред застал их в разгар ссоры, и тут бывший красавец принялся колотить щедрую Хенни. Он был уже немолод и с виду довольно дряхлый. Но дрался он с такой яростью, что, казалось, еще минута – и он ее убьет. Хенни, к которой Вилфред вообще отнюдь не питал симпатии, переносила удары и пинки с немым упорством и, только когда тот за волосы поволок ее по тротуару, тихо вскрикнула.

Прежде чем Вилфред сообразил, что делает, он бросился на обидчика. Борьба длилась недолго – уж очень неравными были силы. Увидев, что ее бывший любовник валяется на тротуаре, Хенни с испугом и упреком посмотрела на Вилфреда. «Зачем ты это сделал!» – тихо простонала она, вновь и вновь повторяя эту фразу. Вилфреда охватила безудержная злость против этой беззащитной покорности судьбе. Он действовал быстро. Они вместе подтащили его к двери, которая была в двух шагах, и втолкнули внутрь. Но в то же мгновение на месте происшествия оказалась Адель с Эгоном и двумя девушками. И Адель впервые накинулась на него с бранью при свидетелях. Она не тратила лишних слов. Но те слова, что она произнесла, были чудовищно вульгарны. Той же ночью, под утро, она почти изнасиловала его с таким взрывом эротической энергии, что ему казалось – он больше никогда не сможет иметь дела с женщиной. И даже днем после позднего завтрака она продолжала недовольно брюзжать. «Барчук, – обзывала она его, – явился к рабочим людям и поучает их обхождению». Она честила его трепачом и бабником. Однако все это были нежности в сравнении с тем, что она говорила ночью. Вилфред начал злиться, он спросил ее, чего ей, собственно, от него надо, он может уехать, он от нее не зависит. Он ушел разобиженный и некоторое время бродил среди рыбацек на Гаммель-Странд, дошел даже до вала Кристиансхавна и тут увидел улицу со смешным названием – Улица над водой. Здесь сто лет назад он гулял со своей матерью. Все было сто лет назад. И нынешняя жизнь тоже. Она не имела к нему отношения.

И все же эта жизнь нравилась ему. Потому что свет ушел из его души и больше не хотел загораться. В ней не били больше легкие, светлые источники, а только глухо плескалась стоячая вода будней, ниоткуда не пришедшая, никуда не стремящаяся. И ему это нравилось. Потому что где-то в самой глубине его души было темно, и оттуда каждую минуту могли брызнуть темные источники. Но пока их сдерживала тихая рябь будней.

Так обстояли дела, и, конечно же, это была ложь, будто он от нее не зависит. Он истратил большую часть денег, которые у него были. Он не нуждался ни в чем, но все равно деньги утекали у него меж пальцев, как это вообще свойственно деньгам. Мало-помалу Вилфред стал получать в заведении небольшие суммы, помогая то в одном, то в другом деле. Адель всячески старалась, чтобы он почаще бывал в игорном зале. Тут все решало личное обаяние – гости должны были чувствовать себя как дома, ощущать, что это их собственный, совершенно закрытый клуб, что они участвуют в его жизни, получают от него доход – бессовестное вранье, но эта иллюзия весьма содействовала тому, что под прикрытием

светского общения процветал игорный дом.

Когда Вилфред вернулся домой, она курила сигарету в гостиной – это случилось редко и было дурным признаком.

– Чего мне от тебя надо? – начала она без всяких предисловий. И вскочила в запальчивости. – Да ты полюбуйся на себя в зеркало и разгляди свою душонку, свою жалкую, тряпичную, бесподобную душонку. Ты не только красавчик и мужик что надо, в тебе и бабьего ровно столько, что женщину, если в ней хоть отчасти сидит мужик, тянет к тебе и по этой причине тоже.

Он погляделся в зеркало. Не в ту минуту, а позднее. И увидел что-то расплывчато-детское, что уже исчезает под сеткой преждевременных морщин – пока еще они чуть тронули самую поверхность кожи, но расположились именно там, где им предстояло залечь. Все лицо – сплошное противоречие, гнусная рожа, он ненавидел ее и плюнул бы в зеркало, не удерживая мысль о театральности такого поступка.

Презирать самого себя? Вранье. Себя не презирают, но, похоже, он испытывал злость против тех средств, какими его наделила природа, – они так облегчают игру, что она утрачивает всякий спортивный интерес, – испытывал глубокое, хотя и противоречивое раздражение против тех своих дарований, которые холил и пускал в ход, против своего таланта к обману; а ведь некоторые усердные труженики в лепешку расшибаются, лишь бы научиться обманывать, но в результате водят за нос только самих себя.

Среди девушек в заведении была одна, которую звали Ирена, она выказывала Вилфреду некоторое дружелюбие. Адель об этом проведала, она носом чуяла, что делается за версту, и видела сквозь закрытые двери. Он как-то спросил у нее, почему у девушек такие вычурные имена.

– А чего в них вычурного? – возразила она.

– Ну все-таки – Адель, Лола, Ирена... Почему ни одну из них не зовут Мария?

– Как их ни зови, один черт, – ответила она, и ему запало в память, с каким холодным презрением она это сказала.

Кстати, знает ли Вилфред, что у него тоже есть кличка? Разговор происходил в гостиной, это была очередная мелкая перебранка. Нет, Вилфред об этом не знал.

– Вон что! Уж не воображаешь ли ты, что тебя зовут Вилфред? Как бы не так. Тебя зовут Вилли – Вилли, и дело с концом. Все тебя так называют, я сама тебя так зову про себя. А что в заведении о тебе в насмешку сложили песенку, этого ты тоже не знаешь? Нет? Ну так послушай:

В скорлупке по морю приплыл

К нам Вилли, парень ловкий.

Он так умен, пригож и мил,

Купите по дешевке.

Она спела куплет своим низким дразнящим голосом, неотрывно глядя на него из-под густых бровей, которые, казалось, вот-вот сойдутся на переносице. В эту минуту ее разбирала как будто даже не злость, а любопытство. Как он думает, кто сочинил песенку, спросила она.

Он понятия не имел.

Ирена, конечно, как же это он не знает, что она умеет сочинять стихи, а еще водит с ней дружбу, вон она какая молодчина, эта Ирена...

Но эти происходившие время от времени стычки оттеняли их счастливую семейную жизнь. Как случается в самых образцовых браках, ссоры сменялись периодами взаимной преданности, согласия и нежной, внимательной любви. Она была к тому же наделена здоровым чувством юмора, и это ему нравилось. Но однажды они оказались свидетелями рабочей ссоры в «Эрмитаже»: какой-то рабочий деятель, трясающий короткой бородкой, произнес на редкость беззубую речь, а потом молодые революционеры с кузова грузовика затянули «Над фьордами синими». Вилфред посмеялся над ними, но она не увидела в этом ничего смешного. Стало быть, она чувствовала нечто вроде сентиментальной солидарности по отношению к людям, которые презирали бы ее всей душой за ее ремесло.

В эту пору Вилфред снова вернулся к живописи. Заведение посещал молодой блондин по имени Хоген. Ночь за ночью сидел он в полном одиночестве, почти ничего не заказывая, но они поняли, что он вошел в сношения с теми в «Северном полюсе», кто занимался торговлей, каравшейся куда строже, чем торговля спиртными напитками. Хоген шутил сухо и печально – это нравилось им обоим. Как-то ночью он заговорил о некоторых проблемах композиции в живописи, которую он называл конструктивистской. Вилфреду сразу пришел на ум неоконченный холст на мольберте в мастерской на Недре-Слоттсгате, и он впервые высказал все, что думал о той самой теории, которая, с одной стороны, послужила основой для его работы, но, с другой – стала для него помехой в ту пору, когда в минуты вдохновения он мнил себя художником. Для Адели это было настоящим откровением. Она переводила взгляд с одного молодого человека на другого и вдруг нашла, что они, такие разные, очень схожи. Она не много поняла из того, что говорилось, но по одобрителюму выражению Хогена уловила, что две родственные души обрели друг друга.

Энергичная Адель тут же взялась за дело. Она распорядилась, чтобы Эгон освободил в подвале комнату, выходящую на северо-запад в противоположном от входа конце коридора. В комнате было громадное, обращенное на северо-запад окно – это была первая в мире мастерская в подвале.

Там после разговора с Хогеном Вилфред написал три своих картины. Все три на один и тот же мотив – уступ, отделяющийся от небольшого нагорья на побережье Северной Зеландии. Адель сидела в траве под этим уступом в дневные часы, когда была свободна, и никак не могла понять, что он такого нашел в этом пейзаже. А Вилфред писал небольшой фрагмент уступа. И он представлял перед ней в новом обличье, в трех новых обличьях – в виде кубов и конусов, смотря по тому, как ложились на его неровную поверхность солнечные блики. А потом, когда в нелепой мастерской Адель увидела картины, уже почти законченные, она, казалось, тоже прониклась тайным пониманием этого поэтического построения на мотив – каменный уступ под косыми лучами солнца.

Да, картины были почти закончены. Он отложил их, все три, полагая, что снова вернется к ним. Но все три увяли под его кистью на грани того, что могло бы выразить его внутреннее видение, которое так долго и мучительно искало выхода.

Хогену он картин не показал. Да тому и вряд ли это было бы интересно. По сути, он был поглощен самим собой, хотя и прикидывался, будто парит в абстрактных высотах, интересуясь чужой живописью. Но в общении это был славный малый. Адель навела справки. Он оказался сыном богатого землевладельца из Северной Зеландии. Во время войны он провел два года во Франции. В Копенгагене, возле озера Черной дамы, у него была маленькая квартирка. Вилфред с Аделью раза два заходили туда под утро после закрытия заведения – в этом безалаберном раю несколько картин стояли повернутые к стене. Хоген не показал им картин. Ему было безразлично их мнение о его живописи: он пригласил их к себе просто потому, что нанюхался кокаина, не мог уснуть и боялся одиночества.

Лето близилось к концу, в Европе чувствовалось приближение мира. Вилфреду пришло письмо от дяди Рене, он с большим запозданием получил его на почте на улице Кёбмагергаде, куда оно было адресовано до востребования. Он не часто наведывался на почту: ему редко писали. В письме дядя Рене с затаенным волнением сообщал о том, что, похоже, обстоятельства должны перемениться и в мире, а для него это означало – во Франции, все наладится. Это письмо было вестником радости, посланным близкой душе, но Вилфред прочел его в толпе на углу площади Культорв, сгорая со стыда. Ему было стыдно не то оттого, что письмо дяди не пробудило в нем настоящего отклика, не то оттого, что он плохо следил за газетными новостями. В один прекрасный день газеты сообщили, что перемирие – вопрос двух-трех недель. И в нейтральном мире с его ничтожными занятиями на мгновение все как бы притихло.

Вилфред с Аделью почти никогда не говорили на эти темы, а если случалось, то вскользь, проглядывая газету. Но в эти дни она казалась подавленной, легко раздражалась, а однажды утром, когда они ехали домой – в это утро они в последний раз были у Хогена, – сказала вдруг таким тоном, точно они пришли к этому выводу после совместных раздумий:

– Так ты не против почаще бывать в игорном зале?

Он смущенно покосился на нее.

– По правде сказать, эта игра...

Но она оборвала его:

– Я не говорю, чтобы ты играл, разве только немного, для вида. Другие доходы... – И она безнадежно махнула своими красноречивыми руками.

А в общем Вилфреда это даже забавляло. Он и сам обратил внимание, что в «Северном полюсе» заметна какая-то тревога. Седеющие мужчины в смокингах больше не украшали общество своим присутствием. Вместо них зачастили мужчины помоложе, нервные юнцы, которые пили только для вида и весьма скупно тратились на девиц – они их мало интересовали. Тот, кто был в заведении своим человеком, не мог не понимать, чего ищут эти молодчики – булавоочные головки зрачков в мутных глазах говорили сами за себя, как и размашистые движения негнущихся, растопыренных пальцев... За столиками в тусклом свете ламп разговоры становились все более возбужденными, и Эгону все чаще приходилось вмешиваться, когда кто-нибудь из этих господ начинал размахивать руками и говорить слишком громко. Эгон действовал незаметно и решительно. Но обслуживающий персонал и девушки теряли уверенность; им полагалось всегда находиться в движении – только при этом условии их держали на работе, у них всегда должен был быть деловой вид, будто они спешат откуда-то и куда-то. Их держали не для того, чтобы они подпирали стены.

А им все чаще приходилось подпирать стены. У молодых клиентов бывали часы подъема, тогда все шло хорошо, и в потемках за столиками визитные карточки с адресами тетюшек Адели переходили из рук в руки. Но такие часы выпадали редко и длились недолго. Ночами в заведении царил тревога и суета, все чувствовали неуверенность и страх. Адели не всегда удавалось справляться со своими нервами. Ее гневные вспышки порой напоминали истерические припадки, теперь она обрушивалась уже не на Вилфреда, у нее бывали перепалки с девушками или с официантами. Необузданные посетители создавали новые проблемы.

Только одна Мадам проплывала по залу с невозмутимо аристократическим видом. Она показывалась редко, но всегда как бы по условному сигналу – когда неотесанный элемент грозил одержать верх, тогда она проплывала по залам, приковывая к себе все взгляды. Проплыв таким образом мимо посетителей, она исчезала в двери, за которой находился игорный зал, и случалось, что за ней тянулась вереница желающих попытать счастья в игре

или, во всяком случае, переменить обстановку.

Адель попросила его об услуге. Вилфред, в общем, не возражал. Он устал от мелькания света, от мелькания девиц, от всего этого движения, которое призвано было скрыть наступившее затишье. А затишье предвещало бурю.

И ему надоело проходить через «салон», где девицы отдыхали, вытянув усталые ноги, усталые от того, что им приходилось бродить взад-вперед, разыгрывая занятость, под перекрестным огнем взглядов, в котором уже не было жара.

Ему прискучило видеть, как Лола сидит со своим сынишкой, засыпая мальчонке глаза пеплом, поникшая от усталости и безрадостного служения в храме радости.

12

Вилфред в бешенстве глядел на рулетку.

Было что-то бессмысленное в этом метании шарика, повинующегося таинственному закону – самые большие оптимисты среди игроков воображали, будто они его знают. Безнадежный взгляд, который появлялся у них каждый раз, когда им приходилось убедиться, что этот закон понятен им не больше, чем все прочие законы, внушал Вилфреду какое-то усталое отвращение. А еще отвратительнее была ребяческая страсть, снова вспыхивавшая в них, едва появлялся очередной ничтожный шанс на выигрыш. Разинутые слюнявые рты, тупые взгляды. Или жадные рты с опущенными уголками губ и глаза, в дурацкой надежде неотрывно следящие за каждым взлетом непоседы шарика.

Вилфред понемногу узнавал игроков – во всяком случае, большинство из них. Это были не те небогатые повесы, которые играют ради азарта или надеясь вопреки здравому смыслу отыграть хотя бы часть того, что потратили за вечер. Это были алчные люди, мечтавшие разбогатеть, или те, кто хотел поправить свои расстроенные дела. Выражение лиц было Вилфреду знакомо – такие лица были минувшей зимой у него на родине у сыновей солнца, когда они потихоньку стали катиться под гору, пытаясь уцепиться за последние уступы света и надежды. С души воротило от того, что все повторяется: и люди, и их поведение.

Попадались среди игроков и молодчики похотелее, таких Вилфред прежде не видел в заведении, это были мужчины с громадными кулаками, сжимавшие колоду карт так, словно это был нож. Они играли с угрюмым видом в одну и ту же игру. Правила ее были немудреные. Банк держали по очереди, и ставки росли без помощи возлияний или порошков. Кажется, никто толком не знал, кто из этих типов и многие ли из них были своими в заведении. Вилфред, во всяком случае, не знал, а по лицам угадать было невозможно.

Но иногда случалось, что эти люди подыскивали себе партнера, при этом они походя, почти не разжимая губ, роняли скупые слова, но все понимали, о чем речь. Этими недобрыми словами они поминали тех, кто однажды ночью исчез, пройдя через муки ада, – решительные люди позаботились, мол, о них и о том, что они себе присвоили.

Может, исчезнувшие игроки были шулерами, может, все они шулера, когда им это удастся, хотя каждый вечер они начинали играть новенькой, запечатанной колодой. Вилфред ничего в этом не понимал – он не знал многих правил игры.

Но как-то ночью картежникам не хватило партнера, и Вилфред подошел к их столу. Его уже знали и тотчас пригласили играть. Перед каждым на столе лежали деньги, так у них было

заведено: прежде чем садиться за карты, ты должен предъявить наличные. Здесь не любили прерывать пулюк оттого, что не хватило денег.

Все шло хорошо, пока не подошла очередь Вилфреда метать банк. Он выигрывал почти при каждой сдаче, но, когда ему пришлось стать банкометом, все проиграл. У них была особая система прикупать. Вилфреду почудилось, что ее используют только против него. Казалось, его окружает стена единства, – так было, пока он не спустил все, что имел. Здесь никакая осторожность не помогала.

Но стоило стать банкометом его соседу, Вилфреду опять начало везти. Ему сдали хорошие карты, он удачно прикупал. Игра не слишком его занимала, но ему хотелось выиграть, да ему уже и нечего было проигрывать. Игроков было шестеро, и он с ужасом ждал, когда очередь метать снова дойдет до него. При следующей сдаче ему опять повезло. Он почувствовал невнятный страх. Он слышал рассказы об игроках-профессионалах, которые дают новичкам выиграть, чтобы подбодрить их, а под конец обирают дочиста. Он не знал, то ли происходит сейчас между ним и его партнерами. Не знал, какие есть способы жульничать и сговариваться, – лица сидевших за столом были непроницаемы.

До того как банк перейдет к нему, оставалось четыре сдачи. Ему снова повезло. Куча денег перед ним росла. Теперь здесь лежали уже крупные купюры. Два раза он удваивал ставки. Его начала бить дрожь.

Еще две сдачи, и настанет его черед, его разорение. Если бы можно было найти предлог закончить игру... Он снова оглядел своих партнеров, окутанных табачным дымом, и у него мелькнула догадка, что именно такой выход избрали те, кто исчез, те, о ком говорили, понизив голос.

Он бросил быстрый взгляд на свои руки – не дрожат ли они. Нет, не дрожат. Он попытался держать карты той же хваткой, что его партнеры. Но его руки отличались от их рук. Не было на их тыльной стороне длинных черных или рыжих волосков, не было обломанных ногтей, свидетельствовавших о насилиях и неудачах, не было шрамов.

Вилфред выиграл. Выиграл предпоследнюю сдачу. Перед ним лежали банкноты – в стопках и кучками, крупные купюры и помельче, тысячная бумажка приковала его взгляд. Но он не придвигал их к себе – он знал, это дурная примета. Оставалась еще одна сдача, потом банк перейдет к нему. Он видел, как разорение змеей подползает к нему по столу, словно все эти волосатые руки составляли единое ползучее чудовище, которое подкрадывалось все ближе, ближе, чтобы сожрать его живьем.

И тут послышался шум, кто-то из игроков, оторвав взгляд от карт, прислушался. Раздался звон разбитого стекла, из гостиной донесся пронзительный визг, затем короткое властное слово: «Полиция». Свет погас.

Вилфред совершенно отчетливо сознавал все, что он делает в этот миг, взгляд его был ясен. Он схватил деньги и, нырнув под стол, пополз по полу. Случилось это в то самое мгновение, когда погас свет. Где-то затрещала высаженная дверь.

Он ощутил резкую боль: кто-то наступил ему на спину, и он, как мышь, юркнул в маленькую дверцу, которая вела к коридору перед чуланом-мастерской. В следующий миг он, весь дрожа, уже стоял в коридоре. Обернувшись, он увидел в дверную щель, что в игорном зале вновь вспыхнул свет. Услышал крик: «Всем оставаться на месте!», быстрые шаги, падение какого-то тела. И все смолкло.

Все смолкло в этом доме, где правилом было, чтобы из комнаты в комнату не доносилось ни звука, но каждое помещение было при этом наполнено тихим жужжанием, гармонизировавшим с приглушенным светом.

А теперь все умолкло. Только в мастерской он опомнился и обеими руками стал распихивать по карманам деньги. Он не стал пересчитывать их, даже не пытался угадать, сколько их может быть.

Тут он снова услышал короткую команду. Он подошел поближе к двери и прислушался. Это девиц вызывали из их жалкого «салона», где они сидели, вытянув усталые ноги, чтобы отдохнуть от непрерывного мельканья по залу. Теперь их, очевидно, собрали в ресторане. Он так и представил себе, как их загнали в самый узкий конец зала, перед стойкой бара; ноги у них болят, глаза испуганные. На них льется беспощадный свет. Так и стоят лицом к лицу две группы – стражи закона и отверженные. Он услышал гудок первого отъехавшего полицейского автомобиля. Стало быть, кого-то уже арестовали. Еще немного, и полицейские наткнутся на него. Автомобиль отъехал от главного входа. Может быть, черный ход...

Он тихонько выскользнул в холодный коридор, отделявший мастерскую от ресторана. Он понимал, что нельзя терять ни минуты. Здесь ему было слышнее, что происходит. Картежников, видно, собрали и вывели из зала. В игорном зале, наверное, никого не осталось, но туда он не решался войти. К тому же это лишь приблизило бы его к маленькой лесенке, по которой арестованных выводили на улицу.

Он наудачу побрел по темному коридору. Это был обыкновенный погреб, в котором пахло картошкой. Наткнувшись на дверцу в противоположном конце, он долго прислушивался. Потом тихо приоткрыл ее. Перед ним оказался маленький кабинет или нечто в этом роде. Вдруг на него пахнуло духами Мадам. Запах исходил от шелковых портьер, скрывавших дверь напротив, от ковра, от мягкого стула, одиноко стоявшего перед маленьким шкафчиком на столе.

Ясное дело, картотека – это ведь кабинет самой Мадам. Открыв шкафчик, Вилфред сгреб все карточки, которые попались ему под руку. Это были отрывные членские билеты, вроде той карточки, какую заполнил он сам. Теперь он действовал без раздумий, словно повинаясь инстинкту. Карточки он сунул за пазуху. Ему почудился шум со стороны коридора перед мастерской. Испугавшись, он перестал соображать, что делает. Он шагнул по ковру к двери напротив. Заглянул в нее – за ней оказался «салон» девиц. Пустой и холодный, с розовыми обоями и потертым диваном с бахромой. Под потолком реял дымок от сигарет.

И тут он увидел ребенка. Малыш лежал в углу дивана, словно брошенный впопыхах. На миг страх Вилфреда как рукой сняло. Вилфред видел себя как бы со стороны и действовал, будто повинаясь чьей-то команде. Он подошел к ребенку, схватил его и, не прислушиваясь больше, двинулся к двери, которая вела в коридор перед уборными у входа. Он успел мельком увидеть себя в зеркале – себя и ребенка. И в первый раз поддался панике. Может, вернуться и бросить ребенка там, где он его нашел?

Слишком поздно. Они, наверное, уже в мастерской. А может, уже в кабинете Мадам. Наверняка они поставили людей и у черного хода.

Да, он впал в самую настоящую панику. Он наугад пробежал через дамскую уборную слева. Стены здесь были выложены светло-зеленой плиткой. Но дальше плиток не было. Здесь снова тянулась сырая, неоштукатуренная стена погреба. Впереди в темноте виднелось какое-то углубление.

Он бегом вернулся назад, потушил в уборной свет, а потом ощупью стал пробираться к углублению.

Там оказалась дверь, она была не заперта. Вилфред находился в большом помещении – он ощутил это по воздуху. Где-то сочилась вода. Он пошарил в поисках выключателя, но не нашел его. Тогда он зажег спичку и, прикрыв ее ладонью, осторожно посветил вокруг. Он стоял в обыкновенном подвале, служившем прачечной, с выходами на три стороны. Он

выбрал тот, что был прямо посередине и уводил от обеих наружных дверей. Должно быть, он находится теперь под другим домом, а может быть, в дальней части того же самого дома, но со стороны, обращенной к северу. Ребенка он, как сверток, держал под мышкой. Тот не издал ни единого звука.

И тут до Вилфреда донесся запах сыра – тот самый запах, который он почувствовал в первый раз, когда Эгон впустил его в заколдованный мир. С тех пор он забыл про этот запах. А теперь пронзительный дух становился все резче по мере того, как он пробирался вперед в потемках. Еще немного, и Вилфред оказался на складе сыра. Он зажег спичку и увидел, что с двух сторон громоздятся штабеля сыра. Между ними были свободные перекрещивающиеся проходы. Вилфред быстро обдумал положение. Ребенок по-прежнему не издавал ни звука. Уж не умер ли мальчик? Но тельце ребенка казалось живым и теплым. Стоя в темноте между грудями сыров с ребенком на руках, Вилфред вдруг почувствовал, как его охватило знакомое веселое возбуждение: во всех жилах и членах пробудилась та сладкая удаль, которая переполняла его энергией и трепетным счастьем, – опять он попал в немыслимую историю.

В конце среднего прохода пол поднимался вверх, точно сходни, – прогуливаясь однажды мимо такого склада, Вилфред видел похожее устройство: сыры втаскивали на эти сходни и по ним катили вверх на улицу.

Но дверь на улицу была заложена и заперта. Руки Вилфреда нащупали тяжелые железные засовы. Он приложил ухо к двери и прислушался. Все было тихо – ни криков, ни шагов сторожа. Где-то вдали послышалась сирена отъезжающего автомобиля.

И снова к нему начал подкрадываться прежний страх. Он уже не так отчетливо представлял себе дом, со всеми его ходами и выходами. Может, он опять оказался рядом со своей мастерской? Впрочем, размышлять бесполезно. Они уже в пути, эти люди, они идут, пригнув головы, с карманными фонариками и ломиками в руках, они ищут свою добычу в сотнях тайников огромного притона разврата, который они обнаружили и раскрыли, наивно полагая, что уж теперь-то нанесли уголовному миру большого города решительный удар.

Вилфред спустился по сходням вниз и нашел окно, выходящее на улицу. Оно было достаточно велико, чтобы он, при его худобе, мог в него пролезть. Может, это и выход. Другого у него, во всяком случае, не было.

Бережно положив ребенка на пол, Вилфред из небольшой груды выбрал голову сыра. Он подкатил ее к окну, за ней другую, потом третью. Потом взобрался на них, приставил локти к стеклу и надавил.

Струя освежающего ночного воздуха ворвалась в окно. Он на мгновение прислушался, потом стал извлекать из рамы осколки стекла так, чтобы образовалось отверстие пошире. Потом принес ребенка и, снова взгромоздившись на сыры, осторожно просунул малыша в окно. Ребенок слабо пискнул, продолжая крепко спать. И тут Вилфред вспомнил, что мать давала мальчику на ночь успокоительное. Если бы он хоть раз заплакал, ей не позволили бы держать его при себе. Только почувствовав, что тельце ребенка коснулось тротуара, Вилфред выпустил его из рук.

Он уже собрался последовать за ним, когда вспомнил вдруг о деньгах и карточках. Если его схватят с такими крупными купюрами – ему конец. И карточки! Он горько сожалел, что прихватил их с собой. И для чего? Но каяться поздно. Ребенок, лежавший на тротуаре, в любую минуту может заплакать. И чего ради он подобрал мальчишку? Просто мания у него какая-то спасать людей! Он скривил гримасу в темноте – ладно, ребенок послужит ему алиби. Мужчина с ребенком на руках ночью – трогательное зрелище. Но надо отделаться от крупных купюр и карточек. Соскочив с сыров, он зажег спичку. Может, спрятать их за штабелями сыров в глубине? А вдруг сыры увезут? Все равно, выхода нет. Спичка в его ладони догорела. Он,

согнувшись, пробрался между штабелями сыра и сунул карточки и деньги в пространство между стеной и сырными головами. Потом, как кошка, прокрался назад к окну. Оттолкнулся ногами и стал протискиваться наружу. Он спиной чувствовал, как по коридорам подвала теперь уже целеустремленно, в погоне за ним, несутся, чуть пригнув голову, полицейские – держи его, держи! Но когда он очутился на тротуаре с ребенком на руках, вокруг не оказалось ни души, не слышно было ни звука – только его собственная кровь ритмично пульсировала в висках и на шее. Осторожно приблизив ребенка к своему лицу, он почувствовал его спокойное дыхание. Тогда он стремительно бросился через улицу. Теперь он опять сообразил, где находится. Чтобы попасть на улицу Нансена, надо было дважды пересечь широкие проспекты. Это ему удалось. Летняя ночь была темной, небо заволокли тяжелые тучи. Он перебежал от угла к углу, где мог, прячась в подъездах, при этом его не покидало ощущение, что он забавляется веселой игрой.

Но когда он добрался до дома тетки Адели, веселое настроение вдруг испарилось. Охоту играть как рукой сняло. Он еще раньше рассчитал, что в дом на Гаммель-Странд соваться нечего – полиция наверняка уже там побывала. Но он не подумал, что Адель носила адреса своих «тетушек» в вышитой сумочке. Так что, может быть, полицейские пронюхали уже и про улицу Нансена, и про Гаммель-Мёнт – наверняка они уже до всего докопались или вот-вот докопаются. Стражи закона знают, как вести охоту на людей.

Он остановился на ближайшем углу, мысли вихрем вертелись в его голове. Глупо все-таки считать, что полиция действует столь молниеносно. Прежде всего им надо, конечно, выяснить все, что касается самого заведения, чтобы пополнить досье материалами, которые оправдали бы полицейскую акцию. Газеты в здешней стране беспощадны, когда нарушается неприкосновенность жилища.

Но едва Вилфред очутился в подъезде под той комнатой, где он провел свою первую копенгагенскую ночь, он ощутил, как опасность сгущается вокруг него, словно сама августовская ночь была врагом, сплошь состоящим из недремлющих глаз и цепких рук.

Он тихонько прокрался в подъезд с ребенком на руках. Малыш опять затих, но глаза его были открыты. И вдруг Вилфред остановился как вкопанный, услышав голоса. Они доносились с лестничной клетки этажом выше – очевидно, оттуда, где когда-то от стены, освещенной «венетианской» лампой, отделилась женщина с зеленоватым лицом. И вдруг перед ним, будто в озарении, предстало все: лестничная площадка наверху, и скудно обставленная комната, и залы «Северного полюса», откуда вымело все следы радости, и рыщущие по ним полицейские, и город вокруг, и спящие за занавешенными окнами люди, и он сам, точно крадущийся зверь, в темном парадном, с ребенком на руках – два человека в ночной тьме...

Это продолжалось минуту, потом он скользнул к подножию лестницы, чтобы подслушать, что говорят. Один голос принадлежал хозяйке, она явно против чего-то возражала.

– Говорю тебе, я останусь здесь, по вкусу тебе это или нет, – оборвал ее мужской голос.

Мужской голос. Он был Вилфреду незнаком, но звучал враждебно. И тут раздался другой голос, низкий и грубый.

– Ты что, не понимаешь, старая! Он, сука, охмурил ее, а наших парней обчистил. Он всех нас выдаст...

Это был голос Эгона.

Осеннее утро прорезал вой фабричного гудка.

Гудок вывел Вилфреда из оцепенения: его могли обнаружить в любую минуту.

Он бесшумно выбрался из парадного и, прижимая к себе ребенка, побежал по улице в обратном направлении. Холодная усмешка застыла на его губах.

Теперь за ним гнались с двух сторон: он стал дичью, которую обложили охотники, ему не поздоровится, в чьи бы руки он ни попал.

На первом же перекрестке он свернул, ища улицы поуже, где легче укрыться за домами. Потом, снова сменив направление, двинулся на северо-восток. Светлая августовская ночь была на исходе. Небо над Зундом стало золотисто-серым. Теперь гудки пробуждающихся фабрик перекликались друг с другом.

За ним гнались с двух сторон. Он рысцой трусил по улицам, осознав вдруг, что значит быть гонимым. Усталость давала знать о себе жаркими приливами крови, ребенок стал оттягивать руки.

В глаза ему бросился маленький трактир, он был открыт. Усталость и голод властно заявили о себе – они пересилили страх. В кафе сидели двое молодых рабочих и шофер. За стойкой стояла добродушная женщина, которая тотчас принесла чашку горячего молока для ребенка. Она была из породы славных людей – из тех, что не задают вопросов. Женщина захлопотала над ребенком, помогла Вилфреду его накормить. Сам он жадно проглотил несколько толстых ломтей хлеба, мясную запеканку с луком и несколько чашек горячего кофе. Потом на мгновение вздремнул с ребенком на коленях, и снова ему казалось, что он погружается в бушующие волны, но на этот раз волны кишели цепкими руками – они вот-вот схватят его. Он проснулся, вздрогнув, когда шофер вышел из трактира: Вилфред боялся шоферов. Сунув руку в карман, чтобы расплатиться, он вдруг наткнулся на большие ассигнации и жесткие карточки. Он похолодел – стало быть, в подвале второпях он отделался не от всех карточек и не от всех крупных купюр.

Когда он оказался на улице, уже совсем рассвело. Он зашел в лавочку, купил еды и молока в пакете. В каком-то невзрачном магазинчике приобрел пеленки и одеяло для ребенка, и погремушку, которую до поры до времени сунул в карман. Каждый раз, когда приходилось расплачиваться, он осторожно рылся в карманах – только бы не вытащить крупные купюры и злосчастные карточки. На беду, некуда их выкинуть...

Потом он направился через парк к пристани для прогулочных пароходов. По дороге он вздремнул на скамье, на которую присел, чтобы завязать шнурок ботинка. Он сам не знал, куда идет, только знал, что к пристани; в этом движении наудачу перед ним мерцала смутная цель – подальше от людей, от искушения зайти в какой-нибудь дом. Было еще слишком рано, слишком рано для чего бы то ни было. И однако – как бы не оказалось слишком поздно.

Едва он дошел до конца парка, как тотчас увидел ту самую яхту: голая, лишенная снастей, она стояла посреди бухты и без парусов и прочего убранства казалась одинокой и заброшенной – не лебедь среди лебедей, а скорее, маленький гадкий утенок среди роскошных кораблей, еще стоявших здесь, несмотря на конец сезона. Море было свинцово-серым. Собирался дождь.

Постучав в маленький сарайчик, Вилфред разбудил сторожа и представился ему как друг законного владельца норвежской яхты «Илми». Он держался дружелюбно, но был немногословен, этакий любезный молодой спортсмен, отец семейства, который предпринял утреннюю прогулку ради охраны интересов своего земляка. Сторожу нечего было возразить,

он посадил Вилфреда в плоскодонку и стал грести к середине бухты. Вилфред расспрашивал о яхте и дал понять, что она попала в руки отъявленных грабителей. Сторож засмеялся, вспомнив о полицейской расправе в то весеннее утро. Он рассказал, что убрал паруса на берег, а шлюпка в целостности стоит у самого причала. Вилфред щедро вознаградил его за труды, попросив, чтобы тот подогнал шлюпку к яхте. Он сам не знал почему, но ему не хотелось быть отрезанным на яхте. Почувствовав в руке деньги, сторож не стал возражать. Он проводил Вилфреда на борт, отпер ему каюту, а потом, подогнав к яхте шлюпку, привязал ее к корме.

И тут Вилфреду стало плохо – перед глазами все поплыло. Он ощупью нашел заржавевший примус, на полке над койкой обнаружил остатки спирта и керосина. Потом согрел воду в жестяном тазу и, пока она нагревалась, раздел ребенка. Завернув грязную и мокрую одежду в морскую карту, которая лежала на той же полке, он привязал сверток к тяжелой рукоятке от рифовой лебедки. Сверток мгновенно пошел ко дну. Потом он вымыл и накормил ребенка. Малыш тихонько захныкал, но, согревшись и насытившись, утих. Только тогда и Вилфред улегся рядом с ним на койку и заснул мертвым сном.

Едва он проснулся, его охватила тревога – ему всюду чудились люди. Но, выглянув наружу, он увидел лишь мутную гладь залива под моросящим вечерним дождем: вокруг не было ни души. Он привел в порядок себя и ребенка. Руки у него дрожали, нервное напряжение трепетом пробегало по всему телу. Мелкими взмахами весел он подгрел на шлюпке к берегу и поручил сторожу приглядывать за яхтой.

Утром Вилфред не решился взять такси – шоферы слишком уж услужливые свидетели. Но тут он не устоял против искушения и попросил сторожа вызвать машину.

Шоферу он назвал адрес пансионата во Фредериксберге. Он вспомнил о нем, едва проснулся: отель-пансионат. Вилфред выбрал его, соблазненный тем, как выглядит вход – это был просвет в зарослях дикого винограда. Вид у пансионата был на редкость мирный. В машине Вилфред пытался сидеть так, чтобы шофер не видел в зеркале его лица. Он расплатился с ним, низко наклонив голову, торопливо вошел в сад и стал подниматься по лестнице под аркой виноградных лоз. В пансионате оказалась свободной торцовая комната, выходящая на улицу и в маленький уголок парка. Вилфред заплатил за неделю вперед, хотя от него этого не требовали. Хозяева были славные люди: они ни о чем не расспрашивали. Ему принесли в комнату еду и поставили кроватку для ребенка. Вилфред с самого начала почему-то заговорил по-датски и назвался первым пришедшим в голову именем. Наверное, это было глупо, но он действовал впопыхах.

При первой возможности он поспешил выйти – купить вечерние газеты – и в комнате жадно набросился на них. Все первые страницы занимало описание ночной облавы. Была также фотография – прибытие в полицейский участок. С газетной полосы на него смотрели растерянные лица, Адели среди них не оказалось. Тут были перепуганные гости и несколько девиц. Он узнал Ирону, но Лолу, мать ребенка, не нашел. Вилфред торопливо пробежал газетные столбцы. Журналисты не стеснялись в выражениях. Одна газета утверждала, будто была перестрелка. Мелькали слова «притон», «банда». В одном месте было упомянуто о кокаине и азартных играх – словом, журналисты старались вовсю. И вдруг с последней страницы буквы рванулись к нему, словно цепкие руки. Списки членов клуба найдены не были, писала газета; картотеку, как видно, похитили. Подобного рода материал, писала газета, – страшное оружие в руках шантажиста. Вилфред криво усмехнулся – недурная мысль, совсем недурная... Газета писала о людях из лучшего общества, о черной бирже и девицах легкого поведения. Можно было подумать, что разоблачили самых страшных преступников в мире. Написано было и о Мадам – пожилой даме, которая, как видно, играла главную роль в этой шайке. И ни слова об Адели. Ни слова о некоем исчезнувшем друге дома. Только утверждение, что банда, несомненно, насчитывала еще многих участников и что полиция ведет расследование.

Все это было очень похоже на правду и в то же время – вранье. Все, что было написано, в какой-то мере соответствовало действительности, кроме рассказней о перестрелке. И все же это была ложь – они писали не о «Северном полюсе», не о его девушках, не о гостиних с тусклыми красноватыми лампочками и не об игорном зале с его резким светом. Вилфред поймал себя на том, что испытывает нечто вроде привязанности к этому месту, к Адели и ко всем, кто там обретался. Неправда, что это была банда, совращавшая порядочных граждан. Они на свой лад трудились в поте лица, а те, кто туда ходили... так уж устроены люди, что их тянет к чему-то потаенному в этом мире, где все слишком на виду...

Вилфред все еще не разделался с остатками карточек. На борту «Илми» он вспомнил о них, но потом забыл, во всяком случае, не догадался спустить их за борт. В пансионате не было печи, только два радиатора. Когда он ходил за газетами, он искал глазами, где бы их выбросить, но не нашел подходящего места. На улице ему казалось, что все за ним следят. Дома было спокойнее. Он уложил ребенка в постель, а сам сел у окна и стал глядеть на дождь. Утром он мог бы уйти. Оставить ребенка и уйти, уехать домой – на родину... Но вдруг его глазам представилась другая картина: Селина полусидит-полулежит на скамье в хижине, а в окровавленной слизи лежит сероватый комок, он снова ощутил его в своих руках. И опять это вечное чувство совершенного предательства. словно нынешний мальчонка был искуплением какой-то его вины. А почему бы ему не предавать? Что он, образец добродетели? Он вяло усмехнулся. А тут еще деньги – крупные засаленные купюры, которые припрятаны в тайнике, в подвале. Их ему тоже не хотелось «предавать».

Но при этом Вилфред знал, что было что-то еще, другое, третье или четвертое, что-то, чего он полностью никогда не поймет, – какая-то роль, что ли, которую он должен доиграть до конца. Точно некое высшее существо приказывает ему перебежать от окопа к окопу в войне, в которой он не собирался участвовать, но которая настаивает его повсюду...

Зря он выдал себя за датчанина... Это было первое, что он подумал, проснувшись на другое утро. Полицейские власти разбираются в фамилиях. К тому же рискованно все время говорить по-датски – того и гляди, забудешься и выдашь себя. Едва спустившись к завтраку, он почуял опасность. Добродушная хозяйка и две ее служанки хотели знать, как зовут мальчика.

– Рене...

Ответ вырвался у него прежде, чем он успел подумать. «Рене! – приговаривали они, тиская ребенка. – Какой славный малыш, такой спокойный». Да, мальчик и вправду спокойный. Что, если он оставит его ненадолго, пока сходит за газетами?

Он накупил целый ворох газет. В утреннем выпуске ничего нового не сообщали. Появились только некоторые подробности: писали, например, о куклах, которые были найдены повсюду, была помещена фотография одной из них, она смотрела на Вилфреда с газетной страницы своим печальным и в то же время хитрым взглядом. И еще писали о тех, кто действовал за кулисами банды. Но в общем, ничего нового не сообщалось. Полиция просила тех посетителей, кто ушел из заведения до начала облавы, явиться в качестве свидетелей – им ничто не грозит, но в ходе расследования могут обнаружиться ранее совершенные преступления, и прежде всего торговля наркотиками. Ночные посетители были уже освобождены, некоторые вынуждены были дать подписку о невыезде.

Да, новостей было немного. Но все же они были. Стало быть, кое-кто уже разгуливает на свободе. Всегда кто-нибудь да окажется на свободе. На свободе был Эгон и тот незнакомец, а может, и те, кто были партнерами Вилфреда в последний вечер. Они охотятся за ним в эту минуту, и не только ради денег, но ради того, чтобы он молчал. Молчания его они будут добиваться любой ценой. Спать ему больше не хотелось. Целый день он просидел у большого, выходящего на улицу окна, неотрывно глядя на дождь. Два раза в темноте ему

показалось, что среди деревьев маячат какие-то фигуры, какие-то люди неуверенно поглядывают на дом. Он притопывал ногой по полу, не зная, что предпринять. Его тревога передалась ребенку, который стал уныло, жалобно хныкать. Вилфред наклонился над кроватью в полной растерянности.

Все повторяется снова – обстоятельства опять поймали его в плен, как бывало в детстве, как бывало всегда. Не успел он понять, что к чему, а сеть уже оплела его. У него вдруг больно заныла левая рука. Это осталось с того дня, когда он висел на волоске, когда, казалось, еще немного – и ему конец. Но он уцелел. Ведь он как пробка – не тонет в воде независимо от своей воли, ореховая скорлупка... Он злобно усмехнулся. Теперь-то ему, во всяком случае, не остается ничего другого, как плыть по течению, ему, как и всем другим, оставшимся в тени. Загнанный зверь уползает в нору, плохо только – забиться в нору и видеть, что выход из нее закрыт сетью, которая вот-вот опутает тебя.

На шестой день он встал спозаранку и попросил одну из служанок присмотреть за мальчиком. Он пойдет купить коляску. Но оказалось, что в доме есть старая детская коляска, с него возьмут недорого. Он купил коляску, женщины помогли уложить в нее ребенка. Всюду к нему проявляли участие и безотказную доброту. А эти ласковые взгляды! Какими холодными и беспощадными станут они в ту самую секунду, как что-нибудь выйдет наружу.

Он наудачу побрел по направлению к Беллахей. У него не было определенной цели – он просто хотел оказаться где-то на окраине, где нет таящих угрозу домов и людей, которые могут оказаться загонщиками. Теперь газеты сообщали лишь мелкие подробности, связанные с облавой. Может, охоту приостановят, может, тревога уляжется, лишь бы успокоить тревогу в душе.

Дождь прекратился, был ветреный сентябрьский день, полный зловещих предзнаменований и уже по-осеннему короткий. Вилфред вдруг свернул с намеченного пути и двинулся правее. Так он дошел до холмов Биспебьерга. Здесь собирались построить большую грундтвигианскую церковь. По другую сторону холмов склон спускался к болоту. Здесь Вилфред однажды гулял с Аделью, они еще вместе ужасались, глядя, как развивающийся город атакует природу. Теперь эта городская окраина лежала перед ним во всей своей красе. Она была завалена отбросами и строительным мусором. В одном месте из земли торчал крашенный под бронзу гипсовый ангел с отбитым носом и беззащитным взглядом пустых глазниц. Кое-где уже стояли бараки из гофрированного железа, фанеры и дранки. Цементная пыль и обрывки бумаги завивались мелкими вихрями. Вилфред торопливо огляделся, но склон казался вымершим. Он нашел пустую консервную банку с искореженной крышкой. Потом лег на спину среди мусора и долго лежал не шевелясь. Потом незаметными движениями вытащил из карманов оставшиеся карточки и осторожно подержал их перед собой так, чтобы, скосив глаза вниз, можно было их разглядеть: он впервые увидел имена – они ему ничего не говорили.

Кто знает, не подсматривают ли за ним из убогих хибарок. Все так же лежа, он нащупал руками маленькую ямку, разрыл ее поглубже. Потом сунул туда банку с карточками и засыпал землей. Потом встал. Он запомнил приметы.

При этом он все время думал: «Зачем я это делаю?» Придя сюда, он вначале сам не знал, как он поступит. Никого бы не удивило, если бы он разжег из карточек маленький костер. На склоне холма там и сям тлели маленькие заброшенные костры. Но у него было смутное ощущение, что эти карточки дают в руки власть, с которой ему не хотелось так просто расстаться. Были еще карточки в городе, в подвале. И деньги. При случае он их возьмет. Когда суматоха уляжется. Впрочем, она уже улеглась. При случае он их возьмет.

Но, вернувшись в пансионат и развернув газеты, он так и обмер. В преступном гнезде, в чем-то вроде чулана, найдены три картины. Полиция выставила их в магазине

художественных изделий в центре города в надежде, что, может быть, специалисты установят, кем они написаны, или что автор объявится сам. В сложном, запутанном клубке, каким представляется это дело, нельзя пренебречь ни одной нитью. Все три газеты хором утверждали, что картины весьма своеобразны, что они содержат нечто новое и лишь немногие датские художники могли бы создать подобные холсты; журналисты пытались даже назвать наугад два-три имени – само собой, это не значит, что вышеупомянутые лица имеют хоть какое-нибудь отношение к данному притону.

Вилфред подумал о дяде Рене. Сначала, когда он прочел газету, его охватило смятение, потом он обрадовался. И снова подумал о дяде Рене – то-то бы он возгордился! Ведь это он любовно развивал в своем племяннике способности, если в нем были способности. Одна из газет обращала внимание на странную незавершенность всех трех работ – можно подумать, что их отбросили в растерянности или сомнении. Казалось, знатоки искусства тоже вышли на охоту за ним, словно все силы мира сговорились втайне разнюхать то, что может вывести их к цели.

Вилфред тотчас понял – надо бежать. Не то чтобы из-за картин преследователи набрали на его след, но они как бы надвигались на него со всех сторон, а официально зарегистрированный пансионат – место слишком уж заметное.

Вилфред стал лихорадочно пробегать столбцы объявлений – может, где-нибудь сдается свободное жилье. Первое, что он увидел, было объявление о том, что в Харескоу сдается отдельный флигель, в нем имеются... Он не стал читать до конца. Слово «отдельный» решило его сомнения. Обратиться к... Он вырвал из газеты объявление и, бросившись вниз к телефону, назвал номер. Ему ответил густой мужской голос, в нем чувствовалось колебание. Может, Вилфред проявил чрезмерный пыл? Он постарался принять деловой тон. Упомянул о ребенке, чтобы не было недоразумений. Голос сразу подобрел. Пожалуйста, он может прийти посмотреть. Ехать до станции... Вилфреду растолковали, как пройти. Он не слушал. Он понял сразу: такой голос...

Ощущение это не покидало его и в поезде. Было в том голосе что-то такое... внушающее доверие, и одновременно доверчивое, и еще застенчивое – Вилфред не мог бы объяснить, но что-то такое, что никогда не предаст и что он сам не сможет предать...

Он сразу увидел за поворотом дороги лесистый холм и на нем два дома: маленькая вилла и отдельный флигелек, наверное летний домик, нечто вроде сторожки. Оба были бледно-серого цвета, с оштукатуренными стенами. Наверное, здесь. Он не помнил ни слова из телефонного разговора, но как было бы чудесно, если бы это оказалось здесь! Он вдруг пришел в такое волнение, что стал тихонько приговаривать с надеждой, с мольбой: «Только бы здесь!» Он поднялся по каменистой тропинке. На двери висел старомодный молоток из кованого железа. Как приятно взяться за него! Постучав один раз, он сказал себе: «Здесь!»

Дверь открыл высокий человек. Вилфред сразу понял: это он.

– Я пришел снять флигель.

Лучше бы ему прикусить язык: он заговорил по-датски! Хозяин впустил его в дом. Да, это был тот самый человек, с густым голосом. Высокого роста, слегка сутуловатый, лет тридцати. Глаза... Вилфред сразу обратил внимание на его глаза. Голубые с оттенком серого, точно льдинки, но при этом теплые. Теплые льдинки. Скрытое тепло ореолом окружало весь его облик. Оно звучало в его тихих словах. Дело в том, что он перечитал свое объявление... Дом у них совсем маленький, летний домик, довольно холодный. Он пояснял все это отрывисто, словно всячески стремился умалить достоинства флигеля, и каждое следующее пояснение подкрепляло предыдущее с помощью паузы. К тому же его жены нет дома. А его самого зовут Бёрге Виид.

– Вы писатель? – тотчас спросил Вилфред.

Тот покраснел. Его имя мало известно. Казалось, он и себя самого хотел умалить. Но все-таки явно обрадовался. Они прошли через двор к дому.

Вилфред решил тотчас же. Ничего, что с ним будет жить сын? Мать мальчика умерла, она была француженка. Мальчика зовут Рене... Он высказал все разом и говорил по-датски. И назвался тем датским именем, которым назвался в пансионате. Одно влекло за собой другое. Он немало обманывал за свою короткую жизнь, которая казалась ему долгой-долгой. Но чувствовал себя обманщиком в первый раз.

Он дал хозяину денег, почти насильно всучив ему плату за месяц вперед. Он хотел бы заплатить за два, за три, но боялся, что это покажется навязчивым. Казалось, хозяин был обрадован, что ему заплатили. Вот только его жена...

– Уверен, что ваша жена согласится, чтобы я у вас поселился, – засмеялся Вилфред. Он и в самом деле был уверен в этом. Он снова стал Маленьким Лордом, его чело осеял нимб невинности и чистоты.

– Само собой, – прогудел застигнутый врасплох Бёрге Виид.

Откуда Вилфреду знакомо его имя? Дорого бы он дал, чтобы вспомнить название хоть одной книги. И вдруг сообразил: да ведь он знает его из еженедельников, ну да, из газет и воскресных приложений, которые валялись повсюду в «салоне» у девиц. Он даже прочел несколько новелл.

– Во всяком случае, ваше имя часто мелькает в газетах, – отважно заявил он.

Бёрге Виид помрачнел. Они стояли в просторной гостиной оштукатуренного флигелька. У хозяина была манера говорить отрывисто – так, точно вся его речь состояла из мучительных признаний.

– Для газет... для них ведь пишешь просто...

– ...а сам сидишь над большой книгой! – пришел ему на помощь Вилфред.

Этого не стоило говорить. Он опять начал переигрывать.

Но его собеседник снова покраснел – покраснел от радости.

– Совершенно верно, – смущенно улыбнулся он. – Как вы угадали?

– Я часто угадываю. Это у меня привычка, дурная привычка.

Бёрге Виид посмотрел на него с недоумением.

– Угадывать все равно что знать, – возразил он. И так как Вилфред промолчал, добавил, запинаясь: – Я хотел сказать... все эти внешние факты, ну да – высказывания, что ли... так называемые доказательства... – Он пожал плечами. Этот человек не привык наспех формулировать мысли. Вилфред посмотрел на высокий чистый лоб и наивно подумал: «Философ». Но тут же спохватился. Опять его тянет к преувеличениям.

Когда вернулась жена хозяина, они все еще стояли во дворе. Ее внимание привлекла детская коляска. Она вопросительно посмотрела на мужа.

– Дело в том, что этому молодому человеку... – имя Бёрге уже забыл, – понравился дом, мы, собственно, уже обо всем договорились.

Тон у Бёрге был виноватый. Вилфред смотрел на его виноватое лицо, на улыбку жены. И подумал: «Непрактичный человек, он не привык принимать решения, а она – она хочет, чтобы ему казалось, что последнее слово – за ним». Вилфред поспешил прийти им на помощь:

– Само собой, ваш муж предупреждал меня – только при условии, что вы тоже согласны... – И он снова почувствовал, как на его лице возникает улыбка Маленького Лорда – улыбка обманщика, он ее безошибочно узнал, хотя не прибегал к ней уже давно.

Ему сдали дом. Его пригласили выпить чашку чаю. Он, наверное, захочет перевезти свои пожитки.

У него никаких пожитков нет. Он быстро покосился на них – обменяются ли они взглядом после его слов? Нет, не обменялись. Это были стоящие люди.

14

Дни как будто замерли. Дома и деревья затаили дыхание. Звери недвижимы. Гонимому кажется: его преследователи отдыхают, они передумали, у них другие планы. Низко над морем парит птица, и птица кажется ему частицей того же затишья. «Птица! Каким покоем от нее веет!» – думает он. Злые силы дремлют в задумчивости, а добрые отдыхают, чтобы окрепнуть.

Люди тоже кажутся спокойнее, на них – печать умиротворения и мудрости. Даже небо, лохматившееся злыми осенними облаками, обрело что-то весеннее, сулящее свет.

Может, это обман? Может, это просто кажется гонимому? Может, так велика его собственная потребность отдохнуть, что он окрашивает своим настроением окружающее? Но разве не правда, что птица спокойно парит над волнами, что деревья дышат вольнее, а дорога вьется серебряной лентой, не таящей угрозы за поворотами? И разве не правда, что лица людей озарены светом, а их просветленные души открыты друг другу?

Наверное, это правда. Для обитателей обоих домов в Харескоу настали такие счастливые дни, что счастье должно быть подлинным, без подвоха.

У семьи в большом доме строгий рабочий распорядок, это побудило и жильца во флигеле попытаться упорядочить свою жизнь. За что только он в свое время ни принимался, но так ничего и не довел до конца. Теперь бы он охотно всерьез занялся живописью, но у него впервые нет для этого возможности. Он нянчит чужого ребенка, к которому привязан не больше, чем к найденному на дороге птенцу. Ведет свое немудреное домашнее хозяйство и аккуратно расплачивается с Маргретой Виид за все, что она покупает для него в окрестных лавочках.

Бёрге Виид и его жена редко бывали в городе. Он каждую неделю отправлял в редакцию по почте очередной рассказ, а ему регулярно присылали из издательства иностранные книги для перевода. Это давало ему постоянный доход, он целый день сидел за пишущей машинкой и работал. Случалось, он заходил ненадолго во флигель; первое время он был молчалив, разве что перемолвится с Вилфредом двумя-тремя словами о каких-нибудь мелких новостях в мире литературы и искусства. Бёрге никогда не спрашивал жильца, откуда тот почерпнул свои мысли и некоторый опыт. Но мало-помалу он начал рассказывать о себе, чаще всего это случалось после поездки в город, где он вел переговоры со своими работодателями. Вилфреду становилось все яснее, что Бёрге живет под тяжким бременем горечи. Несколько лет назад он выпустил свою первую книгу, его превознесли за нее, если не до небес, то, во

всяком случае, довольно высоко, зачислив в круг одаренных. Но с тех пор он не выпустил больше ни одной книги – не было времени, не было средств. И все очевиднее становилось, что ему суждено оставаться анонимным членом международного сообщества писателей, откладывающих создание своего шедевра с осени на осень.

Рассказывал Бёрге сбивчиво, перескакивая с пятого на десятое. И все, что он говорил Вилфреду, заглянув к нему в перерыве между двумя страницами на машинке, походило на невольное вырвавшиеся признания. Он, видно, безмерно устал тянуть ляжку – искать на родном языке слова для выражения чужих мыслей, и для него было отдушиной, урвав свободные четверть часа, довериться постороннему человеку, столь далекому от литературных проблем, что это доверие ничем не грозило.

Но случалось, что во флигель заходила и Маргрета Виид. Чаще всего она останавливалась во дворе возле детской коляски или прогуливалась с ней. Но несколько раз она с присущим ей решительным видом заходила к Вилфреду. Она не пыталась найти благовидный предлог для своего посещения и не задавала ему никаких вопросов, но однажды – ее муж в тот день был в городе, где улаживал свои дела в издательстве, – она вдруг напрямик спросила Вилфреда, знает ли он французский. Дело в том, что ее муж получил для перевода французский роман, но ему приходится часто заглядывать в словарь, да и она сама, хотя и помогает мужу, когда он устает, тоже не очень сильна в идиомах, и вот ей пришло в голову...

Вилфред поостерегся взглянуть ей в глаза, поостерегся помочь ей все это выговорить. Уставившись в стол, он сказал, что в детстве учил французский язык, так что если только он не забыл... Сказал, что получил некоторое литературное образование... Оказалось, переводчики не так уж редко прибегают к посторонней помощи при переводе. Вот и сама Маргрета – не то что она переводит вместо мужа, но иной раз помогает ему. Дело в том, что он работает над книгой – над собственной книгой...

Так и вышло, что Вилфред стал время от времени наведываться в большой дом и сидеть за машинкой, а потом стал наведываться туда довольно часто. Бёрге Виид, смущенно уступая ему место, занимался своей книгой. Так и вышло, что Вилфред взял всю работу на себя и закончил перевод. Само собой, это всего лишь подстрочник, но если это немножко поможет... Так и вышло, что он перевел целую книгу. Он вовсе не хочет лезть не в свое дело, но если он может помочь... Он сидел ночами. В нем накопилось столько нерастроченных сил – целый кладезь доброй воли. К тому же тут было чему поучиться. Он работал как в лихорадке, наслаждаясь тем, что работа спорится, и еще самим процессом формулирования мысли – словно посредством чужого текста он выражал частицу самого себя. «Я могу, и это могу тоже!» – снова, как много раз прежде, думал он. Он был поражен, как легко дается ему работа. Он в самом деле неплохо знал язык, но тут еще и другое – он чувствовал, что в нем дремлют неиспользованные возможности, дар самовыражения, который он так часто хотел применить к делу, но всегда что-нибудь да мешало... Сначала было увлечение музыкой и тяжкое, опустошающее чувство, что он ее предал. Потом многие годы подряд он жадно глотал книги, о которых ему вечно твердили, что он для них еще слишком молод... Чтение походило на марафонский бег к неизвестной цели – вернее, с единственной целью оставить позади себя десятки километров... Но, казалось, теперь он черпает силы из того, что было прочитано тогда, из бесед о книгах с дядей Рене. («Мой милый мальчик, Гамсун – это, конечно, прекрасно, и прекрасно, что ты любишь его и зовешь Поэтом, только не забывай, что и за пределами Норвегии есть литература, что есть человек по имени Стендаль...») И вот на время библией Вилфреда стало «Красное и черное», а потом «французские рассказчики», как он их называл, а потом Данте и многие, многие другие, – и все это он проглатывал с такой жадностью, что в голове едва не воцарился полнейший сумбур, а в пору выпускных экзаменов он просто превратился в начиненного литературой попугая... («Изящная литература – это прекрасно, фру, но я боюсь, что ваш сын впадает в крайность!») Вилфред с головой погружался в книги, и книги обступали его, словно безбрежные волны, изобилующие сокровищами, которыми надо овладеть, воспользоваться... Но тут наступила полоса кутежей

и случайных ресторанных и уличных знакомств, и страсть к чтению стала еще одним даром, который он предал и которому изменил...

Но теперь восхищавшие его прежде писатели вернулись к нему, точно старые друзья, это у них позаимствовал он свой литературный слог...

Так и вышло, что Бёрге Виид не перевел ни строчки в полутора романах. Сидя с рукописью Вилфреда, он все шире раскрывал глаза от изумления. Однажды вечером он пригласил его пропустить по стаканчику. Усталый застенчивый писатель утратил почти всю свою застенчивость.

– Так продолжаться не может, – заявил он. – Вы переводите куда лучше меня. Конечно, мы кое-что покупаем для вас в магазинах, но ведь гонорар-то получаю я, а это надувательство и обман! – И он радостно засмеялся – уж не оттого ли, что был соучастником обмана? Похоже было, что так. Похоже было, что этот честный нерасторопный человек испытывает облегчение от того, что творит что-то незаконное и тайное.

– Вы все перевернули с ног на голову, – возразил ему Вилфред. – Я когда-то немного изучал язык, но у меня же нет никакого опыта, я просто немножко баловался пером...

Но Бёрге Виид был непоколебим: так продолжаться не может – он не может ставить свое имя под чужим трудом. Что же касается гонорара...

Вилфред предложил делить его пополам. Ведь имя и связи были у Виида.

Так и вышло, что Бёрге как-то пришел во флигель и показал Вилфреду рассказ. Беда в том, что на нем висит этот злосчастный договор, он обязан поставлять каждую неделю по рассказу, ни один писатель этого долго не выдержит, рассказы вырождаются в пустую болтовню и штампы.

– Вы согласны со мной, Вилфред? Вот, возьмите, почитайте.

Рассказ, пожалуй, и впрямь был не бог весть какой, это Вилфред чувствовал. С другой стороны, он не считал себя судьей в вопросах литературы. Дело кончилось тем, что он попробовал втихомолку написать рассказик-другой. Теперь ему пошло на пользу то, что он всегда переписывался по-датски со своими датскими родственниками и вообще что у него была попугайская способность все перенимать, которая всегда внушала подозрение ему самому. И еще ему пошло на пользу, что он всегда жадно прослеживал линии человеческих судеб в своей оголтелой погоне за схемой, в которую он мог бы наконец их уложить, – схемой, которую он повсюду выискивал ради того, чтобы хоть немного познать самого себя.

Закончив свои рассказы, Вилфред понес их в хозяйский дом – принес и молча положил на стол. А потом, заперев флигель, отправился в лес, дышавший осенней прохладой, оголенный и безлистый. Вилфреду теперь уже не было нужды возить с собой коляску, ему вообще все реже приходилось заниматься ребенком. Маргрета Виид с большим удовольствием сама гуляла с малышом.

Только по ночам ребенок оставался с ним. Вилфред сидел у колченого стола и писал, иногда подходя взглянуть на ребенка. Мальчик расцветал не по дням, а по часам. Вилфред тщательно выполнял все, что полагается, когда растишь младенца, но дело было не только в этом. Они как-то говорили о нем с Виидами. «У малыша словно бы и душа налилась соком», – сказал Бёрге. Мальчик и вправду как бы излучал благоденствие, и объяснялось это не только тем, что его хорошо кормили...

В дверь постучали. Вилфред узнал энергичный стук Бёрге. Так стучит тот, кто долго не решался постучать, но, решившись, стучит энергично. Бёрге был таким во всем – он всегда

проявлял себя не сразу, но во всех проявлениях обнаруживал силу. В этот вечер он вошел в комнату решительней, чем всегда. За голубыми льдинками глаз лучилось тепло. В руке он держал листки бумаги.

– Это ты написал? – взволнованно спросил он.

Вилфред скорчил гримасу и бросил взгляд на ребенка, словно ища предлог, чтобы Бёрге умерил свой пыл.

– Я думал, если это избавит тебя...

Тот беспомощно развел руками. На лице его появился необычный румянец – румянец возбуждения.

– Ты не в своем уме, дружище! Да ведь это в тысячу раз лучше того вздора, что я поставляю им на заказ. Ты должен послать им рассказ под своим именем...

Вилфреду удалось усадить его на стул и успокоить.

– Пойми, твое предложение бессмысленно. Кто я такой? У меня нет никаких знакомств. Если я и впрямь могу тебя освободить, дать тебе несколько недель передышки... К тому же я... Да ведь любой человек может написать рассказ, вот, когда это становится ремеслом, тут-то и выходит наружу, многого ли ты стоишь. Но еще раз повторяю, если ты можешь использовать эти страницы...

Вилфреду удалось уговорить Бёрге – «на сей раз». И все-таки это ни с чем не соотносимо, твердил Бёрге, куда ни кинь – сплошной обман. А о гонораре и говорить нечего: он принадлежит Вилфреду, ведь для Бёрге такое великое счастье – месяц передышки, когда он может засесть за свою работу.

Так они и пришли к соглашению. У Вилфреда и в самом деле есть в запасе несколько немудреных сюжетов. Он вовсе не мнит себя писателем, но ему уже не раз хотелось попробовать свои силы просто так – чтобы поупражняться. А теперь вот представился удобный случай, – так что это он в долгу у Бёрге. Он проводил взволнованного писателя до дверей, а потом они продолжали разговаривать, прохаживаясь под деревьями. Они говорили о цели, которая когда-то в лучезарном блеске маячила перед Бёрге, но с годами все тускнеет. Поговорили немного и о Вилфреде. Но над ним бременем висело фальшивое имя и то, что он с первой минуты выдал себя за другого этим наконец-то повстречавшимся ему в жизни по-настоящему хорошим людям.

У него и вправду было такое чувство, словно это он у них в долгу за душевный покой, которого они не ценили, потому что не знали, что такое непокой в душе того, кто ищет покоя не то против воли, не то по доброй воле, не понимая, откуда эта воля взялась, но чувствуя на себе ее гнет, когда она вдруг вырывается наружу из темных источников в недрах его существа. Он у них в долгу за этот покой, который может стать то ли передышкой между двумя битвами, то ли приобщением к каким-то ценностям – кто знает? Вилфред знал лишь одно: он хочет выразить им свою благодарность теми средствами, которые ему представляются. Потому что источники в его душе не повинуются ему самому. Казалось, они принадлежат другому человеку, а он берет из них взаймы, – может, то неосуществленные возможности отца пробиваются наружу, подобно подземным весенним водам, которые струятся в тине под скалами, но довольно случайной трещины в камне – и оттуда бьет чистый ключ...

Вилфред брал газету, как берутся за раскаленное железо. Каждое утро он заходил за ней к хозяевам и всегда старался подольше держать ее в руках с таким видом, словно она его ничуть не интересуется. А потом, набравшись мужества, читал ее. В Европе воцарился мир,

некое подобие мира. Вилфред рассеянно, как бы по обязанности пробежал все, что писали на эту тему. Фотография церемонии в Компьене грозным предостережением обошла мир. Но о том, чего искал в газетах он, писали скупо: время от времени маленькие заметки, разрозненные выступления на темы о пороке, который рыщет у дверей добродетели. Добропорядочные граждане, на которых не было вины, топили свою досаду в чернильнице. И каждый раз Вилфред откладывал газету, ощущая покой, как плотную оболочку счастья.

В один прекрасный день газеты сообщили, что объявился автор талантливых картин. Им оказался молодой многообещающий художник Хоген С, само собой, он не имеет никакого отношения к зловещему подполью, в котором нашли его произведения. Дело в том, что он выставил их на продажу у торговца картинами, а там оказалось тесно. Это открытие стало сенсацией. Хоген С. был изображен на снимке возле одной из картин. Художник некоторое время жил в Париже, учился у таких-то мастеров, но это никоим образом не объясняет своеобразия его живописи и не умаляет славы, которой датчане в мгновение ока окружили талантливого соотечественника и новатора. И снова упоминали об особенностях этих картин – какой-то их незавершенности. Но художник скромно давал понять, что это, собственно говоря, наброски, он не предполагал их выставлять. Вот почему он так долго не заявлял о себе – и еще из-за тягостных обстоятельств, которые были сопряжены с находкой картин...

Вилфред прочел газету, стоя в своей холодной комнате. Он смотрел на фотографию Хогена, на репродукцию одной из картин. Картина была хорошая. Он сразу заметил, что кое-что надо исправить – соотношение частей было непреднамеренно нарушено. Он тихо постоял, пытаясь определить свои чувства. Руки не дрожат, он не сердится, не огорчается. Пожалуй, он разочарован. Неужели в Хогене? Он сам не знал. А может, тем, что это не его вытащили из безвестности на свет божий?

Он беззвучно рассмеялся. Потом отложил газету, статьей кверху, чтоб она все время была на глазах, ему хотелось проверить, выведет она его из душевного равновесия или нет.

Но газета продолжала обращать к нему речь, какой он не мог вытерпеть, – она его будоражила. Он сложил ее и положил на стол.

Она продолжала твердить свое. Он свернул ее в узкую трубочку и куда-то засунул. Но она по-прежнему обращалась к нему тоном, который был ему неприятен. Тогда он бросил ее в печку и сжег, уничтожив новость, принесенную из мира, который он отринул. Он уселся за шаткий столик. Но теперь ему недоставало газеты: ее можно было подложить под одну из ножек стола – ничего другого, подходящего для этой цели, под рукой не нашлось. Писать он не мог. Он вышел во двор. Было холодно, по небу плыли облака, приближалась зима.

Вилфред дошел до станции и купил новую газету, скупил все газеты, какие были. Он с жадностью развернул их еще по пути, сообщение о новооткрытом художнике напечатали все, у некоторых оно звучало в приподнятом романтическом тоне: затаившийся гений, которого извлекли из безвестности при обстоятельствах столь случайных, что в них отразилась сама жизнь. Тут же были и фотографии, снятые в доме художника в Северной Зеландии: художник верхом, художник у мольберта на лоне природы. Создатель картин согласился сняться с величайшей неохотой, писали газеты, он застенчив и скромен. Он считает, что художник должен работать вдали от суеты. А по такому-то вопросу он считает то-то и то-то...

Наконец-то Вилфред почувствовал злость. Она не застлала ему глаза багровым облаком, а придавила его свинцовой тяжестью, бессилием. Он стоял на дороге под оголенными деревьями и чувствовал, как им все сильнее овладевает праведный гнев.

Сжимая газеты под мышкой, он не мог удержаться от смеха.

Ей-богу, он испытывал неподдельное восхищение! Да и как не восхищаться хитроумно рассчитанной смелостью этого ловкача, сидевшего по ночам в «Северном полюсе» с

суженными зрачками. Он присвоил себе чужую работу ради престижа. Не ради денег, нет, и не ради славы – в эту минуту Вилфред вдруг отчетливо это осознал, – ради того, чтобы подкрепить недостаток веры в самого себя. Вот он и додумался в своем бессилии до этой плутни: ухватиться за чужое искусство и держаться за него, пока не нащупаешь почву под ногами. Выходит, никакой он не погибающий ночью гений, а заурядный обманщик, который обманывал самого себя, играя свою жалкую игру, куда входила капелька отравы и ночная жизнь, – один из многих тысяч современных тщеславных мещан, которые играют в искусство у себя на дому и обманом присваивают себе на неделю громкое имя в стране Лилипутии.

Вилфреду было смешно. Ну а сам он? Чего стоит его собственная игра с кистью, с клавишами, а теперь со словами – со всем тем, что составляет вопрос жизни и смерти для тех, кто не играет, а

живет?..

Он сам такой же обманщик, как все остальные...

Деревья вдоль дороги задрожали от сильного порыва ветра. Вихрь сорвал редкую лиственную крышу над головой Вилфреда. И сразу все вокруг прояснилось. Ну да – обманщик. И все-таки...

Вилфред весело и прилежно корчил свои гримасы. Когда дело касается тебя самого, всегда найдется какое-нибудь «все-таки». И в ясном свете, окружавшем его, выявилось еще другое – смутная радость оттого, что у него есть тайная жизнь, пусть даже она ему во вред, радость оттого, что он не выставляет напоказ свои маленькие дарования...

Как-то вечером хозяева попросили его сыграть. Маргрета Виид, возвращаясь домой, однажды явственно слышала, как он играет. И он сыграл для них, размял одеревеневшие пальцы, которые много месяцев не прикасались к клавишам, показал свое искусство на том самом Бахе, который снова начал входить в моду, и его самого захватило шальное желание выразить себя и, может быть,

убедить кого-то, а вернее, именно этих людей...

Он сыграл одну пьесу, другую, слегка фальшивя там, где подводили пальцы. Но, обернувшись, он увидел, что Бёрге стоит посередине комнаты, излучая то удивительное сияние, которое Вилфред с первого раза мысленно назвал ореолом. Он протянул Вилфреду обе руки в безмолвной благодарности, в удивлении, которое еще немного – и излилось бы в вопросах. Вилфреду стало не по себе. Конечно, он что-нибудь да ответил бы им, объяснил бы все самым простым образом: случаю, мол, было угодно, чтобы он получил воспитание в кругу, где ценили музыку и прочие эстетические удовольствия, в утонченном буржуазном кругу, который клонится к упадку и вряд ли хорошо влияет на тех, кто является, так сказать, его порождением. Но вздумай они утверждать, что он на редкость талантлив, что одарен и в этой области и в других, он оспорил бы эту нелепицу, звучащую как поклеп именно в их доме. Он вундеркинд, навеки оставшийся в пеленках, вот что он сказал бы им, сам понимая, что они истолкуют это как скромность. Но обошлось без вопросов. И все трое продолжали оставаться друзьями, которые с каждым днем все меньше знали друг друга.

В прозрачной ясности дня на дороге Вилфред вдруг увидел, что настала зима: в одно мгновение расплывчатость переходного сезона сменилась определенностью. И в нем самом все переменялось: из мира мечты, не имевшей отношения к действительности и продолжавшейся несколько месяцев, он вернулся к тому, что было реальным, – к своей защищенной жизни среди тайн, с которыми он не желал расставаться. Злая улыбка исказила его черты – пусть ее, он строил гримасы самому себе. Дерзка в руках газету с фотографиями Хогена, он чувствовал, как в нем зреет мрачная уверенность, уверенность в том, что мир лжив и он его частица: одновременно и добрый, и лживый, и чистый, счастливчик шулер,

который балуется искусством ради чужой славы, а себе с помощью своей жалкой сноровки может наскрести деньжат.

Деньги. Ну конечно же, его злит одно – что этот самый Хоген превратил три несчастные картинки в деньги, в деньги, на которые Хогену, собственно говоря, плевать. Ему важен «почет»...

И сразу пришла мысль о тех – других деньгах. Интересно – сколько их там? Вилфред тотчас увидел перед собой пухлые стопки мятых купюр – деньги, не заработанные честным трудом мысли или рук. И ему страстно захотелось овладеть именно

этими деньгами, потому что они принадлежали ему лишь отчасти, потому что на них налипла грязь, – такие деньги ему нужны.

Он смеялся, поднимаясь по холму против ветра. Чему быть, того не миновать, каникулы кончились. Он знал, что знал это все время:

оно грянет, налетит ураганным ветром, завивающим вихри пыли и мусора. И этот ураганный вихрь в конце концов сметет все.

Но когда он оказался возле домиков под голыми деревьями, ему вдруг все же стало жаль терять ту жизнь, какой он жил в последние месяцы. В конце концов, что значит газетное сообщение?

Ведь ничто не изменилось. Хоген считает себя в безопасности. Те немногие, кто знает правду, лишены возможности его выдать. Хоген передернул карту – ну так что ж! Ничто не изменилось. Сам он стоит сейчас в этом мирном дворе между двумя дружелюбными домами, между людьми, которые в какой-то мере зависят теперь от его добрых дел. Они даже не подозревают, какую огромную помощь оказали ему. Он в ответ тоже оказал им помощь, и эту помощь они высоко ценят: она дает возможность спокойно работать тому, кому Вилфред больше всего на свете желал бы помочь.

Словом, если Вилфред захочет, все будет почти улажено. Он написал фру Виид записку, что едет в город. Он был там за минувшие месяцы всего три раза. И каждый раз, когда он туда ездил, его ждало письмо от матери – за все время их было пять, и он, наслаждаясь своим удивительным покоем, отвечал ей, что у него все хорошо, он играет и занимается живописью, он дал ей понять, что готовится к какому-то поприщу всерьез – письма, отмеченные наигранной значительностью и преисполненным благих намерений оптимизмом, который временами был почти искренним. Пришло также несколько желтых военных повесток – знак того, что тебя всюду отыщут...

Вилфред пошел на почту, там его ждало письмо от дяди Рене. Он тотчас вскрыл это проникнутое смиренной радостью письмо, написанное рукой дяди Рене, почерк казался узорчатым орнаментом: каждое слово выписано как бы с любовью к самому его начертанию. Вилфред вышел на улицу и огляделся вокруг. До сих пор он приезжал в город ненадолго, тогда он не озирался на углах, а просто возвращался на вокзал к поезду или брал такси в убеждении, только наполовину искреннем, что все его страхи перед преследователями вымышлены.

Немного погодя он уже стоял на улице перед «Северным полюсом». Выпал скудный снежок, он таял, едва коснувшись мостовой. Вилфред зашагал вдоль домов, высчитывая, где расположен подвал. Он осторожно прошел от угла до угла, охваченный чувством сродни прежнему страху, которое нежданно обрадовало его. По тротуару катилась девочка на роликах. И вдруг, оступившись на покатости тротуара, она упала ничком и заплакала. Вилфред подошел к ней и помог подняться. Она с изумлением уставилась на него: она не привыкла, чтобы ей помогали. И снова, уже нарочно, улеглась на асфальт – пусть помогут

снова. Но он уже позабыл о ней. Он стоял у покатога спуска к дому, к массивной двери с мощными запорами и железной щеколдой. Вилфред обратил внимание, что в ближайшем к ней окне стекло светлее, чем в остальных рамах. Как видно, стекла никогда не мыли, поэтому то, что было вставлено несколько месяцев назад, предательски сверкало чистотой. В пяти шагах отсюда, в подвале, у стены, лежат деньги, его деньги. В газетах не сообщалось о том, что их обнаружили. Он быстро огляделся и зашагал прочь, для вящей уверенности еще прочитав название улицы. На углу он все-таки снова обернулся. Дело близилось к вечеру, темные, угрюмые люди с тусклыми глазами возвращались домой с работы. Вдалеке стукнула дверь молочной. Молочная стояла перед его внутренним взором, ему не надо было оборачиваться: он и так знал, где что расположено. Душевного покоя как не бывало.

Оно могло грянуть в любую минуту.

Едва Вилфред вернулся домой, на пороге флигеля появился Бёрге. Ну да, мальчика они взяли к себе. Какое там беспокойство, наоборот, Маргрета так любит мальчонку. У них гости, они надеялись пригласить Вилфреда, он ведь так редко отлучается из дому. Может, он сейчас зайдет к ним? Он еще не знаком с их друзьями...

Бёрге немного выпил – совсем немного. И как всегда, выпив стаканчик, он был преисполнен пыла и доверчивости. И Вилфреду самому захотелось заразиться этим возбуждением, которое прогнало бы прочь то, другое, заразиться доверчивой убежденностью в том, что все в мире прекрасно.

– А удобно ли явиться в гости так поздно?

В комнате, куда они вошли, в глубоком кресле сидел Хоген. Они с Вилфредом сразу узнали друг друга, но никто не обратил на это внимания. Вилфред предчувствовал – не то, что он встретит Хогена, но он знал: что-то случится. Он владел своим лицом: оно ничего не выдавало. Не выказал удивления и Хоген. Только на секунду отвердели бледные губы. Среди гостей присутствовала некая поэтесса. У нее были короткие гладкие волосы (такая стрижка считалась дерзкой и необычной), когда они вошли, поэтесса читала стихи, Вилфреда представили знаками, чтобы ее не прерывать. Ему вручили стакан. Он слышал, как за окном ветер раскачивает деревья, и этот шум звучал аккомпанементом странным стихам, выделяя что-то зловещее в их ритме. Когда чтение окончилось, вокруг поэтессы завязался разговор. Речь шла о новой поэтической манере. Спорящие разделились на партии, стихи поэтессы еще усугубили разницу во мнениях.

Вилфред сидел спиной к Хогену и ощущал на себе его взгляд. Он подошел к Маргрете, заговорил о ребенке, извинился. Но она тоже была необычно возбуждена и многословна. Стало быть, супруги Виид и вправду находились среди друзей и чувствовали себя как нельзя лучше, в каждом его маленькая вера поднялась на одну зарубку выше. Бёрге подошел к Вилфреду с бутылками и закуской. Его усадили за стол, поставив перед ним гору всяких яств. Кто-то сказал – хорошо бы послушать музыку. Вилфреда усадили за пианино, и он сыграл Шопена. И все время ощущал на себе взгляд Хогена. В углу гостиной тихо заговорили о живописи. Когда Вилфред отошел от инструмента, ему похлопали. Теперь кто-то упомянул о трех картинах Хогена. Вилфред встал, отодвинув тарелки и стаканы. Благодатная тревога мало-помалу овладевала им, он подошел к Хогену и сказал:

– Ах, так это вы написали нашумевшие три картины – поздравляю! – Сказал без тени иронии в голосе или в выражении лица.

Хоген встал. Разговоры вокруг шли своим чередом. Ни один из них не кивнул головой, не сделал знака глазами. Но оба вышли во двор. Теперь ураган безжалостно сотрясал деревья. Облака, словно злобные птицы, метались по небу, где в просветах мерцали одинокие звезды.

– Я могу вывести вас на чистую воду, – сказал художник.

Они стояли друг против друга – Вилфред был выше ростом, тому приходилось смотреть на него снизу вверх. Перед Вилфредом был обманщик, тщеславный дурак, припертый к стене. Он выпил ровно столько, чтобы потерять осмотрительность.

– Положим, вы меня разоблачите – а дальше что? – спросил Вилфред.

– Вы правы, – угрюмо усмехнулся тот. – Вам нужны деньги? – немного погодя спросил он.

– Да.

– Стало быть, шантажируете?

– Какой же это шантаж, если вы продали картины?

– Я

мог бы их продать.

– Мне нужны деньги.

– Стало быть, шантаж, – повторил тот. Вилфред пожал плечами. Желанная злость не приходила. Он сжимал кулаки, потихоньку пытаясь себя подстрекнуть. Ветер трепал волосы обоих. Они были похожи на двух петухов, которые распаляют себя перед боем.

Но желанная злость не приходила. Что это с ним – уж не восхищается ли он?

– Вы спросили меня, нужны ли мне деньги, – спокойно сказал он. – Я ответил. Нужны. Но не ваши.

– Ну и ловкач же вы! – тотчас сказал другой.

Вилфред рассмеялся.

– Мы оба ловкачи. Но я не хочу, чтобы это дошло до Виида и Маргреты. – Ядовитая улыбка скользнула по лицу Хогена. И тут Вилфред почувствовал прилив желанного гнева. – Я здесь прожил некоторое время, и мне здесь было так хорошо, как давно уже не бывало.

– Лучше, чем в тюрьме?

– Лучше.

Беглые вопросы, краткие ответы.

– Я оставляю вам картины по совершенно определенной причине, – сказал Вилфред. – Вы излагали теорию, которая мне была неясна. Она побудила меня написать картины.

– Но вы их не закончили. А я закончил.

И тут Вилфреда охватила злая радость – значит, картины погублены. В нем брезжила нелепая надежда, что однажды он снова увидит эти три холста. Но теперь к ним прикоснулся кистями глупец. Злая радость от того, что они погублены, боролась в нем с разочарованием и гневом. Он целый день предчувствовал это, предчувствовал: чему-то конец. Он недаром ходил сегодня на улицу, где подвал, он предчувствовал это и едва не забрался в свой тайник.

– Вы ничего не скажете? – спросил Хоген.

– А что мне сказать?

– Я не о том. Я спрашиваю напрямик: скажете вы им? И – газетчикам?

Глупец. Глупец, намалевавший что-то на чужих картинах, которые присвоил себе почета ради. Глупец, который укрепил свою шаткую веру в собственный ничтожный талант обманом, а теперь трясется от страха. Туго же им приходится, глупцам.

– Какого черта вам втемяшилось в голову заканчивать эти распроклятые картины! – грубо сказал Вилфред.

За поворотом дороги показался автомобиль. На мгновение фары молнией осветили их. Им теперь приходилось говорить громче, чтобы перекрыть вой ветра, бушевавшего между домами и деревьями. Хоген приблизился к нему вплотную и почти выкрикнул:

– Хотите писать для меня картины?

Хоген думал, что шепчет, но это был шепот в грохоте урагана. Яростная мимика придавала словам какой-то противоречивый смысл. Вилфреду стало смешно. Ему вдруг захотелось хамить.

– Десять тысяч, – отрезал он. Хоген отпрянул, Вилфред наступал на него шаг за шагом. – Гоните десять тысяч крон, и я буду писать ваши чертовы картины.

Художник замахал руками, Вилфред тоже поднял руки, сжатые в кулак в упоительном приливе решимости.

Но тут же уронил руки. Кто-то вышел из дома. Треугольная полоса света упала на двор, не дотягиваясь до них. Поэтесса-модернистка беспомощно постояла в светлом треугольнике, на ветру похожая на лысого старца. Потом дверь захлопнулась, и темнота милосердно скрыла ее от их глаз. О том, что она делает у лестницы, можно было догадаться только по звуку. Руки Хогена что-то протягивали ему в темноте. Это была визитная карточка. Вилфред ощутил ее в своей руке, на мгновение прикоснувшейся к руке художника, – это было мерзко. Порыв ветра улегся.

– Нам надо бы поговорить кое о чем. – Злой огонек вспыхнул в глазах Хогена. – Кстати, известно ли вам, что завтра один из ваших

земляков дает концерт. Некая дама, весьма талантливая. Об этом пишут в газетах. Кстати, супруги Виид с ней знакомы, ее зовут Мириам Стайн, может, и вы ее знаете, но, понятное дело, вам нельзя в этом признаться, вы ведь теперь датчанин...

Холодная молния ослепила Вилфреда. Мириам... Стало быть, она переменяла фамилию: Голдстайн на Стайн – эта дурацкая мысль первой пришла ему в голову.

– Нам надо бы поговорить кое о чем, – злобно повторил художник. Он помолчал, как бы давая улечься впечатлению от своих слов. Вилфред был застигнут врасплох – но, собственно, что на него так подействовало? И как это так выходит, что им всегда удается нащупать его слабое место? Мириам... А может, Хоген назвал ее просто как «земляка», чтобы подчеркнуть, что ведь и Вилфреда нетрудно скомпрометировать – у него, Хогена, тоже есть на руках козыри, в случае чего он может его разоблачить...

Художник ушел, оставив карточку в руке Вилфреда.

Вилфред почувствовал было злобную радость: карточка тоже может стать козырной картой в игре. Но нет, противник обыграл его. Что он мог знать о Мириам и о нем? Ничего. Однако злобный инстинкт всегда подсказывает, когда пустить в ход намеки. Дурацкая, никчемная

карточка – поздно, его обезоружили.

И вообще слишком поздно. Мирная жизнь рухнула, возврат к ней невозможен. Невозможна даже борьба на равных между двумя обманщиками – им и Хогеном. Слишком поздно. У него выбили оружие из рук.

В разгар бури он пробился к мирной передышке, как все страны мира пробились к перемирию, вымолили его себе, хотя в ту же минуту уже начали снова точить оружие. Вилфред сунул карточку в карман. Хорошо, что мирное время кончилось. Он вернулся в дом, поблагодарил хозяев. В глазах Маргреты появилось какое-то необычное выражение. Бёрге слегка захмелел. Блаженно разнеженный, он откинулся в глубоком кресле. В том самом, в каком при появлении Вилфреда сидел Хоген. Бёрге посмотрел на него блаженно, туманно.

– Куда ты дел Хогена? Уж не убил ли?

Вилфред собирался проститься с ними. Убил Хогена? Он взглянул в безмятежные глаза Бёрге; тепло растопило прозрачный ледок, Бёрге был счастлив. Но инстинкт вел его безошибочным путем.

– Нет, не убил. А он, что, ваш друг?

– Друг? – переспросили в один голос Бёрге и Маргрета. Что-то носилось в воздухе. – Нет, он просто... – сказал Бёрге.

Вилфреду хотелось броситься перед ними на колени: что-то подсказывало ему, что дружбе конец, ибо он лжец, неспособный преодолеть свою натуру. Он хотел бы объяснить им, что если и оказывал им какие-то мелкие услуги, то на самом деле это они услужили ему, а не он им, потому что его небольшая помощь в литературной работе на самом деле давала выход тем его чувствам, которые могли бы окрепнуть, сохрани он подольше желанный покой и не пробудись опять чуждые силы в нем самом и вне его, не вторглись они туда, где ему жилось так хорошо, так безмятежно, и не лиши его крова...

Но тут открылась дверь. На пороге стоял Хоген, в шляпе. Острое личико было белым, как порошок, к которому он прибегнул, чтобы набраться храбрости.

– А известно ли вам, что мы с вашим жильцом и другом... – Голос его прерывался... – Заключили договор... Он ведь художник... Вы не знали? – Теперь Хоген повернулся к Бёрге, в его взгляде была мольба: «Помогите мне выбраться отсюда подобра-поздорову...» и в то же время злоба. – Скажи мне, и твои рассказы тоже пишет он?

15

Вилфред проснулся, сознавая все, что произошло. Слышно было, как бушует ураган. Ночь еще не миновала.

Неужели кто-то поет?

И тут всплыло воспоминание: Бёрге переводит взгляд с Хогена на Вилфреда, с Вилфреда на Хогена, протестующий и молящий взгляд, – не может быть, чтобы на свете было одно только предательство... И Маргрета – она встала с места, едва Хоген появился в дверях, словно чуя какую-то беду. И у обоих во взгляде протест и мольба.

И этот Хоген, в ту же минуту сникший, не потому, что причинил зло другим, а потому, что

из-за вечной неуверенности в себе и тяге к самоуничижению выдал себя.

Потом он ушел. А Вилфред снова спросил:

– Он вам друг?

Нет, нет, он им не друг, собственно, его привела поэтесса... Но они не спросили, что означал вопрос Хогена, пишет ли Вилфред за Бёрге. А он, Вилфред, – он и не мог бы оправдаться, тут было слишком много всего, слишком много накручено другой лжи: картины, датский язык, его фамилия, «Северный полюс», Рене...

Славные люди, эти двое. Он видел, как они стоят в дверном проеме, быть может, он лишил их последней веры... Но кто это поет?

Среди воя ветра слышался голос, тонкий девичий голосок. Вилфред лежал в кровати, весь дрожа, и сквозь пелену мыслей прислушивался к голосу. Вдруг кто-то свистнул, а потом снова запел:

В скорлупке по морю приплыл

К нам Вилли, парень ловкий...

Он откинулся на кровати, уступая отчаянию. У него было забрезжила надежда, и он поверил в нее. А потом перестал верить, потому что его обступили дурные предзнаменования. Теперь ему безразлично, что думают Бёрге и Маргрета, – выдал он их дурацкую тайну или нет. Он уже не помнит, когда в его жизни что-то было правдой.

Только теперь он наконец понял, что за окном в самом деле кто-то поет. Ночь все еще продолжалась, та самая ночь, и пение казалось неправдоподобным. И все же это была та самая ночь. За один день лопнули все связи.

И тут он снова услышал песенку – идиотский стишок:

...Купите по дешевке!

Порыв ветра смел песенку. Одним прыжком Вилфред соскочил с кровати. На дворе было все еще темно. У дверей никого не оказалось, он босиком обошел дом вокруг. Кто-то двинулся ему навстречу.

– Ты можешь поговорить со мной? – спросила женщина.

– Кто это?

– Ирена.

Она протянула ему обе руки – холодные как лед. Он ввел девушку в дом, зажег свет. Налил ей и себе по стакану, закурил сигарету и дал прикурить девушке. Мирная жизнь кончилась, он это предчувствовал еще раньше.

– Ты меня помнишь? – спросила она с ноткой кокетства. Она дрожала в легком весеннем костюмчике – он помнил этот костюм. Когда-то он питал к ней мимолетную маленькую слабость. – Мне пришлось спеть эту песенку, – сказала она, как бы оправдываясь. – Сначала я свистнула.

– Откуда ты узнала, где я живу? – спросил он.

– Они ничего не знают, – живо отозвалась она. Ему стало немного стыдно: она угадала суть его вопроса. – А я-то откуда узнала? – продолжала она. – Я тебя случайно увидела на дороге.

Я тут вроде как бы работаю в одном доме... – Она неопределенно кивнула в сторону окна.

Они помолчали, покурили. Он размышлял, с какой целью она пришла. Она казалась какой-то взъерошенной в своем легком костюмчике.

– Могу я тебе чем-нибудь помочь? – осторожно спросил он.

– Это я пришла тебе помочь! – рассмеялась она. Она возбужденно подалась вперед на плетеном стуле. Стул скрипнул. Она испуганно вздрогнула. Порывистый ветер сотрясал деревья. – Они ищут тебя.

– Кто?

– Они. Я пришла предупредить тебя об этом.

– Кто «они»?

– Это из-за денег, – продолжала она. – Ты сбежал с деньгами. А других сцапали.

– Игроков?

– А Эгона нет. И еще карточки – членские билеты, ты их тоже прихватил.

– Ну и что с того? – Оба говорили быстро, задыхаясь: вопрос – ответ, вопрос – ответ. – Ну и что? – повторил он. Чего она добивается?

Она приняла обиженный вид.

– Я пришла тебе помочь.

– Допустим, – холодно сказал он, наполняя стаканы. – Что до этих проклятых карточек, я могу сказать, где они. А деньги...

– Что с деньгами? – Вопрос прозвучал слишком поспешно.

– Я их истратил. Прошло много месяцев.

– А где карточки?

С виду она была не опасна, не похожа на отчаявшегося, загнанного человека, какой она должна была бы выглядеть, будь она орудием шантажа. Он не торопясь объяснил ей, где зарыты остатки членских билетов «Северного полюса». Но ни словом не обмолвился, что там они не все. Только теперь он понял, зачем их зарыл: чтобы иметь резерв, чтобы те не добрались до денег, в случае если...

– Можешь нарисовать, как пройти? – спросила она. Он загорелся, взял бумагу, карандаш, нарисовал план. Она рассеянно сунула бумажку в карман. – Те картины, это ведь не он, не Хоген, их написал. А ты боишься сказать.

– Чего мне бояться?

– Эгона! – Она опять заторопилась.

Он на секунду задумался.

– Почему Эгона?

– Он тебя ненавидит. – Теперь следует поразмыслить. Закурив сигарету, Вилфред сделал

вид, что размышляет. – Ты этого не знал? – спросила она.

– Чего именно?

– Что он ее любит. Всегда любил. А она им вертела, как хотела, гоняла туда-сюда, да еще заставляла прислуживать своим любовникам, сука проклятая...

Его поразила ненависть, звучащая в ее голосе. Она казалась такой беспомощной, такой невинной в своем легком костюмчике. Но худые руки нервно сжимались.

– Так это Эгон охотится за деньгами? – спросил он.

– За тобой! – быстро возразила она. И протянула стакан.

– А деньги?

– Значит, они у тебя?

Он спрашивал, чтобы выиграть время. Но с ней не пришлось долго возиться.

– Ты ловка! – рассмеялся он. – Выходит, если я дам тебе деньги, которые, по твоим расчетам, у меня есть, ты не расскажешь Эгону, где я живу?

– Ты думаешь, я тебя шантажирую? – произнесла она с расстановкой.

– Да, – ответил он.

Знакомая картина: они как две кошки или как собака и кошка – один отступил, другой наступает... Но в ее взгляде появилась растерянность, опровергавшая все его подозрения. Она отставила нетронутый стакан.

– Я хотела помочь тебе.

Ее растерянность была неподдельной, это от него не ускользнуло.

Он приподнялся, погладил ее по голове. Она отпрянула.

– Не надо! – выкрикнула она.

– Боишься?

– Это ты боишься. – Как две кошки. В их паре нет трусливо преследующей собаки. – Ты боишься Эгона. Всегда боялся, – сказала она. – Ты мошенничал в карты.

Она выпалила это единым духом, как что-то заранее заготовленное.

Стало быть, ее все-таки кто-то подослал и она чье-то орудие. Он торопливо размышлял о деньгах, о том, какую роль он сам может сыграть в этой игре.

– А полиция? – спросил он.

– Ну конечно, – возбужденно сказала она. – Они тоже ищут их, всех ищут: нас, тебя... Не понимаешь ты, что ли! Они искали совсем другое... порошок... кокаин. Не понимаешь ты, что ли?

Теперь она говорила почти с мольбой, словно молила: только бы с кем-нибудь заодно, только бы не в одиночку.

– Если ты заявишь о картинах...

– Я не заявлю о картинах.

– Они не верят в это! – сказала она беспомощно. – Эгон не верит.

И, глядя, как она сидит, стискивая стакан, который он ей палил, он поверил ей. Все ясно. Они думают, он явится в полицию, чтобы вернуть себе картины, они думают, он клюнет на приманку, они думают, он их выдаст. Обокрал их и выдаст. Они думают... Эгон думает, что он воспользуется случаем, чтобы спасти свою шкуру, а их отправить за решетку. Да, вот в чем все дело: они боятся. И полны лютой ненависти. Эгон, темнокудрый любовник, полон ненависти и страха.

– Я ведь сказал, где найти карточки, – устало произнес Вилфред.

– Мы проверим, – сказала она.

– Кто это «мы»? – живо спросил он.

– Они не посылали меня, – ответила она. – Но я встречаюсь с ними, они расспрашивают. – И опять в ее взгляде появилась растерянность. И он вдруг понял: тому, кто пойман, не уйти.

– Ты сказала, что где-то работаешь?

Она пожала плечами, худенькими плечами в легком костюмчике. Она успокоилась. Рассказала об арестах, о том, что Адель получила срок – восемнадцать месяцев, за сводничество, незаконную торговлю, за игру и еще бог весть за что. Она сказала об этом со злорадством, каким-то детским, несмотря на всю ее серьезность. А Мадам и впрямь дама из хорошего общества. Ей дали большой срок.

В газетах об этом не было ни слова. Вилфред не понимал почему. Она снова пожала плечами. Газеты об этом не сообщают. По возможности дело стараются держать в тайне. Ведь разыскивают остальных... Кстати, знает ли он, что Адель зовут совсем по-другому? Она родом из Швеции, из Даларна. Когда она говорила об Адели, рот у нее кривился.

Да, теперь он знал, для чего он зарыл карточки. Чтобы откупиться. Деньги и остальные карточки он хотел сохранить. И еще кое-чего он хотел. Хотел, чтобы у него было запретное прибежище, которое манило и притягивало бы его в часы, когда искушения кажутся сладкими... Он зарыл карточки и сберег их в тайной уверенности, что дурное вернется, и тогда ему понадобится оружие, но, если даже ничто не вернется, ему все равно нужно оружие, потому что неплохо иметь про запас оружие зла. Газеты так и писали: «... в руках шантажиста...»

– Лола умерла, – сказала она.

– Какая Лола? – Он не помнил, кто это. В самом деле не помнил.

– Мальчика зовут Рене? – спросила она.

– Сколько? – крикнул он.

Он вскочил. И стоял замахнувшись, готовый ударить, задушить. Потом уронил руки, чувствуя, как их сводит судорога. Она обвила руками его шею. И притянула к себе. В худом теле обнаружилась неожиданная сила.

Ураганный ветер терзал верхушки деревьев. Он ощущал на своих щеках ее горячие слезы. Легкий костюмчик сам собой соскользнул на пол.

Стало быть, грянуло, ну что ж – отлично. Он поднимался от дома вверх по склону с коляской

– ему было зябко. Ураган улегся, но дул упорный ветер, пробиравший до костей. Он пошире расправил откидной верх коляски. Грянуло то, что должно было грянуть. Он поглядел на дома внизу с каким-то вялым состраданием. Там была защита – дружба, вера. Вспомнился рассудительный голос Бёрге нынче утром: «Этот Хоген – он вовсе не друг нам...» В надежде, что Вилфред объяснит.

Грянуло. Он хотел как бы оградить ребенка от их заботливости, чтобы мальчик тоже не стал проводником фальши в этом доме, в единственном доме, где фальшивая игра дала себе передышку, питаясь верой, смешной, но искренней – она была искренней верой, пока была.

Ирена!.. Его догадки оказались верны... Они лежали, прижавшись друг к другу в приливе блаженной доверчивости, и говорили все как есть, вернее, предполагали, что говорят все как есть. Но ни он, ни она не были властны над своей судьбой.

Существовали силы, которые им не подчинялись. Силы, в руках которых был закон, и другие силы, в чьих злобных, оголтелых, ненавидящих руках было нечто иное: эти волосатые руки сжимали карты, как нож. Враждебные силы были повсюду, Вилфред сам накликал их на себя, и так будет всегда, пока в нем самом сохраняются силы.

А она? Она никаких сил не вызывала. Эта девчонка в легком костюмчике просто сбилась с пути. Ее звали Енни. Почему бы нет? Все носили фальшивые имена. У всех было по несколько имен – по два, помногу...

Какая-то пара поднималась по дороге от станции. Это были Маргрета и Бёрге Виид. Шли они медленно, Вилфред видел, что они поглощены разговором. Он вновь ощутил в себе прежнее искусство подслушивать не у дверей, а сквозь воздушные слои, улавливая колебания, которые не могут достигнуть слуха, но мгновенно передаются слушателю-угадчику, если он достаточно сообразителен и чуток.

Он слышал, как она успокаивает его, – не все, мол, обман, и Вилфред ничего не выдал. И слышал, как Бёрге, который в душе убежден, что так оно и есть, пользуясь своей мужской привилегией, высказывает самые мрачные предположения, и теперь уж просто ее долг – разуверить мужа в них, согласуясь с его собственными желаниями.

Вилфред – их блудный сын, чьи прегрешения они сейчас обсуждают; он причинил им горе, без которого родительские чувства неполноценны – слишком идилличны, а стало быть, неправдоподобны.

А теперь супруги уверовали в них. Этим-то он и оказал им услугу. Он оплатил свой долг, заронив в них каплю подозрения в том, что, может быть, он их предал.

Но доброе дело будет не завершено, если теперь он не исправит положения и не одарит их робкой надеждой, что все хорошо. Сомнение – вот она отрада родителей, сверкающий драгоценный камень, который завораживает их своими переливами, потому что они жаждут неотрывно глядеть на что-то блестящее, чтобы то, что не блестит, не одержало верх и не затмило все.

Но тут Вилфред увидел нечто неожиданное. Они дошли до последнего поворота и ускорили шаги, как бывает, когда люди приближаются к тому, чего они боятся. И вдруг навстречу им появилась девочка, маленькая фигурка в голубом пальтишке с узенькой меховой опушкой. Вилфред видел, как с минуту они постояли все вместе. И девочка тут же ушла. Бёрге окликнул ее. Вилфред видел, что он роется в кармане пальто, где никогда не было денег, и что Маргрета нашла что-то в сумочке, а девочка присела и весело побежала вверх по склону. Было в ней что-то голубое и невинное, напоминавшее Эрну, храбрую девочку на фронте; как видно, она получила свои чаевые, свою награду – крест и ленту, свой почетный диплом, чтобы повесить в рамке... Он видел, как те двое вошли в дом с письмом в руке.

Это записка к нему от Ирены. Он это знал. Он подумал: «Я знал бы это, даже не увидев. Сегодня один из дней, когда знаешь все».

Деревья напевали песню, но не ласковую, а полную угроз. По дороге пробежала белочка, робко искушая судьбу. На секунду она оглянулась на Вилфреда. Его это вдруг страшно разозлило. Черт ее побери, эту белку, сидела бы себе тихонько на дереве, где она в безопасности. Стукнуть бы ее палкой, прикончить бы ее – а все потому, что она заносчиво искушает судьбу...

Он топнул ногой. Зверьку ничего не оставалось, как шмыгнуть к дереву. Но, чуть поднявшись по стволу вверх, белка снова безрассудно высунула мордочку. Его охватила безудержная ярость против этого несмышленного зверька. «Мерзкая тварь!» – завопил он, схватив длинный прут. Но в эту минуту коляска покатила вниз к обрыву. Он бросился за ней, вцепился в ее ручку. Его била нервная дрожь. Навязал себе на шею проклятого мальчишку...

Он все еще сжимал в руке прут. А ведь он мог бы вытащить мальчишку из коляски и закопать труп в землю. Мог бы выпилить крест и сделать на нем слезливую надпись.

Он уронил руку, державшую прут, прут упал на землю. Не все ли равно, «его собственный» это ребенок или нет. Разве можно владеть ребенком? Бёрге Виид вошел в дом, за ним Маргрета. Бёрге обернулся, приглядываясь к вершине холма.

И Вилфред вдруг подумал: «Бёрге – мой нынешний отец».

Ну что ж, тогда он в отместку разочарует этого отца. Отцы для того и существуют, чтобы разочаровываться в детях. Он видел фотографии отцов в гостиных, где они висели на стенах над живыми отцами, сидевшими в круге света от лампы, – с вечным укором в кротком взгляде, который наследовали отцы, сидевшие под лампой, и передавали дальше по нескончаемой цепочке укором от отца к сыну... Все несчастье отцов крылось в том, что они надеялись, надеялись, что следующее поколение будет удачливым. Своим малодушным ожиданием они механически отравляли сыновей. Как ступени лестницы переходят одна в другую, бездумно и непрерывно, так они перелагали наказание на других – на полное надежд молодое поколение, потому что рождали сыновей, обреченных жить в мире, с которым они сами не сумели совладать.

Вот сыновья и разочаровывали их – и родителям было на кого свалить вину. И несчастные отцы, сбросив с души тяжелое бремя, сидели под лампой и зализывали свои раны.

Сердце Вилфреда окаменело – стало таким, как он хотел. Теперь он был сам по себе, другие были – другими.

Надо положить конец этой непрерывной цепи, этой слепой череде надежд. Надо разорвать цепь в любом месте – и лучше всего в ее самом слабом звене!

Он, как вор, погрузил руки в теплые перинки в глубине коляски, схватил лежавшего там малыша и в яростном торжестве поднял его над головой, готовый швырнуть о камни.

– Гляди, Эгон! – крикнул он. Он стоял, подняв ребенка высоко над головой.

Внизу, между своими вытянутыми руками, он видел холмы Харескоу, освещенные холодным солнцем и испещренные тенями гонимых ветром облаков. Он видел, как Бёрге вышел из дома и стал смотреть вверх, защищаясь рукой от солнца.

Он стоял, высоко подняв ребенка и чувствуя, как все его тело наливается силой, бьющей из темных источников, чувствуя мрачную уверенность, что все вокруг было и будет злом.

Мужчина с сигарой поднял мальчика высоко над головой и подбросил его в воздух.

Позади вскрикнула женщина. Мужчина поймал мальчика сильными руками, с улыбкой обернулся – успокоить, а потом снова подбросил мальчика вверх.

Каждый раз, когда мальчик оказывался внизу, он видел скатерть, разостланную на поросшем травой склоне и уставленную синими тарелками и сверкающим серебром, видел салфетки, сложенные башенками с синими зубцами, и высокие бокалы, в которых искрилось золотистое мозельское. Но каждый раз, когда его поднимали над краем горизонта, он видел хлебные поля, желтевшие четырехугольниками среди зеленых лугов, большие белые дома, красные амбары, аллеи, ведущие к домам, и серые от пыли дороги, сливавшиеся в одну широкую дорогу вдоль реки, а по берегу темно-зеленые деревья и густой кустарник, а над рекой синее небо с белыми замками облаков.

И вдруг все исчезало, и он оказывался внизу, где скатерть; коричневый жук прополз между тарелкой с сыром и блюдечком с оливками...

А мужчина с сигарой все смеялся, смеялся. Он стоял на самом краю горизонта, между ним и бездной была только тоненькая железная изгородь – он видел и то и другое разом. И смеялся, смеялся, подбрасывая мальчика вверх так, что тот попеременно видел поля вдалеке и скатерть вблизи. Получалось как бы два мира: один внизу, где расстелена скатерть и на ней всякие красивые и вкусные вещи, а вокруг привычный гул – голоса дядей и тетушек, и другой мир, похожий на картинку из книжки у них дома, книжки с цветными литографиями «всего мира»; этот мир не пугал его, нет, пока он сам взмывал вверх, к небу, но когда человек с сигарой на мгновение выпускал его и он летел вниз, а потом тот ловил его своими сильными руками – вот тогда было страшно: сначала оттого, что он парил, а потом оттого, что попадал в могучие объятия и, казалось, уже никогда не вырвется из них на свободу. Вверх и вниз летал мальчик между двумя мирами и смеялся, потому что знал – от него ждут, чтобы он засмеялся. Потом наконец человек с сигарой, перевернув его в руках, прижимал к себе так, что короткая бородашка колола мальчику лицо. Сигару мужчина вынимал изо рта, но запах сигары оставался в бородачке и повсюду, и теперь вот так, вблизи, мальчик видел, что бородачка курчавится мелкими завитками, а лицо гладкое, загорелое и сильное – и только глаза на удивление мягкие и словно что-то выпрашивают.

Что выпрашивают? Может, чтобы он смеялся?

Он и смеялся.

На пахнущем сигарой лице вокруг глаз появлялись мелкие морщинки, а бородачка дрожала в беззвучном смехе, который таился не в ней, а только в морщинках вокруг глаз. А глаза продолжали молить. Они были грустными где-то в самой глубине, вроде как глаза Коры. Где-то глубоко-глубоко глаза были печальными и беззащитными, вот почему мальчик смеялся снова и снова, смеялся все время, пока наконец человек, пахнущий сигарой, не ставил его на землю и не спрашивал: «Чему ты смеешься, малыш?» И чей-то голос позади замечал, что Маленький Лорд всегда смеется, и слава богу: хорошо быть ребенком и уметь смеяться...

Человек с сигарой испытующе глядел на него. Присев на корточки, он заглядывал ему в глаза. «Скажи „папа“, – серьезно просил он.

– Папа.

– Ты любишь папу? – Любишь.

– А ну-ка, поглядим, догонишь ты меня или нет?

Отец бежал мелкими, быстрыми шажками, вприпрыжку, чтобы казалось, будто он бежит изо всех сил.

Мальчик бежал за ним чуть медленнее, чем мог бы, чтобы не догнать отца. Они добежали до самого леса. Вокруг душно пахло сосной. Отец побежал быстрее, мальчик за ним, он увлекся и позабыл, что не хотел догонять отца. Они добежали до лесного озерца, которое сумрачно поблескивало среди стволов. Отец бежал по траве вдоль берега. Мальчик мог бы поймать его сейчас, если бы тот при каждом прыжке не отбрасывал назад ноги в больших ботинках. Мальчик сделал последний рывок, поравнялся с отцом и сбоку уцепился за его ногу.

Отец остановился, переводя дыхание.

– Ты поймал меня, малыш. – Он крепко прижал мальчика к себе, потом отстранил, по-прежнему не выпуская из рук. – Что же ты не говоришь: «Я тебя поймал»?

– Я тебя поймал.

– Верно, поймал. А теперь давай искупаемся.

Отец сорвал одежду с разгоряченного тела. На белой коже темнели островки волос. Он зашлепал от каменистого берега по воде, потом поплыл, потом повернулся в воде и пошел к берегу.

– Теперь ты!

Мальчик снял рубашонку и штанишки, аккуратно сложил их, потом стянул с себя чулки и башмаки. И, дрожа, застыл на берегу темного озерца.

– Смелей! Папа тебя подхватит.

Мальчик вступил в воду и, когда она дошла ему до бедер, захныкал.

– Папа тебя подхватит! – В голосе нотка нетерпения.

Еще два осторожных шага, вода поднялась выше пупка...

– Не бойся, ложись на воду, папа тебя подхватит!

...Глаза зажмурены, колени ватные, будь что будет – только не смотреть. Но в то же мгновение отец сгреб его в охапку: и вот – вокруг ни души, а они обхватили друг друга, словно дурачась в игре у костра на празднике Ивановой ночи. Ледяной холод проникает до самого сердца, еще секунда – и оно остановится. Но вот они уже опять на берегу.

– А теперь побегаем, чтобы согреться!

И они бегают по берегу, там, где трава и меньше колет ноги, – высокий мужчина с загорелым лицом и белым телом и мальчик, худенький, бледный, с длинными локонами, которые влажно шлепают его по щекам и свисают до самых плеч.

– Молодец! Теперь одеваться...

Отец закурил сигару. Голубой дымок туманом поплыл между стволами, и все стало сказочным и прекрасным, почти как на большом ковре, который висит дома на стене, хотя там люди и олени и никто не курит сигары.

Отец взял мальчика за руку. Идти обратно, туда, где накрыта скатерть, хочется долго-долго – такая красивая эта тропинка, она поблескивает золотом, и между стволами стрелки света.

– Господи, где вы пропадали?

– Купались в озере.

– И Маленький Лорд тоже? – В голосе ужас.

– А почему бы нет? – Мужчина снова присел на корточки. – Ты купался с папой?

Мальчик кивает.

– Что он говорит?

– Что купался с

папой. Господи, мальчик повторяет «мама» сто раз на дню...

Теперь засмеялись те, кто сидел вокруг скатерти. Мужчина тоже подсел к ним и шаловливо схватил с блюда красного омара. Где-то, по другую сторону скатерти, не то легкий вздох, не то возглас:

– Не бери его!

Отец положил омара на место.

– Ты облюбовал его для себя?

– Нет, но он так красиво лежит. Это красное пятно...

Все опять засмеялись. Всегда кто-нибудь должен смеяться. Схватив другого омара, отец оторвал одну клешню и положил обратно на блюдо.

– Ну вот, теперь у тебя и здесь сохранится красное пятно! Прозрачный, как тень, белолицый человек по другую сторону скатерти, тот, кому принадлежит голос, – дядя Рене...

А правда, похоже на большой гобелен у них дома, хотя там олени. Впереди олень и двое мужчин, в коротких штанах и с перьями на шляпах, и две дамы, а сзади, среди деревьев, тоже олень, он бежит, и собаки тоже бегут между деревьями, и в ту сторону, и в другую, до самой глубины. А совсем в глубине река с мостиком, и маленький домик, и ветряная мельница с четырьмя крыльями, а над ней облака. А за ними маленькая-маленькая, такая, что почти и не разглядишь, еще одна опушка леса с крошечными оленями и собаками не больше булавочной головки, и все бегут, бегут, несутся стремглав в самой глубине картины...

Дядя Рене светлой тенью в самой глубине картины – голос, рука с белыми пальцами, играющими в воздухе, а рядом с ним в голубом шелке принцесса под вуалью – тетя Шарлотта. Юбки шуршат и поют, когда она встает. На голове у нее шляпа с цветником из роз, а еще выше арка солнечного зонтика и по краю арки узенькая полоска прозрачного тюля. Дама с гобелена. И мать, ее голос: «Мальчику не может пойти на пользу купанье в холодной воде...»

Веселый смех отца, сидящего со стаканом вина в луче солнца. «А почему бы нет?» Голос такой, будто это «почему бы нет» относится ко всему – к лишнему стакану вина, к оливкам, к сигаре. «Почему бы нет?» И короткий смешок, на который возражать бесполезно... И в ответ легкий смех матери, всегда готовой уступить.

А в отдалении, за рамкой картины, – мерный храп кучера Олсена в тени ландо; шляпа

надвинута на нос так, что кажется, будто густые усы растут прямо из нее. В траве валяется пустая бутылка из-под пива. Кнут лениво отдыхает на козлах, оглобли прислонены к склону холма. А в глубине между стволами гнедые лошади, и над их блестящими спинами роятся мухи.

– Олсен, не хотите ли закусить?

Кучер проснулся с зычным всхрапом, положившим конец его скитаниям по градам и весям, встрепенулся, снял шляпу, почистил ее рукавом куртки.

– Благодарствуйте...

– Да сбросьте вы куртку, Олсен. Жарища сегодня такая... Олсен смущенно держит куртку на руке, аккуратно ставит на траву съёмные манжеты, потом кладет рядом куртку подкладкой вверх.

– Как насчет омара, Олсен?

Округлившись глаза Олсена. Он не знает, как взяться за омара. Недоверчиво пробует белую мякоть. Красное лицо расплывается в широченной улыбке.

– Понравилось, Олсен? Стаканчик мозельского?

Олсен нерешительно косится в сторону пивных бутылок, влажных после лежания в ручье.

– С вашего разрешения...

Громадный кулачище привычным движением хватает бутылку, подносит ко рту. Мгновение, и глазам изумленных зрителей предстает пустая бутылка.

– Ай да Олсен! Вы должны научить меня этому фокусу! – Смех и восклицания вокруг «стола». ...И вдруг серебристый звук среди тотчас умолкших голосов. Это поет тетя Шарлотта:

Я снова вижу горы и долины,

Как в дни далекой юности моей...

Серебристые звуки вьются над скатертью, над краем бездны, плывут через долину, с ее белыми усадьбами и красными службами. Звуки и краски – почти белые, светло-серые и розовые. Все размыто, никаких резких очертаний.

– Ватто.

– Что сказал мальчик? Что ты говоришь, малыш?

– Ватто...

– Малыш сказал: «Ватто». – Смех, испуг, изумленные взгляды.

Дядя Рене проворно встал, перешел на ту сторону, где стоял мальчик, прищурившись, оглядел картину.

– Право же, это просто удивительно...

И снова смех, и еще кто-то встал. Мальчик выражает недовольство: если все уйдут из картины, ничего не останется...

И все опять смеются. По очереди встают, подходят к тому месту, откуда надо смотреть, и

оценивают картину. В солнечном мареве звенит серебряный голос тети Шарлотты.

– Ей-богу, ты сведешь парня с ума этим твоим искусством. Три года от роду и говорит «Ватто». – Это голос дяди Мартина, который что-то жует.

– Три с половиной, – поправляет другой голос. Это говорит мать.

– Пусть три с половиной, все равно это противоестественно. – Голос дяди Мартина, который что-то жует. Этот голос все на свете знает и еще любит долбить одно и то же. – Сказал бы хоть «Мане, завтрак на траве».

– Ничего подобного, – протестует дядя Рене, – какой же это Мане? Похоже на гобелен, искрится...

– Вы все с ума посходили. – Это опять дядя Мартин. – Хотите, чтобы мы перемерли от жажды?

Еще один голос затянул песню, мужской голос, приятный, негромкий, это поет человек с сигарой:

В лесу готовят пир горой, зовут на пир гостей.

Потешить так решил старик орел своих детей.

И птицы все запели и разом засвистели,

Едва сигнал среди ветвей им подал соловей.

И снова все смеются. Всегда смех, хотя голоса вечно противоречат друг другу, и в чем-то большем, чем то, что говорится словами. Но все тонет в смехе, хотя песня еще продолжается. Смех все душит и все превращает в безделицу.

– Жутко глядеть, до чего серьезный вид у мальчонки, стоит и весь нахохлился, и все это ваше искусство...

Упрямо сжал кулачки, уже начиная злиться. Сжал кулачки и подальше, подальше от толстяка, который протянул к нему руки, поближе к человеку с бородкой.

– Правильно, малыш, держись своего отца...

Запах сигары, смешанный с запахом мозельского, запахом елей и сосен и ароматом материнских духов, волной проплывшим над скатертью. Объятие отца, неуверенное, искательное, молящие глаза. Кучер Олсен отошел обратно в тень экипажа с полной охапкой снеди и пивных бутылок. Запах Олсена в ту минуту, когда он встал, – запах лошадей, кожи и чего-то необъяснимо приятного, он прозвал этот запах «садовником». И вдруг откуда ни возьмись налетела туча неотвязной мошкары, мошки жужжат и жалят.

– Ой, взгляните на небо!

Переполох. Крики. Наспех собирают со скатерти. Что-то хватают, роняют. Капли падают мелкими теплыми монетками. Все забрались в ландо, подняли откидной верх, словно крышу, и сидят в суматошном уюте, где пахнет кожей, а снаружи дождь поливает скатерть и бутылки. А тут еще по натянутому верху забарабанил град, и от этого контраста замирает душа. Взбаламученная тьма в небе, тьма над мокрым склоном с мокрой скатертью и плавающими в воде остатками еды, а там вдаль за железной оградой, внизу, – усадьбы и дороги в пронзительном свете солнца.

И вдруг все кончилось, снова сияет солнце, скатерть и другие пожитки сушатся на деревьях.

– Быстро управился господь бог – за три минуты!

Три минуты? Не может быть, прошла целая вечность, вечность, полная сказочных приключений. Розовый зонтик, мокрой тряпкой валявшийся в траве, бережно поднят и раскрыт во всем своем промокшем убожестве...

Целая вечность по богатству пережитого, целый год, а может быть, целая жизнь. Лошади под дождем и градом тесно прижались друг к другу, голова к хвосту, как гипсовые лошадки на комодке в комнате служанок. Сверкающие капли в траве и на ветках, мириады блестящих капель – они повсюду, даже на паутине между двумя маленькими елочками – проход, завешенный сетью, в которую ловятся мухи, барахтаются, борются, умирают. И вдруг какой-то прохожий...

А-а! Это коробейник, кривобокий, сгорбленный человечек, одна нога у него длиннее, другая короче, в ушах золотые серьги, и темные бороздки морщин на шее. Его приглашают к столу среди мокрой травы, он открывает огромный сундук, который нес на спине, и в нем тоже сверкающие камни и булавки, красные, синие, точно капли радуги, гребни в золоте и серебре, и малюсенькие медальоны с портретом короля Оскара в золотой рамке, и нитки жемчуга, и пряжки.

И опять смех: смеются, восхищаются, покупают. Продавец тоже улыбается и смеется, а ведь он лишился чудесных булавок – трех булавок, пряжки и нитки жемчуга, а взамен получил какие-то гадкие деньги. Но и он и они улыбаются и смеются. Коробейника потчуют едой, вином, пивом, он все сует в отверстие в бороде – и сыр, и мясо, и хлеб, и пирожное, сунул – и как не бывало. И снова смех. – «Научите меня этому фокусу!»

Минуты, часы? Нет, вечность. Вечность по богатству пережитого.

Чьи-то руки... Рука коробейника – он держал ее за спиной, а теперь она высунулась из тьмы рукава. Это не рука, а черная клешня. Легкий вскрик. Извинения. И опять смех. Клешня крепко ухватила золотую цепь и держит ее перед глазами мальчика. Сверкающее золото в черной клешне. Из леса вылетают вороны и с протяжным карканьем парят над бездной. Здесь, на лужайке, одно, там, над бездной, другое, там кружат злобно каркающие вороны и нависла тень облаков. Они плавают в мрачном царстве, где все было залито светом, когда отец поднимал мальчика высоко-высоко, чтобы он мог увидеть все вокруг. Но с тех пор прошла вечность. Теперь там – мрак бездны. «Мрак бездны» – голос матери, читающей вслух уютными вечерами, козий сыр на столе, страшные истории и картинки, картинки без конца... светлые долины с изогнутыми деревьями, и долины, которые вдруг темнеют на глазах, а деревья извиваются, и какие-то гады кишат на дне долины, под буйной растительностью, где всегда промозглая сырость. «Мрак бездны»... Почти та же самая картина, которая только что была светлой и радостной, почти та же самая, но совсем-совсем другая. Ни сверкающих капель, ни игры радуги на солнце. Он сам нарисовал две картинки – много вечеров подряд сидел над ящичком с красками, над черным ящичком с волшебными таблетками акварели. Как чудесно погружать взгляд в эти разноцветные краски: сначала долго-долго смотришь на светло-синий, и душа наполняется счастливым ожиданием, потом тихонько переводишь его на темно-красный, и уже нарождается какая-то тайная угроза. Эти две картинки он готов был рисовать без конца: первая – «Светлая страна», он подсмотрел ее в книжке с картинками, но каждый раз заново преображал и изменял, а другая – «Мрак бездны», ее он тоже подсмотрел в одной из толстых черных книг в глубине большого шкафа, откуда веяло таинственным запахом пыли и бумаги каждый раз, когда он забирался в него, чтобы вытащить книгу, одну из толстых книг в черных переплетах... («Нет, вы подумайте только, малыш опять роется в шкафу!..»)

И клешня коробейника движется туда-сюда на страшной картинке – не то это будет, не то уже было. Клешня высунулась из рукава, ловко уложила товары в сундук и снова вскинула сундук на спину: кивок головой, беззубая улыбка – и вот он уже исчез в лесу, исчез, как и появился, частица чего-то загадочного – самого леса.

Но клешня продолжала появляться из темноты. Когда она оказалась перед ним в первый раз? Что это было – воспоминание о том, что видел он наяву, или воплощение того, что он вспомнил? Неужели он вспомнил до того, как увидел? Выходит, в увиденном воплощается какое-то жуткое воспоминание? А откуда взялось это воспоминание? Оно было всегда. Все вещи уже существуют, они появляются и исчезают пугающей чередой, появляются не из того, что было когда-то, а сами собой, откуда-то из бесконечности, где находится все...

– Господи, откуда малыш это

знает?..

– Как он мог это

видеть?..

– Он никогда не мог

слышать ничего подобного...

Слова – их произносят разные голоса. Но желание убежать от клешни существовало всегда, еще до того, как он увидел клешню, появившуюся из темного отверстия рукава. Так бывает всегда: кто-то преследует и настигает сзади и кто-то впереди пытается поймать в сеть. Паук спешит по нити своей паутины, а в ней сидят мухи, не подозревающие о беде, пока паутина не оплетет их спереди и сзади, не схватит и не опутает их. Бегство во тьме гобелена, между передним и задним планами, позади неподвижных светлых дам и оленя, позади мельницы с неподвижными крыльями, но впереди той охоты с крошечными животными в самой-самой дальней глубине картины, куда не дотянется ни одна дружеская рука.

– Но ведь Кора добрая, она не кусается...

Кора нет, но другие собаки. Все остальные...

– Но ведь все так ласковы с тобой...

Все да, но только не

те – не те, кого они не знают: человек с клешней вместо руки, чудовище, сторожащее свою сеть, которая может оказаться повсюду, – перед любым отверстием, чудовище, готовое схватить каждого, готовое схватить

тебя.

Человек с сигарой, и

та прогулка с ним, прочь от охотничьих собак, в безопасность, по тропинке перешейка, где с той и с другой стороны вода, через холм Сковлию, мимо теплиц, освещенных заходящим солнцем, которое играет во всех стеклах; теплица – тоже драгоценное украшение, бриллиантовый бугорок, который благодарно подмигивает солнцу. ...Прогулка до самых дальних скал... Что это? Навстречу идет женщина. Женщина выходит из сверкания заката, выходит из солнца, и ее юная голова окружена сиянием. Она идет легкой поступью, ноги ее знают каждую неровность в здешних скалах, она сама частица этих скал. Да это же фру Фрисаксен, молодая мадам Фрисаксен, она приходит помогать, когда у них дома бывает

стирка, та самая мадам Фрисаксен, что живет в красной хижине в глубине залива, где на закате сушится развешенная сеть, миролюбивая сеть, которая никому не грозит и никого не опутывает. И человек с сигарой идет ей навстречу, протянув руки, и она идет ему навстречу, прямо из солнца, словно она часть этого солнца, и тоже протягивает ему руки. Они оба – частица солнца, самый первый план гобелена, но позади них нет лающих собак, а только море, сверкающее в лучах солнца, в предвечернем закате.

– А теперь беги, играй!..

И он бежит. Замедляет шаги. Идет. Спускается вниз по песчаной отмели, где блестят перламутровым верхом ракушки, и пускает их по воде, как кораблики. Целая флотилия. Мелкие волны, набегая, покачивают кораблики, покачивают беспорядочно и суматошно. Он пускает новые кораблики – столько, сколько может найти, вот уже вся бухточка заполнена покачивающимися, играющими перламутром корабликами, но вот один-другой кораблик, зачерпнув воду, пошли ко дну, он шлепает по воде, чтобы их спасти, но тогда другие кораблики идут ко дну, потому что, шлепая по воде, он поднимает волну. Кораблики уходят под воду, как опавшие листья. Он сунул под воду руку, ловит их и снова пускает по воде. Но теперь они тонут со всех сторон, тонущие кораблики окружают его со всех сторон – спасая один, он так взбаламучивает воду, что тонут другие. И ему приходится повсюду поспевать, внимательно следить и шарить все глубже, чтобы их выловить, выловить тонущие кораблики, они идут на дно от волнения, которое он сам поднял и все усиливает, – и вдруг вокруг него стало совсем пусто, вся его флотилия погибла, а сам он стоит по горло в воде.

– Господи помилуй! Малыш вошел в воду!

Его подняли вверх. Снова подняли вверх, в воздух, туда, где он недосягаем для покинутых, зависящих от него игрушек.

– Кораблики!..

– Какие кораблики?

– Да он промок до нитки!

В хижине мадам Фрисаксен пахнет тимьяном. Его одежда сушится на веревке над плитой, его самого закутали в одеяла. А снаружи за дверью кричат чайки, они кружат над развешенной сетью, которая в сумраке стала темной, стала сетью, которая все-таки может опутать и поймать.

У мужчины с бородкой потерянные, молящие глаза. А у нее светлый ореол над головой даже здесь в хижине, где сумеречно и пахнет тимьяном. И опять два мира – снаружи светло, внутри темно, и светлый темнеет, когда садится солнце, а темный становится светлее, в нем различаешь всякие мелочи, в дальней комнате – край кровати, блестящий медный крюк над плитой – все то, что было всегда, иначе этого не было бы сейчас, – воспоминания стали вещами, их можно взять в руки и рассмотреть, как, например, стеклянное яйцо, которое они ему дали. Внутри яйца домик и маленький лес, а если яйцо встряхнуть, на домик и деревья сыплется снег с невидимого неба, которое тоже было всегда. И вот снегопад прекратился, и опять в яйце только домик и деревья, но он слегка встряхнул яйцо, и снег опять посыпал...

Куда они ушли? Он остался один у плиты, в этом мире, а в руке у него яйцо, в котором еще один, большой мир. Как может такое громадное вмещаться в такое маленькое? Целый мир в яйце, хотя оно меньше, чем мир вокруг, в доме, который меньше, чем яйцо. И он держит яйцо рукой с царапиной на пальце, царапиной от ракушки из той флотилии, что ушла в темную глубину, куда-то вниз. Там сквозь водоросли несутся лающие собаки, вдогонку за кем-то, кто бежит...

– Кажется, мальчик плачет...

Откуда этот голос? Из той комнаты в глубине.

И снова его подняли на руки высоко-высоко, под потолок, там пушистая паутина, и в ней тоже сидит паук, с глазами, как булабочные головки, которые неотрывно следят за тобой, а в балке трещина – еще одна пропасть, наверху, и какое-то маленькое темное насекомое ползет по краю трещины, хочет не то вползти внутрь, не то выползти наружу, внутрь трещины или наружу, никак не может решиться, но тут его снова опускают вниз, на пол, где стоит старенький табурет, который скрипит, когда мальчика сажают на него. И мальчик знает, что был здесь всегда.

Был здесь всегда. Где-то в другом мире есть дом, в котором стены обиты шелком, а у стульев позолоченные ножки, изогнутые, словно в танце, потолки там такие высокие, что до них не достанешь, даже если тебя подкинут вверх до самого неба, – это мир под небом, которое выше неба.

И человек с сигарой, тоже высокий-высокий, они идут домой, рука в руку, рука, протянутая сверху, жала его руку, протянутую снизу.

– Хм, хм, – откашливается человек с сигарой снова и снова. – Весело было с папой?

Кивает – но там вверху не видно кивка.

– Весело?

– Весело с папой. – Этого от него ждут. Так полагается, – смутно мерещится ему. Весело с папой, спокойно с мамой, приятно с тетями и дядями. Все хорошо. Солнце быстро садится за невысокие обрывистые скалы, отбрасывающие густые тени.

– Где вы были? – Голос матери, сладкий запах из ящика комода.

– Море.

– А где на море?

– Маяк.

– Но вы же пришли той дорогой?

Показывает в другую сторону. Какое-то напряжение в воздухе между теми, кто здесь живет, – взрослыми. Сделать так, чтобы всем было хорошо и приятно. «Весело с папой».

Вечером у отца в руках скрипка, мать за фортепиано. «Колыбельная» Ренара. Одна из маленьких трудных пьес в большой нотной тетради, корешок ее разорвался, и страницы разлетелись по комнатам. Человек с бородкой наклонился и собирает ноты, осторожно приподняв смычок, чтобы его не повредить. Мальчик ползает по полу, собирая листки, развеянные сквозняком. Руки матери отдыхают на клавишах. Ветер стучит в окно кустом жимолости.

– Надо будет отдать переплести ноты.

Ноты водворены на место. Танцующие звуки гавота, мальчик и сам начинает приплясывать под них на диване, вытянув ноги и помахивая руками. А потом грустные пьесы, с их темными безднами и ночными бедами...

– А теперь ты, Маленький Лорд!

Мальчик с растопыренными пальцами за фортепиано. Табурет у фортепиано раскручен до отказа, он даже шатается, и на него еще подложены ноты. Зыбкий табурет, зыбкие звуки, все зыбко; отец вторит фортепиано, человек с бородкой вторит фортепиано на скрипке, а кажется, будто это он его ведет.

– Отлично, отлично – молодец...

Мужчина со скрипкой подхватил сына своей игрой. Поднял вверх, к звукам, которые рождаются под его смычком, и позволил ему побыть в этом мире, хотя мальчик еще передвигается в нем ощупью. И теперь существует только этот мир – никакого другого. Исчез маленький домик у моря с запахом тимьяна и рыбацкой сетью, он так далеко, что его просто нет. Человек с бородкой поднял его над всем. Где-то высоко-высоко прижатая подбородком скрипка и взгляд, скошенный над краем инструмента.

И вот однажды:

– Где папа?

Проходит много-много дней. Он больше не спрашивает: «Где папа?»

Что отец сделал с ним? Поднял высоко-высоко... так высоко!

И выпустил его из рук – упустил...

17

Вилфред бессильно уронил руки, державшие ребенка. Потом уложил мальчика в коляску, завернул, не ласково, но тщательно и аккуратно, словно тот был из стекла. Безмерная усталость охватила его. Черная птица уселась ему на плечо, придавив его своей тяжестью.

Он увидел, как внизу Бёрге Виид вошел в дом. В его сутулой спине была какая-то пришибленность.

Но когда Вилфред спускался по склону, увлекаемый катящейся вниз коляской, он уже покончил с сомнениями. Едва он оказался внизу, они оба вышли из дому. Может, стояли у окна в прихожей, а может...

Может, они

знали, что он идет. Наверное. Потому что и у них уже не оставалось сомнений. Бёрге держал в руке письмо. Его принесла девочка. Они ждали, что он вскроет конверт. Но Вилфред не хотел читать письмо в их присутствии, оно их не касалось.

Что бы ни было написано в письме, он от них уйдет.

Он отошел в сторону и отвернулся, чтобы прочитать письмо без свидетелей, но они все стояли на том же месте. Он вскрыл конверт, быстро пробежал письмо. Ирена назначала ему встречу у вокзала Нёррепорт. Он посмотрел на часы. И тут, услышав шаги Бёрге, обернулся.

Бёрге подошел ближе. Ему хочется кое о чем поговорить, сказал он, кашлянув. Маргрета тоже подошла ближе и встала рядом с мужем. Бёрге с надеждой смотрел на нее, словно побуждая ее заговорить. Но она отвечала ему доверчивым взглядом. Оп шагнул еще ближе к Вилфреду. Ему хочется кое о чем поговорить. Мальчик...

Вилфред уже все понял. Он намерен отомстить им за их доброту. И все же – следует соблюсти известную честность. Более того, только она и может сделать разрыв окончательным и достаточно оскорбительным.

– Я солгал вам насчет мальчика, – сказал он по-норвежски.

Оба испуганно съежились, в особенности Бёрге.

Стало быть, Хоген все-таки не проболтался, видно, счел, что ему это пользы не принесет.

– Я знала, что ты не датчанин, – сказала Маргрета. Сказала почти с мольбой: пусть это будет единственным разоблачением, ведь это безделица.

– ...и не отец ребенка, – продолжал Вилфред. – И мать его не француженка и не моя жена. Его мать – как бы помягче выразиться – копенгагенская девка. Ее зовут Лола, то есть теперь уже не зовут, она умерла.

– Умерла? – переспросила Маргрета.

Только бы не дать угаснуть этой растущей враждебности. Может, признаться, что он обманывал их во всем, с первой минуты?.. Нет, это приведет к обратному результату: ведь только настоящий друг способен вот так выложить всю правду, как на духу.

– Теперь все! – объявил он. – Я ухожу. – И он отступил назад. Но опоздал. Бёрге снова шагнул к нему, такой же застенчивый, но чуть более уверенный, с голубым пламенем в решительном взгляде.

– Нет, не все. Мальчик...

И он снова обернулся за помощью. И снова она шагнула вперед, и они вдвоем стояли против него.

– Я так любила его, – твердо сказала Маргрета.

Тут вмешался Бёрге, теперь уже с жаром.

– Мы давно мечтали взять его к себе.

Видения проносились перед взглядом Вилфреда – видения прошлого, того, что, должно быть, предшествовало всему, пережитому им самим, и того, что было совсем недавно: несколько месяцев жизни бок о бок с этими людьми, жизни, наполненной обманчивым покоем.

– Берите его! – сказал он. Ему вдруг стало весело. – Берите, говорю, разве вы не понимаете, как меня это устраивает, это избавит меня от...

Маргрета вскрикнула, надо полагать, увидела в его взгляде что-то, что ускользнуло от Бёрге. Она шагнула к коляске, словно для того, чтобы ее защитить. Вилфред засмеялся.

– Только у меня нет никаких документов. – Он чувствовал, что голос у него вот-вот сорвется. То, что происходило сейчас, слишком перекликалось с тем, что было когда-то, поэтому ему не удавалось совладать с собой.

– Ты уходишь? – спросил Бёрге и протянул ему руку. Вилфред пожал ее, кивнул. Потом обернулся к Маргрете, правой рукой она уже держала ребенка и протянула левую. Он подарил им ребенка и получил отставку. Ему становилось все веселее.

– А твои вещи?

Он мотнул головой. И не обернулся у подножья склона, где начиналась дорога к станции, хотя знал, что они глядят ему вслед. Стало быстро смеркаться. Дело шло к вечеру.

Выйдя у вокзала Нёррепорт, он обнаружил, что явился на полчаса раньше, его это устраивало – он хотел спрятаться где-нибудь и поглядеть, одна ли она придет на свидание. В общем-то он знал, чего ей от него надо. Он согласился встретиться с ней, потому что так или иначе собирался в город.

Но пока он озирался в поисках укрытия, она оказалась рядом с ним.

– Ты одна? – спросил он.

Она кивнула.

– Они пронюхали, где ты живешь, я для того и пришла, чтобы тебя предупредить.

– Я и так знал, – ответил он.

– Но я не трепалась! Я хотела тебе объяснить.

– Ах, вот как! Ты хотела мне объяснить. – Он с презрением смотрел на нее. Она была все в том же легком костюмчике, но на улице потеплело, и ему уже не было ее жаль. Она неуверенно стояла перед ним на людной площади, где поток прохожих вливался в прожорливые подземные проходы к вокзалу и выливался наружу. Из дверей тянуло спертым подземным воздухом. – Ну и что же дальше? – спросил он.

– Ты мне не веришь, – сказала она. – Но рано или поздно тебя должны были накрыть. Угостишь меня стаканчиком?

– Нет, – отрезал он.

– Значит, не веришь.

– Не все ли равно.

Он отошел в сторону и, уже собираясь уходить, сказал:

– Они могли выследить тебя той ночью. Могли выследить теперь. А может, ты просто сговорила с ними. Не все ли равно.

Он быстро пересек широкий проспект и нырнул в узкую улицу Нёррегаде. Возможно, она сговорила с ними заманить его в ближайшее кафе, а может, они явятся прямо на улицу в назначенный час. Стараясь выиграть время, он кружил по маленьким улочкам вокруг площади Гаммельторв. Купил в какой-то лавчонке нехитрый инструмент, а на углу Вестербро взял такси.

Он не оглядывался до тех пор, пока не оказался у пологого спуска в подвал. Улица была на удивление безлюдной. Только он нащупал в кармане инструмент, как подъехал грузовик, затормозивший у входа. Двое мужчин соскочили с кузова и, отперев дверь, скрылись в подвале. Грузовик въехал задними колесами на пологий спуск. Все произошло так быстро, что Вилфред не успел решить – на пользу это ему или нет. Грузчики начали выкатывать из подвала головы сыра.

Вилфред решил, что извлечет из этого пользу. Когда рабочие поднялись наверх и на мгновение повернулись к нему спиной, он юркнул внутрь и спрятался за штабелями сыра у самой стены в глубине. Он шарил руками за спиной, нащупывая деньги и карточки, когда рабочие вновь появились в погребе. Сокровища были на месте. Шаря торопливыми пальцами

по холодной стене, он чувствовал, что они здесь, – на том самом месте, куда он их спрятал в ту ночь. Рабочие вышли снова – он сунул деньги в карманы. А потом прилепился к стене, пережидая, пока они еще дважды выходили и возвращались. Наконец обоим понадобилось забраться в кузов, чтобы разместить груз, – Вилфред слышал, как они сговаривались об этом, выходя из подвала. В то же мгновение он оказался на улице. Оглянулся, но не торопливо и настороженно, а как гуляющий, который немного сбился с дороги. Однако веселая уверенность не приходила к нему, как бывало. На улице почти совсем стемнело. Он попытался ощутить себя победителем. Деньги при нем, он в том мире, куда стремился. Вечерний ветер нагнал клочья тумана, и они клубились вокруг уличных фонарей. Фонари на этой улице стояли далеко друг от друга, между ними зияли темные провалы. Все это к лучшему. Вилфред отошел от грузовика и роковой двери, сделав на пробу несколько шагов, словно желая увериться, в какую сторону его тянет. Его тянуло в сторону города, к шумным улицам, где было много машин, людей и света. Казалось, радостное чувство все-таки вот-вот прорежется в нем.

И тут вдруг он понял – они здесь. Только не знал где. Может быть, в темных подворотнях вдоль пустынной улицы, а может быть, прямо за ближайшим углом. А может, это кто-то из прохожих, безучастно переходящих улицу в туманной дымке между фонарями.

«Это все потому, что я боюсь», – подумал он торопливо. Но само слово «боюсь» вызвало у него приступ страха, Он дрожал от холода в легком пиджаке. «Боюсь», – отозвалось где-то в душе и опять – «боюсь», хотя он пытался задушить в себе это слово.

Он перешел на другой тротуар и зашагал по широкой поперечной улице, ведущей к улице Вестербро, потом снова свернул направо. Уютный свет лился из окон «Параплюен», веселые крики неслись с каруселей в саду Тиволи. Всюду было празднично и весело, и от души немного отлегло. Выйдя на площадь Ратуши, он почти успокоился. Тут стояли фургоны, торгующие бутербродами, люди толпились вокруг белых фургонов, над которыми мирно порхали голуби. Всюду толпа, безопасность – нет безлюдья, таящего угрозу. Разносчица газет с седыми прядями, выбившимися из-под форменной фуражки, хриплым голосом выкликала новости с первых газетных страниц.

Наверное, это все одно воображение. Он идет по городу в толпе, где у каждого уйма разных дел, он – просто один из множества поглощенных собой людей, людей, спешащих куда-то или сидящих на холодных скамьях и занятых мыслями, которые не имеют ни малейшего отношения к судебному процессу, связанному с ночным клубом и прекращенному много месяцев назад. Он нервно усмехнулся. Просто смешно предполагать, что кого-то в мире интересует его маленькое приключение, которое в конце концов сводится к тому, чтобы спасти деньги, выигранные в честной игре с бандитами однажды ночью в незапамятные времена.

И все-таки здесь было, пожалуй, даже слишкомлюдно, он решил спуститься по Студиестреде, чтобы укрыться в старой части города с ее массивными домами. Он знает, что его внезапный страх вызван одним лишь воображением. Он хочет углубиться в старую, уютную часть города, чтобы понежить собственную душу, вызвать в ней спокойную неторопливость. В переулке Студиестреде он почти успокоился. Им уже начал овладевать былой радостный подъем. И вдруг в нем зазвучали мощные звуки: «Та-та-та-там, та-та-та-там... Та-та-та-там, та-та-та-там...»

Что это? И вдруг он понял. Проклятая Симфония судьбы. Давным-давно ее мелодия однажды вселилась в него, это было, когда в снег и бурю он пробирался к хижине мадам Фрисаксен. Тогда мелодия предвещала смерть. Он попытался отогнать звуки, начал что-то насвистывать, но мгновение спустя грозные такты нахлынули снова. Они рождались в нем самом, обрушивались на него извне, бредово-тяжкие глыбы беззвучных звуков. Они черпали свою окраску из каких-то глубин его памяти, которые ожили сами собой, предвещая опасность.

Он вышел на площадь Фрюэ и в самой ее пустынности почуял угрозу. «Та-та-та-там, та-та-та-там...» Безмолвные звуки гремели в нем как силы судьбы и смерти. К дьяволу, к дьяволу – о, если бы можно было заговорить эти звуки, принудив их к вечной немоте! Но они, наоборот, все нарастали в нем с такой мощью, словно их отбивали тысячи барабанов. Взволнованный ритм передался ногам, и он невольно побежал мелкой рысцей. Если за ним и вправду гонятся, преследователи решат, что он заметил их и спасается бегством, тогда они плотнее сомкнут кольцо. Он замедлил шаги усилием воли, которое отозвалось в нем почти физической болью. Но звуки возникли снова: вначале грозные и медленные, они вдруг стали торопливее и все убыстрялись, стремясь к зловещей кульминации, которая вновь вынудит его пуститься бегом.

Он свернул в переулок Стуре-Канникестреде, неожиданно оказавшийся безлюдным. Если они идут следом, здесь они его настигнут. На мгновение остановившись, он отер пот со лба, лоб был холодный, пальцы тоже. Сунув руки поглубже в карманы, он нащупал свои славные денежки. Ему вдруг пришло в голову остановиться под фонарем и спокойно их пересчитать. Но не успел он остановиться, как звуки Бетховена вновь нахлынули на него и погнали дальше, и снова бегом, едва дошло до того места, где ускоряется темп. В полумраке между фонарями он увидел перед собой двух мужчин. Лучше пойти прямо на них. Они стояли, негромко разговаривая. Но когда он оказался совсем рядом, они даже не повернули головы в его сторону. «Ох, уж эти немцы, – говорил один из них, – победят или нет, а все равно войну выиграют...»

Конца Вилфред уже не слышал. Он прошел дальше с чувством невыразимого облегчения. Что у людей на уме? Война, само собой, или мир, или их собственные крошечные заботы, а он насочинял невесть чего! Он победоносно остановился. И в первый раз настолько осмелел, что решился оглянуться. За ним стояли двое, другие двое, не те, что говорили о войне. Они скользнули в тень, отбрасываемую стеной дома. Страх снова овладел им – на сей раз с неодолимой силой. По другую сторону улицы, возле сквера адмирала Гедде, в темноте появилась еще одна фигура. Он не решался проверить, идут ли они следом за ним. Но, собираясь перейти Кёбмагергаде, он снова увидел две тени под аркой пассажа «Регенс». На мгновение остановившись в толпе, он попытался собраться с мыслями...

Теперь ему все было ясно. Он должен выбраться из многолюдства и снова сделать проверку на тихих улицах. Если там его никто не тронет, значит, все это одно воображение. Он может преспокойно взять такси и поехать куда-нибудь за город, подальше от холмов Харескоу, на открытый простор, где царит покой.

Вскоре он оказался в узенькой улице Ландемеркет, но, когда он уже собирался свернуть направо, он вдруг вспомнил дом на Гаммель-Мёнт, одно из пристанищ Адели. Он повернул в другую сторону и добрался до широкой Кронпринсессегеде – Росенборгский парк оказался у него по левую руку.

Безусловно, это было разумное решение. Здесь просматривалась вся улица вдоль высокой ограды. Широкая улица и сад навели его на мысли о парке, о лебедях. Когда-то он сидел во Фрогнер-парке вместе с Мириам и выворачивал наизнанку все темные стороны своей души, все дурное в ней. Тогда он имел над Мириам какую-то власть. Он пользовался ею, чтобы сгустить темные краски так, что становилось больно самому и мучительно для других. Для нее в этом мире важно было

подняться. Да, вот в этом-то вся и разница – тот, кто верит, что можно «подняться» или «пасть»... Но он не хочет «подняться». Потому что это вечное «подняться» предполагает существование манящего «пасть». Он понял вдруг: не хочет он «подняться», он не знает, куда это ведет и зачем...

Он рассмеялся. Прислонившись к ограде парка под фонарями, он стоял и смеялся. Пусть они

явятся и схватят его. Не хочет он подниматься к чему бы то ни было... Он только хочет выиграть время – больше ничего. При нем деньги, довольно много денег, может быть, целое состояние – не все ли равно! Не за деньгами он гнался, он гнался за развлечением, которое как небо от земли отличается от игры в безик с благополучными обывателями, живущими умением проделывать трюки со словами и звуками. Некоторое время он поиграл с людьми из темного мира, эти люди были вне закона, вне того, что принято. Он к ним не принадлежит, ни к тем, что по ту, ни к тем, что по эту сторону. Плевать ему на них с высокого дерева, как говорит дядя Мартин, на них, да и на всех остальных тоже, а все потому, что некто – аромат сигары – поднял его высоко вверх и выпустил из рук. Он занимался «спасением» детей и еще бог знает чем. Надеялся как-то связать себя с жизнью, которая, как видно, существует, раз все ее признают. Но ему нет места в этой жизни, ее законы и жалкие всплески милосердия не имеют к нему отношения. Теперь он это понял – он победоносный одиночка, стоящий особняком во мраке, где люди преследуют друг друга ради собственной мелкой выгоды.

Однако он, кажется, сбился с пути. Что-то влекло его неизвестно куда – но все время вправо. И вдруг он понял, что они где-то рядом, что они все время были рядом, спереди и сзади, что они неотступно следовали за ним, чтобы поймать его там, где смогут с ним разделаться.

Кто-то легко хлопнул его по плечу, он повернулся волчком. Перед ним стоял Эгон – темный, громадный. Фальшивая улыбка на лице, обрамленном завитками густых волос, утратила былую угодливость.

– А ну, давай их сюда!

Он повернулся с быстротой молнии. Впереди шумела многолюдная улица Боргергаде, где бегали сопливые ребятишки, матери сзывали их домой – спать. Перед ним стоял человек, выросший прямо из асфальта. С другой стороны улицы приближался третий, это был игрок из клуба «Северный полюс».

– А ну, давай их сюда! – снова повторил Эгон прямо за его спиной.

Он мог, пригнувшись, проскочить на оживленную Боргергаде. Ему вдруг показалось немислимым, что можно оказаться во власти трех бандитов в пятидесяти метрах от толпы. Чужие руки шарили в карманах пиджака. Он схватил было их, но его самого схватили за оба запястья. И стали выворачивать руки так, что он рухнул на колени, ткнувшись лицом в тротуар. Над своей головой он слышал приглушенные голоса: «Давай поживее!..»

Грянуло. Он почувствовал пронзительную боль – это его ударили ногой в спину. Руки его они выпустили. И еще раз ударили ногой – на этот раз в голову. Он приподнял ее и увидел впереди на оживленной улице множество ног. Он хотел крикнуть, но тут на лицо ему легла чья-то пятерня, жаркая лапа, и стала раскачивать его голову взад и вперед так, что казалось, вот-вот переломится шея.

Наконец рука выпустила его голову. Она упала, и сам он остался лежать ничком, лицом в асфальт. Он попытался закрыть рот, но не мог, он вдруг вообще совсем обессилел. Они втащили его в какое-то парадное и там швырнули на деревянный пол, все так же лицом вниз. Он хотел подтянуть под себя ноги, чтобы вскочить, но и на это у него не хватило сил. Они считали деньги. Потом перевернули его на спину, потом поставили на колени – голова у него тряслась.

– Карточки!

Он попытался что-то сказать, но у него вырвался только невнятный стон. Его плашмя ударили по лицу ладонью. Ему удалось совладать с губами.

– Там же, – пробормотал он.

– Где?

– За сыром.

Они снова выпустили его. Он свалился, как мешок, открытым ртом в грязь. Они о чем-то шептались над ним.

– Поднимайся!

Он прополз на четвереньках несколько шагов.

– Вставай! – повторили они на этот раз с угрозой. Он пытался подчинить себе свое тело, пытался изо всех сил, но тяжело рухнул на пол, лицом вниз. В то же мгновение они рывком поставили его на ноги. Кто-то плюнул ему в лицо и размазал плевком. Потом лицо чем-то обтерли – кажется, его собственным галстуком. Его охватило властное желание бить. Изловчившись, он пнул кого-то ногой. Кто-то приглушенно вскрикнул от боли, но его тут же стали бить ногами в ответ, он снова упал, и его снова рывком вернули в стоячее положение. В руках у них был купленный им нехитрый инструмент – нож, железный ломик. Один из них легонько стукнул его ломиком по лбу.

– Хватит! – услышал он словно издалека голос Эгона.

И потом короткую команду:

– Пошли!

Он сделал несколько шагов, но колени то и дело подгибались, стучаясь одно о другое.

– А ну, иди! – погоняли его сзади.

Перед собой словно в тумане он видел оживленную улицу. Только бы добраться до нее, но расстояние казалось бесконечным.

– Иди! – понукали его за спиной.

Он шел, спотыкаясь, пошатываясь, но шел. Вокруг были люди. Эти трое, должно быть, идут позади, чуть поодаль. Он шел как в бреду. Где-то в самой глубине сознания притаилась мысль: «Теперь они оставят меня в покое. Они получили свои деньги, они знают, где проклятые карточки». Но когда он дошел до угла улицы, где струился поток пешеходов, он увидел впереди на другой стороне Эгона. Стало быть, Эгон просто обогнал его и снова готов схватить.

Он свернул направо, в людской поток. И думал: «Почему люди не останавливаются, все разом? Ведь по мне все видно». Он хотел что-то сказать, броситься вперед, крикнуть. Но ноги не слушались, и он не мог издать ни звука. Совсем рядом он видел лица, слышал голоса, кто-то сказал: «Ведь он женат на этой знатной даме – Сильвии Кнут...» Другой голос спросил: «Кто он?» И первый ответил: «Да Иоханнес Поульсен, черт побери, он собирается в турне по Норвегии». У Вилфреда мелькнула мысль: «Копенгагенцы только и говорят что о своих актерах». Он должен втащить их в свой неправдоподобный мир – не может быть, чтобы среди многих сотен людей ни один не оказал ему помощи.

В то же мгновение его толкнули в спину. Обернуться у него не было сил. Куда они намерены его загнать? Он не хотел расставаться с толпой, вокруг были дети, сопливые, неряшливые, в просторных, не по размеру, штанах. Ручные тележки с овощами и фруктами катили домой. Но ведь их толкали люди, люди были повсюду...

Должно быть, его не гонят в каком-то определенном направлении. Но они все время где-то

рядом – впереди, сбоку – повсюду.

Вдруг он увидел море света и рванулся к нему – оно как-то внезапно открылось перед ним. Он уже удалился от людных улиц – похоже, это случилось давно. Он увидел афишу, много афиш. Лампочки казались звездами, потому что глаза слезились: в них попала грязь. Подолгу смотреть обоими глазами сразу он не мог. Но на афише разглядел буквы: «Мириам Стайн».

Может ли это быть? Неужели весь вечер ноги вели его именно сюда? Но ведь тут не было надежды на спасение. Верно, верно, теперь он вспомнил: Хоген говорил об этом ночью во дворе, казалось, с тех пор прошли годы – его «земляк», Мириам Стайн, дает концерт в Малом зале...

Стало быть, она стоит сейчас на залитой светом эстраде и играет. В ста шагах от него стоит и играет для нарядно одетых людей, которые слушают, полуоткрыв рот и затаив дыхание, с программкой на коленях...

Он остановился возле самой афиши. За решеткой, в выложенном камнем внутреннем дворике стоял привратник в форме. Вилфред почувствовал: преследователи на мгновение отстали, иначе ему уже дали бы тумака в спину. Но он знал: они не ушли. Где-то в отдалении, в смуте толпы ему виделся Эгон – выжидающий, громадный. Они не ведут его, нет, они следуют за ним до какого-то места, где попытаются выжать из него еще или же...

Мгновенная мысль обдала его ледяным холодом, мысль о тех, кто исчезал из игорного зала. Нет, он не считал, что их убили, но они исчезли, страхом выметенные из того мира, среди властителей которого царили свои законы. Этому кошмару надо положить конец. Ты можешь изувеченным протаскаться по улицам, где полным-полно людей, где яблоку негде упасть, зная, что тебе грозит, и не найдешь ни единой души, к кому обратиться. Этому надо положить конец.

Он быстро проковылял за один из воротных столбов и укрылся в его тени как раз на границе освещенной части двора. Он собрал воедино все мысли, все силы. Он угадывал, что артистический вход должен быть где-то слева, наверное, там лестница, укромное местечко, где можно спрятаться и хотя бы несколько мгновений побыть в безопасности. Он, шатаясь, побежал к двери, хоронясь в густой тени.

На лестнице он постоял, прислушиваясь. Во дворе он нырнул в тень на границе с освещенной площадкой, там, где свет слепил глаза, – Эгон мог потерять его из виду. Между ним и теми, кто его преследовал наверняка были люди. Улица поглотила его. Может, они все еще стоят каждый на своем углу, растерянно озираясь по сторонам. Но ноги больше не держали Вилфреда, колени подогнулись. На четвереньках он пополз по ступеням вверх, пока не добрался до площадки, куда выходила серая дверь. Он медленно встал, выпрямив ноющую спину, и вцепился в дверную ручку – дверь подалась. Он стоял в полутемном коридоре. И тут издали, из темноты, он услышал музыку, нежный звук скрипки.

Он стал пробираться вперед, хватаясь за стену. Еще одна дверь, маленькая лесенка, сюда проникал свет. На верхней ступеньке он рухнул на колени. Он находился в маленькой освещенной прихожей, которая вела в комнату с обтянутой шелком мебелью и зеркалом. В лицо ему пахнул аромат цветов. Он на четвереньках вполз во вторую комнату. И вдруг звуки стали громче, мощнее, словно окружили его со всех сторон. Потом тишина. И – гром аплодисментов. И опять тишина. Дверь напротив него открылась, на пол легла полоса яркого света. И вошла Мириам – за ней тоже тянулся шлейф света, казалось, это он несет ее к столу, у которого она опустилась на стул. Аккомпаниатор стоял как раз в полосе света, белая манишка на груди ловила его отсвет, как при закате солнца. Но аплодисменты нарастали, обрушиваясь каскадами водопада. Она встала со скрипкой в руке и снова пошла к выходу. Он заметил, что в тени у двери стоит человек, маленький человечек в форме капельдинера.

Теперь аплодисменты рокотали, как прибор. Он снова увидел в дверях Мириам с цветами и скрипкой, в ореоле света. Она, шатаясь, добрела до стола, осторожно положила на него инструмент и прижала руку ко лбу, точно вот-вот упадет в обморок. Человечек у двери что-то сказал. Она снова встала, улыгнувшись какой-то неземной улыбкой. Всю ее усталость как рукой сняло. Казалось, страстное ожидание зала влечет ее к выходу. Но вдруг она остановилась, вернулась, чтобы взять скрипку. И тут увидела Вилфреда.

Он хотел подняться с колен, но не мог. Она подошла к нему со скрипкой в руке. Аплодисменты в зале гремели бурей. Он медленно помотал головой: пусть она идет в зал. Тут он заметил, что рука, держащая скрипку, дрожит. Услышал, как гном возле двери шепнул: «Они кричат „бис“!» И вдруг гном тоже заметил Вилфреда. Он ринулся к нему.

– Нет, нет, нет! – простонала Мириам. Она стояла в полосе света, падающего со сцены, в зеленом, с золотом платье. Она быстро склонилась над ним, но он снова помотал головой и кивнул в сторону двери, показывая ей, чтобы она шла на сцену.

– Помогите ему! – шепнула она гному. И вышла. Аплодисменты загремели громче – и стихли. И снова до него донеслись звуки скрипки.

Человечек в форме нерешительно склонился над ним. Вилфред подполз к стулу. Сиденье было завалено цветами. Опираясь на руки, он приподнялся, прислонился к стулу и так и остался стоять на коленях, зарывшись лицом в цветы. Аромат их оглушил его, пронзил насквозь. Он сполз на пол, стащив за собой букеты, и так и остался лежать, засыпанный цветами. Последнее, что он услышал, был низкий звук ноты соль.

Часть третья.

САМ ПО СЕБЕ

18

Жизнь преступного мира идет своим чередом, и царит в нем закон удачи. Бродит в Копенгагене некий Эгон, он одурел от жажды мести, которая стала его навязчивой идеей. Ценой многотрудных усилий он вернул себе часть потерянных денег и уже успел перегрызться из-за них со своими компаньонами. Выходит, деньги ему счастья не принесли. Но не в этом суть, главное – этот достойный малый, умеющий схватить удачу на лету, а потом ее удержать, потерял жертву, на которой однажды в жизни решил выместить все несправедливости и унижения, что он претерпел на своем веку. Ни в детстве, ни в юности никто не протянул ему руку помощи – удачу он оседлывал сам. Но в его жизнь, смешав все его планы, вторглась страсть, и кто ее знает – может, эта страсть была не лишена благородства. Долго вынужден он был смотреть, как его избранница Адель одного за другим меняет любовников. Только сам этот искусный ловец удачи так и не удостоился попасть в вереницу счастливых, хотя неотлучно был при ней – верный пес, тварь, ползающая на брюхе, он в полном смысле слова развязывал шнурки ее ботинок, он застилал ей постель и чистил ее нужник. В других случаях жизни он хватал что попало со всех блюд, в которых ему отказывали, а этот лакомый кусочек день и ночь был от него в двух шагах, но так ему и не достался.

В камере Западной тюрьмы сидит девушка, по имени Адель, она вяжет не покладая рук. Руки у нее ловкие, надзирательницы пишут в своих отчетах, что она ведет себя примерно, от работы не отлынивает, и соседки по камере ее уважают. Но в отчетах нет ни звука о том, что Адель поддерживает постоянную связь с внешним миром, и осуществляет эту связь голодный бешеный пес по имени Эгон, на след которого полиции так и не удалось напасть. Он из тех темных личностей, что ведут ночную жизнь, в чем их только не подозревают, но наверное не знают ничего. Их много, рано или поздно они попадают на какой-нибудь мелочи – ну что ж, значит, не повезло; но поимка их весьма мало помогает, а то и вовсе не помогает полиции пролить свет на то, чем эти лица занимаются на самом деле. Взять, к примеру, торговлю средствами, которыми люди одурманивают себя в своем стремлении убежать от действительности, – ее быстрый рост внушает серьезную тревогу. Вполне возможно, что Эгон приложил и к этому делу свои неутомимые руки. Вполне возможно, что он помогает налаживать контакты между крайними звеньями цепочки, на которую полиции время от времени удаётся напасть.

Время от времени такого Эгона удастся схватить и несколько суток продержать за решеткой. А потом придется выпустить его на свободу. Время от времени в силки ловится пташка вроде такой Адели, про которую, собственно говоря, известно лишь одно – что она обслуживала грязную ночную жизнь в городе, который всегда стремился, чтобы в его ночной жизни была доля соблазнительной грязи. Будет в нем одной Аделью больше или меньше, роли не играет. Да и одной Мадам больше или меньше – тоже не велика важность. Но так уж положено – схватить этих пташек на лету, да еще запереть и забить двери большого заведения, о существовании которого знали тысячи людей – не подозревали одни только власти.

Жизнь неимущих во всем мире тоже идет своим чередом, и в ней тоже царит закон удачи. Во всех странах развернулась мощная борьба за то, чтобы закон отныне не зависел от случая и удачи, оно и понятно: во всех странах царит великая нужда. На улицах Берлина за солодовый хлебец можно купить несовершеннолетнюю девочку; зная верные адреса, во всех городах можно кого-нибудь купить. Новая Адель унаследовала тетушек с Гаммель-Мёнт – и так во всех городах, где в перенаселенных улочках стоят покосившиеся хибары и за грязными шторами ближе к ночи бренчит расстроенное пианино. Даже обезвреженная, Адель держит в своих руках кое-какие нити. С печальной усмешкой вспоминает она одного из своих любовников, белокурого сметливого парня. Чего-чего он только не умел и не придумывал – залетная птица среди ее избранников, но тужить о нем не стоит. С минутным озлоблением вспоминает она, как этот барчук пожалел итальянского мальчишку-акробата на лужайке в Тиволи... Думал небось, что людям без труда дается их ремесло. И не он ведь один так думает. Это злит Адель – она не лишена социального чутья.

В газете, которую ей доставляют тайком, Адель читает о военнопленных, которые терпят нужду и исчезают где-то на востоке, о миллионах беженцев, которые застряли на какой-нибудь границе между чем-то, что было раньше, и чем-то, чего уже след простыл.

В этой лавине бедствий она разбирается не лучше, чем большинство других людей, да и по правде сказать: что ей до них.

Ей ясно одно: своя рубашка ближе к телу. А стало быть, первым делом надо обзавестись своей рубашкой. Тогда жизнь снова войдет в колею. А в общем, на свой лад Адель в этих вопросах смыслит не меньше, чем политики с сигарами в зубах, хмурящие лбы на газетных страницах, ведь они-то никогда не испытали на своей шкуре, что значит дойти до предела и оказаться на грани, пусть даже эта грань – всего лишь граница между добропорядочным и недобропорядочным в этом мире.

Есть мир уголовный, и мир неимущих, и мир военнопленных, репатриированных и пропавших без вести. В этом последнем тоже царит закон удачи и надежды – надежды на сигарету и

кусочек хлеба, или на то, что, несмотря на рыщущий свет прожекторов, ночью тебе удастся пробраться сквозь колючую проволоку, или на то, что господь бог ниспошлет тебе избавительницу-смерть. Есть еще мир политиков, тех, кто пытается навести порядок в хаосе, воцарившемся повсюду в итоге четырех лет войны, – в этом мире тоже царит закон удачи, ибо каждый может получить лишь то, что ему удастся вырвать у противной стороны, выгода одного и здесь в ущерб другому. Вот и приходится идти на уступки, то есть ловить удачу, не пренебрегая сиюминутным выигрышем в деле, ради успеха которого ты бьешься, пусть даже этот выигрыш намного меньше тех требований, в справедливости которых никто не сомневался, когда они были выдвинуты впервые.

В Париже члены Национального собрания, хмуря лбы, требуют полных репараций от побежденной Германии, где смертность увеличилась вдвое по сравнению с началом войны, где четырнадцатилетние подростки выглядят семилетними. Рейхсканцлер отвергает такие мирные условия, а в Мюнхене началась гражданская война. Но что до того читателям газет в Скандинавских странах? Ведь это происходит за тридевять земель. Египетские националисты требуют начать священную войну – но ведь и это тоже за тридевять земель. В Национальной галерее в Христиании открылась выставка Коро, его серебристо-серые тона размягчают душу. Но посетители выставки стараются держаться друг от друга подальше, а вернувшись домой, полощут рот пиродонтом, чтобы уберечься от испанки. Тетя Кристина демонстрирует этот препарат от двенадцати до двух в Доме ремесел.

То и дело позвякивает колокольчик у дверей лавчонок на маленьких улочках: люди входят сюда с деньгами и выходят с хлебом, а те, кому не повезло, рады были бы пожертвовать своим добрым именем и спасением души, только бы отведать кусочек. Так звонят во всех странах колокола победы в честь окончания войны. Они на диво напоминают тихий звон колоколов над кладбищами, где в присутствии одетых в черное родственников предают земле тех, кто не выжил.

Сегодняшний мир – это мир выживших, мир убийц и тех, кто избежал убийства. Добропорядочные семейства в нейтральных странах никогда не обагрят своих рук в крови, они только складывали их в молитве. И что же, их молитва была услышана: в один прекрасный день война окончилась. Стало быть, они молились не зря.

Сегодняшний мир – это мир писателей!.. Старшее поколение, взяв в руки перо, может теперь описать пережитые ужасы, чтобы предостеречь потомков, а те будут смаковать эти ужасы в твердом убеждении, что они никогда не повторятся. Но зато настало время восстаний. Пусть они тоже стоят крови, но уж

эта кровь по крайней мере прольется не зря...

А молодые писатели-ясновидцы, отбросившие прочь все иллюзии, уже могут стать потерянным поколением, возложив всю вину за совершенные ошибки на своих предшественников. Что ж, они имеют на это полное право, как военнопленные имеют право вернуться на родину, как бедняки имеют право на хлеб, а усопшие – на могильный крест с именем, иногда даже их собственным.

Точно так же Эгон имеет полное право ненавидеть всех представителей проклятого высшего класса, чьи пути иногда скрещиваются с его путями, но кому удастся от него ускользнуть, а семья Саген, живущая в далекой и совершенно нейтральной стране, имеет полное право сохранить те свои капиталы, которые не были потеряны в результате сделок, оказавшихся, несмотря на самые благоприятные прогнозы, не такими уж надежными, ибо они были рассчитаны на то, что война затянется. Но что у тебя есть, то есть. Взять, к примеру, семейство Эрн, отца и сына, – что у них есть, то есть, а есть у них то, что они приобрели благодаря энергии и предприимчивости, проявленным ими при благоприятной конъюнктуре. Так разве же справедливо урезать нажитый ими капитал, повышая налоги, чтобы облегчить

нищету тех, кто не проявил подобной же смелости?

Конечно, несправедливо. И несправедливость эта не единственная. В этом мире, полном новых собственников, имущему человеку не найти справедливости. Бесцеремонное поведение властей озлобляет тех, кто выбился в люди благодаря собственному усердию и дальновидности и кто не намерен дать себя обойти. Усердные и дальновидные люди в негодовании своем объединяются и протестуют. Разве обязаны они, к примеру, заботиться о семьях погибших моряков или о тех, кто сидит с пустыми руками, которые нынче не к чему приложить? Люди на суше и на море знали, на что они идут. Дядя Мартин Мёллер с этим согласен, совершенно согласен, принимая во внимание обстоятельства. Взять, к примеру, исход войны, не каждому дано было его предусмотреть. Лично он никогда не сомневался в победе союзников, вот он и пришел к концу войны целым и невредимым, а если на его совести и остались крохотные царапинки, то ведь дело все-таки обошлось без крови. То, что известно всем, никому вреда не причиняет. Есть у него подопечный, племянник, который, по слухам, дошедшим до консула, вел себя скверно в кое-каких обстоятельствах, впрочем, по слухам, он тоже выкарабкался из переделки, может, и не вполне невредимым, но тут уж, как говорится, пусть пеняет на себя... Впрочем, он все же никакой не революционер и принадлежит к хорошему обществу.

А в хорошем обществе не должен править закон удачи. Тут должны править принципы. Принципиальный человек не может примириться с дурацким сухим законом, который удалось провести безумным фанатикам, городским и сельским. В подобных чудовищных условиях приходится действовать на свой страх и риск – не допускать же, чтобы над тобой устанавливали опеку. Само собой, человек, подобный Мартину Мёллеру, не вступает в личный контакт с контрабандистами и отбросами общества, на то существуют посредники – вполне порядочные люди, все более и более порядочные с каждым звеном цепочки, приближающим их к человеку вроде консула Мёллера. Что раздобудешь, то и получишь, и, в общем, не так уж плохо жить в этих чудовищных условиях – перепадает и масло, и виски... А все потому, что не сидишь сложа руки, даже когда дело касается мелочей в области частной жизни...

Чудеса, да и только, – из переделки целыми и невредимыми вышли все – все без исключения. И бдительная полиция, благодаря которой с каждым днем законопослушные граждане все меньше подвергаются опасности; и преступный мир, как таковой, – не станут же уголовники плакать, потеряв одного из своих, которому не повезло; и политики, которые в малых и больших странах, не щадя своих сил, трудятся, чтобы облегчить бедствия миллионов, а раз эти миллионы бедствуют, стало быть, они так или иначе тоже выбрались из переделки.

Ну, о мертвых и говорить не приходится – уж они-то безусловно выпутались из беды.

В Христиании фру Сусанна Саген живет в своей прежней квартире, и это вполне понятно: с ней связано столько счастливых воспоминаний, хотя, правда, и от менее счастливых тоже никуда не денешься. Она поговорила об этом со своим возвратившимся на родину сыном. Этот одаренный молодой человек, причастный к искусству – в довольно-таки разнообразных сферах, причиняет своим родным огорчения, но лишь в той мере, в какой они сами хотят огорчаться. В конце концов, как говорится, шалопайничать – привилегия юности, а молодому человеку, судя по всему, шалопайничать нравится.

– Безобразие, – негодует консул Мартин Мёллер. – Будь это в дни

моей молодости... – Он утверждает это как нечто неопровержимое, доверчиво уповая, что его забывчивая сестра понятия не имеет о том, как он провел свои молодые годы, которые он любит изображать суровыми годами лишений, полностью отвечающими десяти заповедям и еще двум-трем в придачу.

Из всего дражайшего семейства одна лишь тетя Клара, учительница, проявила известную последовательность и покинула столицу, выразив тем самым свое презрение к беспринципности и морской болезни. «Но ведь у нее недурная пенсия», – справедливо напомнил дядя Мартин. Так что ее отъезд отнюдь не вызвал у ее родных укоров совести. Впрочем, ей по-прежнему будут рады, хоть она всегда держалась несколько особняком, молчаливо осуждая своих ближних.

В хорошем обществе никто не живет по закону удачи.

Кое-кто, конечно,

поймал удачу,

схватил ее на лету, но это совсем другое дело, – так и надо – ловить, хватать и не давать собой править. Уж если кто-то должен править, то позаботься о том, чтобы это был ты сам. Взять, к примеру, всю эту болтовню о профсоюзах. Уж не профсоюзы ли будут править, когда есть люди дальновидные, с большим опытом и кругозором, в особенности по части удач. Дядя Мартин совершенно согласен с этой точкой зрения, ее высказывают и все крупные газеты в Норвегии и за границей. И само собой, надо учитывать общее положение и существующий порядок. Нельзя допустить, чтобы студенты и другие безответственные лица захватили власть на земле, – править должны те, кто

способен править.

И вот, хотя, учитывая общее положение, в мире все идет так хорошо, что лучше не бывает, молодой человек, представитель потомственно добропорядочного круга, отринул эту прекрасную жизнь. Некоторое время он прожил в норвежской столице. Получил из Копенгагена письмо, потом телеграмму. И к весне снова исчез.

Но он вернется. В разговоре со своим приятелем, бывшим метрдотелем Матиссеном, который живет отшельником в Энебакке, он обмолвился, что должен попытаться найти не то дорогу, не то тропинку.

Невнятная речь, но старик принял ее близко к сердцу.

Он любил новую аристократию, хотя ее представители изрядно помучили его в те несколько хлопотливых лет, что выпали ему за время его долгой деятельности. Впрочем, этот молодой человек выделялся среди остальных, не было в нем напора и грубости других молодых людей. В общем, он вел себя скромно, хотя его компания и пускалась на отчаянные проделки.

Все это кануло в вечность – и компания, и те, кто ее составлял. Правда, отчаянных проделок хватало и теперь, но Матиссена они больше не касаются. Конечно, он видит, что мир соскочил с рельсов, наук ведь так бывало всегда – во всяком случае, сколько он помнит. Правда, многое изменилось: в прическах, в одежде, в манерах. Но ведь на то война – ее не сбросишь со счетов. А в общем, пожалуй, все окончилось лучше, чем пророчили священники в той зловещей новогодней проповеди, которая впервые выбила Матиссена из колеи. «Нужда и опасность», – твердили они. Но все в мире относительно. Когда, как Матиссен, читаешь Апокалипсис, невольно признаешь, что в доброй старой Норвегии, принимая во внимание войну и все прочее, дела не так уж плохи.

«Все наладится», – думает Матиссен в глубине души, и так думают многие порядочные люди. В конце концов, разве они виноваты, если слухи справедливы и в других странах и впрямь дела обстоят так скверно? Конечно, отвратительный китовый жир давит на желудок, но те, кто живет не по закону удачи, стараются быть выше этого неудобства. Матиссен, например, стал вегетарианцем. Другие добрые граждане купили себе хутора, а другие – торопливо

снут по ночам в прибрежных водах на моторных лодках с потушенными фонарями. Контрабандный товар, который эти энергичные люди выгружают на берег, идет и на продажу, и на обмен. С каждым днем все сужается круг тех, кто так или иначе не имеет своей доли в этих ценностях, вытесняющих обычные денежные знаки и регулирующих экономику страны, которая могла бы совсем захиреть от всевозможных запретов и ограничений.

Но, как уже сказано, порядочные люди тут не виноваты, совершенно не виноваты.

К примеру, такой человек, как Роберт. На клейкой полоске его совести ох как много жирных мух. Но странное дело – многие из них, живые и невредимые, снялись с бумажки и улетели и больше его не мучают. Все дело в том, что полоска заполнилась уже давно, во времена его детства – светлой поры на берегу Тёнсберга, пропитанной солеными запахами моря и солнца, но, однако, испещренной и кое-какими темными точками, печальными мухами, которые навсегда остались на полоске, вроде той истории с парнишкой, утонувшим во время регаты. Собственно говоря, одна такая муха может занять всю полоску совести до конца жизни, так что для других уже и места не останется.

Это и хорошо и плохо. Всем ведь места не обеспечишь. Правда, бремя старого становится все тяжелее. Но зато, к примеру, легче сносить, что некий адвокат Дамм, которого ты все чаще вспоминаешь худосочным мальчуганом по имени Юнас из твоего детства, два с половиной года отсидит в тюрьме за то, чем вы, по правде говоря, занимались на равных. Впрочем, таких случаев много. Кое-кого посадили. А в общем-то, все одним миром мазаны. Но не идти же самому предлагать, чтобы тебя взяли, – от этого никому проку нет. Все на свете кончается, кончится когда-нибудь и это уголовное дело. Много есть людей, что хватили удачу на лету – кто за хвост, кто за голову, а кто посерединке. Удача ведь скользкая, как змея: кто-то урвал кусочек, кто-то остался с носом, а кто-то с пустыми руками, но руки на то и даны человеку, чтобы хватать. Главное – не терять оптимизма.

Роберту оптимизма не занимать стать, как для себя, так и для других. Оптимизм остался при нем, а он и не привык владеть большей собственностью. Ему не впервой все начинать сначала. К тому же при нем теперь Селина, его благоверная.

Было время, когда при нем состоял и молодой парень, по имени Биргер. Но он ускользнул от его покровительства. Парень был из породы бродяг, он не пытался поймать удачу, не та в нем была закваска. Чем-то он напоминал милейшего друга Роберта – Вилфреда Сагена, который по-прежнему причиняет ему живейшее беспокойство. Роберт считает, что так уж в этом мире заведено: сегодня ты преуспел, завтра проиграл, – это почти незыблемый закон. Но на свой лад Роберт – приверженец порядка. Он признает, что другие люди – те, кто предназначен к этому по характеру или рождению, – живут по другим законам. Роберт – сторонник упорядоченных отношений между классами, тогда ему самому удобней прибиваться то к одной, то к другой стороне. Вилфреду Сагену никуда прибиваться не надо, он принадлежит к определенному кругу, но ведет он себя порой так сумбурно, что хоть кого озадачит.

Биргер – дело другое, какого он круга, не поймешь. Был он расторопным помощником, когда они вместе торговали по ночам на улицах; этот паренек многое испытал и многое умел. И матросом он плавал и чего только не повидал!.. Но в один прекрасный день покровительство Роберта ему надоело, и он исчез. Неумная у него натура. К тому же он вел поджигательские речи, а вот этого Роберт не любит. Одно дело – говорить о будущем, о том, какие перспективы открывает оно на суше и на море. Но само собой, перспективы на основе существующего порядка. Все остальное – дерзкие фантазии. Пусть ими занимаются поэты, утверждает Роберт. Разве сам он не носит в кармане книжку, с которой никогда не расстается, книжку о лейтенанте Глане со звериным взглядом, о том, кто однажды летом в Нурланне прожил целую жизнь? Вот это человек во вкусе Роберта. Но не во вкусе Биргера. Тот разъезжал по улицам и все толковал о некоем Марксе. Но этот Маркс не по вкусу

Роберту. Не согласен он с тем, что Маркс пишет про тот самый капитал, за которым Роберт гоняется с утра до вечера. Будь у Роберта небольшой капитал, каких бы он дел наворотил: и гостиницу бы открыл, и туристическое бюро, и рекламное агентство...

Однако пока что у Роберта есть только две руки и тележка для продажи сосисок. Так что на «Вдову Клико» денег не хватает, но в свое время он попил шампанского вволю, – правда, с тех пор утекло много воды. Жизнь переменчива, и надо уметь применяться к обстоятельствам. Это следовало бы зарубить на носу такому Биргеру, оно лучше, чем забивать себе по ночам голову вздорными идеями. Роберт охотнее вспоминает не о Биргере, а о Вилфреде, хотя, как ни странно, ему легко переброситься мыслью от одного к другому из этих двух, таких несхожих молодых людей, выходцев из двух различных миров. Роберт считает справедливым, чтобы каждый из этих миров существовал сам по себе.

Но порой, когда Роберт катит свою тележку по ночным улицам, возвращаясь домой, на окраину города, где он теперь обитает, перед ним вдруг открывается небо, все усыпанное звездами, и он угадывает ход земли в просторе вселенной. И тогда Роберт внезапно начинает понимать своего молодого друга Вилфреда Сагена, который ушел из дому, чтобы отыскать тропинку...

19

Где-то, в каком-то

месте была тропинка...

Дядя Рене ненадолго возвратился на родину, чтобы ликвидировать свое имущество: остаток дней он решил провести в Париже. Ему казалось, что лично он спас город от гибели. После победы союзников он помолодел на десять лет. В норвежской столице, глядя на него, покачивали головой, а за глаза посмеивались.

Тем временем наступил новый год, и в эту пору Вилфред написал четыре картины маслом. Благодаря связям дяди Рене они были выставлены вместе с работами трех других молодых художников. В газетах писали, что появился новый самобытный талант. Вилфред со сдержанным скептицизмом прочел об этом в гостиной на Драмменсвей, комнату вдруг населили невысказанные надежды. Ему это было неприятно. У него не укладывалось в голове, что пишут о нем.

А в один прекрасный день пришла телеграмма от Мириам из Копенгагена: «Ура я так и знала». Он прочел ее в вестибюле выставочного зала, охваченный сумятицей противоречивых чувств. Что именно она знала? В тот самый день в газетах было написано, что его картины отмечены какой-то незавершенностью. Может, она знала

это? Он сложил телеграмму и снова развернул, опять сложил и опять развернул. В сложенном виде она радостно волновала его, в раскрытом – казалась разоблачением: критики знали все, что было доступно знанию, да он и сам это знал.

Но на другой день пришло письмо, удивительное письмо, каждая строчка которого говорила о том, как хорошо знает его она, хотя в письме она рассказывала о себе, ни словом не упоминая о том, что произошло в Копенгагене. Однажды ночью в Нурланне, писала она, когда ее гонимая семья жила в этом краю, она вышла из дому, чтобы подать знак Северному сиянию. Ей сказали, что, если поманить Северное сияние, оно возьмет тебя к себе. И вот она вышла и стала махать носовым платком. Но Северное сияние не взяло ее к себе. На

следующую ночь, когда мощное сияние залило своим блеском все небо, она снова вышла из дому, но уже с большой простыней, и стала махать ею. Она стояла ночью возле дома на гребне холма и размахивала простыней, охваченная таким страхом, какого не испытал, наверное, никто на свете, перед ним меркли все ужасы, о которых рассказывали взрослые. Но Северное сияние не взяло ее к себе, хотя она махала ему простыней. В горьком разочаровании вернулась она домой и плакала оттого, что Северное сияние не взяло ее к себе.

Вилфред захватил письмо с собой за город и там прочел его под безлистыми деревьями. Перед ним возник всеобъемлющий образ: маленький человек на земле, охваченный страхом и в то же время тянущийся к этому страшному, маленькая темноволосая девочка на краю горизонта, которая машет простыней холодному пламени Северного сияния: «Приди и возьми меня...»

Что она хотела сказать ему этим письмом? Он перечел его в надежде найти хоть одно слово нежности. Его там не было, но нежность была во всем – в том, что она задумала написать письмо, написала и послала его. Это было письмо о родстве душ, а может, просто письмо-утешение, но тогда, стало быть, все-таки в нем таился намек на его унижительное бегство с концерта в ее автомобиле, под цветами...

Он не знал, что означает письмо. Но оно определило его решение. Он в каком-то смысле забыл о своих картинах, едва их написал. А теперь они предстали перед ним во всем своем ничтожестве. Вышло так, словно письмо Мириам о родстве душ толкнуло его прочь, к тому, что он искал. Он должен найти тропинку, найти то

место. Не должно оно ускользнуть от него, стоит ему приблизиться. Иногда ему казалось, что это место – станция железной дороги, где во все стороны движется сама жизнь. Его ссадили с поезда, а поезд умчался дальше, и никто не слышит его безмолвного вопля. Его осудили ползать среди тварей, и сам он тоже тварь, окруженная теми, кто преследует и ловит, но он лишен неповторимой индивидуальности, он остался случайным, недоделанным выражением какого-то невнятного замысла – в точности как его картины.

По пути кто-то где-то выпустил его однажды из рук – и вот это «где-то» он должен найти, пока еще не поздно.

Он написал три математически вычисленные фантазии на тему уступа в Северной Зеландии – эта тема тоже имела отношение к тому «месту» – и портрет человека с сигарой по воспоминанию о воспоминании, отпечатавшемся в его душе.

Таким образом, в этих картинах он поставил перед собой какую-то цель, крохотную цель, которая уже ускользала. Теперь он перечитывал письмо Мириам. В письме о картинах не было ни слова, но телеграмма касалась их. Ура. Странное слово для телеграммы. «Незавершенные» – написали о картинах в то же самое утро. Он и сам это знал. И не в том смысле, что каждая картина не завершена потому, что он не довел ее до конца, – на свой лад он их закончил. Критики

не могли знать того, что сам он лишь смутно подозревал, а именно: что его картины были незавершенными по самой своей природе, потому что его догадки, вечные его догадки, всегда касались формы и внешнего проявления людей и вещей и никогда не приближались к их сути, к его собственной сути. Он ловкий господин Имярек, манипулирующий оттенками и формой, как фокусник – своими кроликами...

В детстве, замирая от восторга, он часто пытался понять, вправду ли кролики находятся в цилиндре? Теперь он понял – это не имеет значения. Раз ты что-то видишь, стало быть, ты это видишь, но зато

видишь, и только. Но знают ли люди о том, что цилиндр, из которого фокусник колдовством извлек кроликов, совершенно пуст?

Пока Вилфред писал свои картины, он бродил по городу, навестил места, где бывал прежде, и распил бутылочку-другую с уцелевшими завсегдатаями Кабака. Так он набрел на Роберта и Селину, они наслаждались своей новоиспеченной добропорядочностью, примиренные с бедностью в перестроенном бараке, и на этой житейской основе составили себе временный моральный кодекс. Теперь, перечитывая письмо Мириам, Вилфред знал, что все это ушло в прошлое. Письмо толкало его прочь, требовало, чтобы он нашел то самое

место. Время не терпит.

Тогда, в Копенгагене, Мириам увезла его домой в своей машине, спрятав под цветами. Даже если бы полчища врагов стерегли его на всех соседних улицах, им было до него не добраться. Она позвонила Бёрге (он так и знал, силы добра всегда заодно: они с Бёрге были слышаны друг о друге – когда у кого-нибудь что-нибудь случалось, звонили Бёрге Вииду), и они вместе доставили его на корабль. Мать после целого года дурных предчувствий приняла его без трагедий и не пыталась вознаградить его теперь своими попечениями – он понимал, что это ей нелегко.

Он перечитывал письмо Мириам. Дядя Рене захотел отпраздновать его выставку, было обронено словечко «вернисаж»... Вилфреда передернуло при мысли о празднестве, и старик, которого принял в свое лоно Париж, не стал настаивать. Он примирился с тем, что просто пригласил мать и сына к себе, на свою старую виллу, и они охотно приняли его приглашение. Опустевший деревянный дом на окраине города, где багаж уже обшит мешковиной и мебель обтянута пестрыми чехлами. В такой дом отрадно войти тому, кто тоже задумал подвести итог.

Хорошо, что надо сняться с места, – к этому решению приводило письмо, которое он держал в руках и которое толкало его прочь. Ему ведь давно казалось, что он должен что-то найти. Поиски он начал, едва сошел на берег в Норвегии. На последние деньги, оставшиеся от тех, что ему дал Бёрге (Бёрге утверждал, будто это Вилфред заработал их своим скромным литературным трудом), он взял такси и поехал за город. Там он пошел привычной дорогой к Сковлю – по снегу, как однажды в давние времена. Надо же было где-то начать странствие.

Но, дойдя до поворота, где начинался подъем к дому, он обнаружил, что дорогу расчистили. У дома стояла машина. Он испугался – испугался, что все пережитое им было одним лишь воображением, и даже летние месяцы его детства – еще один обман, выдуманный им среди прочих небылиц. Обогнув дом с торцовой стороны, он осторожно вскарабкался вверх по шпалерам жимолости и заглянул в окно, в комнату, где сидели незнакомые люди, двое малышей и девочка-подросток с золотистыми волосами. Девочка обернулась к окну и вскрикнула, рот ее открылся в крике, беззвучном для его слуха... В то же мгновение он пустился наутек по саду, так хорошо ему знакомому, между деревьями, застывшими, словно призраки кошмара, который грезился ему всегда и от которого у него не было сил освободиться. Остановился он только у дома родителей Эрны – этот дом, где на веранде громоздились зеленые скамейки, был доказательством реальности бытия.

Да, погоня продолжалась. Все, что когда-то было, даже летние месяцы, пережитые в Сковлю, гнались за ним. Стоя в соседском саду, он это понимал. Но только теперь, держа в руке письмо Мириам, он понял, что этого еще мало, – мало только

знать это в мире, где все цели стали терять свои очертания.

Он пошел вдоль перешейка к участку садовника, где снег уже растаял, и дальше – к хижине фру Фрисаксен. В эти предвечерние часы на холмах еще жила постаревшая зима, но в воздухе уже пахло нарождающейся весной, и он вдруг осознал зловещую правду о силах,

которые его гонят. Глупо было думать, что, спасшись от каких-то бандитов в чужом городе, он разделался с преследованием вообще. Здесь, в стране своего прошлого, он впервые осознал, что великий загонщик поджидает его повсюду, и спастись от него можно одним лишь способом – найдя обетованную землю, которая обещана каждому, должна быть обещана каждому, ибо иначе днем ты не будешь знать, где приклонить голову, и ночь откажет тебе в милосердии.

Переночевал он в хижине фру Фрисаксен, а морозным утром пошел к песчаной косе и нашел ракушки – точно такие, как те, какими мальчишкой он играл в кораблики тем летом, канувшим в прошлое под бременем чьих-то противозаконных чувств. Но все это произошло уже давно. Потом Вилфред начал писать картины. А теперь перечитывал письмо Мириам, собираясь на некое «торжество» у дяди Рене, чтобы порадовать старика.

А вечером старик снова, в который раз, поразил их, обойдясь без малейшей выпренности в разговоре о двух событиях – выставке, честь которой, казалось, принадлежит именно ему, и отъезде в страну, которая всегда была его землей обетованной. Они втроем уютно посидели в деревянном доме за скромным обедом и потом помузицировали для собственного удовольствия. Дядя Рене опять заиграл на своей флейте мелодию Дебюсси, но не стал мучить гостей, изображая на своем лице то, что им и так было хорошо известно: это в последний раз. Обошелся он и без тягостных речей о надеждах, которые он возлагает на Вилфреда. Он просто еще раз поднял тонкий бокал своей прозрачной рукой и по традиции сказал «несколько слов». Казалось, они сидят в усадьбе, заселенной многочисленной дружной семьей, – они трое, каждый в своем одиночестве, были представителями клана в этом пустом доме, где бродила непоседливая экономка, сама похожая на предмет обстановки, который вот-вот упакут и увезут. Казалось, в этой белой комнате с облупившейся позолотой голуби опустили им на плечи. Вечер был полон взаимной нежности, и скупые тихие слова не мешали в эти трепетные минуты умиления и дерзновенности на короткий миг расцвести надеждам.

И пусть надежды эти будут тщетными, они никого не компрометируют – ведь никто не высказал их вслух...

И чтобы еще решительней покончить с «волнением», которое могло бы выдать их чувства, Вилфред схватил со стола бокал и произнес голосом дяди Мартина: «М-да, мой мальчик, надеюсь, из этого выйдет толк. Я со своей стороны...» – и характерным движением дяди Мартина развел руками, как бы слагая с себя всякую ответственность.

Мать и дядя Рене посмеялись, посмеялись над отсутствующим дядей Мартином, мать на всякий случай сказала: «Фу!», а Вилфред увлекся, вошел в роль, как бывало прежде, как бывало всегда, и уже не мог остановиться, и произнес небольшую речь в духе Мартина Мёллера: об искусстве, которое многим доставляет удовольствие и даже – такие примеры известны – может прокормить того, кто им занимается, если этот человек энергичен и дальновиден...

Они смеялись, добрые души, смеялись даже тогда, когда он начал переигрывать, потому что так бывало прежде и смех вошел у них в привычку. А он смотрел на них и, переигрывая, знал, что им в тягость этот возврат к прошлому и что когда-то в давние времена другому человеку, красивому мужчине с бородкой и молящим взглядом, были свойственны те же дурные привычки – быть может, он тоже насмеялся над недостатками и слабостями своих ближних и все играл и играл тем, что, может быть, не было игрушкой, – и он об этом знал, а может, не хотел знать.

Однажды мать сказала, что почти забыла его. Это случилось во время одного из нескончаемых разговоров в гостиной на Драмменсвей. Но правду ли она сказала и знала ли она сама, в чем состоит правда? Не потому ли мать с сыном вели эти разговоры, что такова

была форма их существования: у них все было сначала формой, еще до того, как наполнялось смыслом?..

Он размышлял об этом, произнося свою маленькую пародийную речь, а они смеялись, потому что эти достойные люди всегда находили способ выразить что угодно, но, может статья, за этим выражением ничего не было. Он заговорил об этом с дядей Рене, когда они пили кофе, заметив, что, может быть, форма, которую так жадно ищут все художники, это как раз...

Но дядя Рене слишком быстро угадал, что он хочет сказать, так быстро, что ничего не понял, и произнес неизбежные слова о единстве формы и содержания в искусстве. Вилфред чуть не расплакался от разочарования, хотя знал, что услышит именно эти слова. Ведь дядя Рене был просто добрый старый фокусник, с цилиндром, до краев полным всевозможных объяснений, – и они выпархивали оттуда, а находились они там впрямь или нет – не суть важно. Что объяснения, что кролики – все одно. Бесконечная цепь ничего не выражающего выражения.

Когда поздним вечером при свете звезд, располагающем к откровенности, мать с сыном возвращались домой, она рассказала ему о том, что продала Сковлю. Она по традиции сообщила об этом беспечным тоном, и он ничем не выдал, что за беспечностью уловил волнение и что вообще уже знал об этом. Не сказал и о том, что был изгнан оттуда и что самый дом стал частицей враждебных сил, которые его окружают. Он только переспросил с оттенком ребячливого испуга в голосе: «Неужели ты продала Сковлю?» И она тут же стала приводить уйму разумных доводов: он так долго не возвращался домой, так мало писал о своих дальнейших планах... В этих словах был намек на материнский укор, и он охотно ей подыграл. Он все понял и все одобрил. Он побудил ее привести еще новые доводы, предоставив ей одержать полную победу, и довел ее даже до того, что и она не смогла вовремя остановиться и произнесла роковые слова о том, что с этим местом связаны не одни только счастливые воспоминания. Он мог сделать вид, что эти слова не были сказаны, мог перечеркнуть их, подтвердив их с готовностью, которая означала бы все что угодно и вообще ничего. Но он этого не сделал, потому что им снова предстояло расстаться. Он предложил распить вдвоем по стаканчику, как в былые дни, чтобы завершить вечер, и, поставив графин на стол, заметил вдруг, что виски ее чуть больше впали: там, где прежде с каждой стороны был мягкий изгиб, образовалось маленькое углубление, и он склонился к ней и поцеловал виски, на которых у этой дамы, его матери, появились первые вестники старости.

– Где ты собираешься жить? – спросила она.

Он еще ни словом не обмолвился, что намерен уехать. Он неопределенно пробормотал, что хотел бы кое-что написать... Говорил ли ей дядя Рене, что нашлись покупатели на три его картины? Она предполагала, что это должно быть сюрпризом для сына, и поэтому скрывала от него, что знает. И оба поняли, что дядя Рене хотел доставить радость им обоим – он тоже оставался ребенком...

– А четвертая картина?

– Ты не видела ее? Это портрет.

– Чей?

Как бывало прежде, как бывало всегда в этой гостиной. Они сидели вдвоем, пытаясь угадать то, что оба знали.

– Почему он это сделал? – спросил сын.

И она ответила, как прежде:

– Не знаю.

Ответила по привычке без раздумий, потому что есть мысли, которые нельзя передумывать слишком часто – больше чем миллион раз. Потом эту мысль уже не продумываешь, она просто кружит по какой-то вялой окружности без центра, не сознавая, что это замкнутый круг.

Она погладила сына по шраму на лбу, который все еще был слегка заметен.

– Он не мог жить без тайн, – сказала она.

Так определенно она еще никогда не говорила. Она тут же встала, взяла сигарету, хотя курила редко, – сигарета нужна была ей для самозащиты. Он подумал: «Быть может, отец не мог жить и с тайнами тоже, и в этом состояло его несчастье».

– Может, он не мог жить и

с ними тоже, – сказала она. – Без тайн он начинал скучать, а с тайнами...

В гостиной стало тихо-тихо. В темноте светилась вдали только сигнальная мачта.

– А с тайнами?

– Как видно, ему было не под силу выдержать их.

Она смотрела на шрам на лбу сына. Она ни разу ни о чем не спросила его.

– По-твоему, он был слабый человек? – снова заговорил он. Ему хотелось сказать это равнодушным тоном.

– Да, слабый. А может, и сильный. Не знаю. Вообще-то сильный.

– Мама, он подбрасывал меня на руках вверх?

– Подбрасывал вверх? Что ты имеешь в виду?

Они помолчали, но каждый чувствовал волнение другого.

– Мама, вспомни, он подбрасывал меня вверх – однажды, где-то...

Она недоверчиво улыбнулась.

– Тебе же было всего три года...

– Три с половиной.

Она кинула на него удивленный взгляд.

– Но что ты хочешь сказать? Какое это имеет значение?

– Где-то над пропастью... Нет, нет, я этого не помню, но помню, что вспоминал это. И он выпустил меня.

– Выпустил?

– Выпустил и снова поймал. И так несколько раз.

– Ты хочешь сказать, что ты упал? – Теперь она глядела на него с испугом.

– Да, упал! Нет, не тогда! Он снова подхватил меня. Но позднее...

Судорожно плеснув себе из графина, она пролила несколько капель на стол.

– Позднее – в каком смысле? Впрочем, я бы не хотела говорить на эту тему...

Но он уже не мог удержаться.

– Там еще были лошади!

– Лошади были всюду. Всегда лошади. За границей...

– Нет, мама, здесь!

Она встала, прошлась по комнате и сказала, на сей раз решительно:

– Он тебя не выпустил. – Она словно бы оборонялась. – Я не хочу говорить об этом, слышишь. Но вообще, он выпустил нас всех, всё.

Круг замкнулся. Она казалась усталой, нервной. А он хотел порадовать ее. Но почему всегда обрывают все его попытки навести мост над провалом, над которым он повис, брошенный кем-то на произвол судьбы?..

– Ты нервничаешь, – сказала она. – Это все из-за выставки.

Ей было легче от этой лжи, – что ж, он снова ей подыграет.

– Он ведь и не довел до конца... – сказала она как бы в оправдание.

На сей раз сказала твердо, чтобы извинить его, а может быть, себя. Чтобы прикрыть фиаско – она

не хотела поверить, что оно могло оставить след на чьем-то будущем. Сын на мгновение восхитился этой способностью уклоняться. Рукой он нащупал в кармане письмо Мириам. Обе – такие разные. Но каждая на свой лад отталкивала его от себя.

Легко встав, он поцеловал ее на сон грядущий.

– Я тебе буду писать, – сказал он.

20

Но он не написал письма ни матери, ни Мириам. Он как одержимый писал другое – то, что в тайниках души называл своими воспоминаниями, хотя это были не его воспоминания, а воспоминания, жившие в нем; писать их было совсем не то, что стряпать рассказы для Бёрге Виида из Харескоу, это тоже означало искать то, что он потерял тогда, когда некто выпустил его из рук в безвоздушное пространство.

Он снял комнату у бывшего метрдотеля Матиссена в его украшенном деревянной резьбой домике в Энебакке – получилось это случайно, сосватал их все тот же Роберт. В своем неистощимом доброжелательстве он по-прежнему держал все нити в руках. Сам Матиссен перебрался в кухню, где с раннего утра вполголоса читал Откровение святого Иоанна, а в остальное время заботился о своем новом подопечном. Для старика метрдотеля было в этом что-то символическое. Сам он после тридцатилетнего служения соблазну надеялся искупить греховную жизнь за два-три оставшихся года, которые ему сулил его врач. Каждый раз, когда его неумный молодой друг покидал их совместное уединение, старик провидел в этом

окончательную гибель молодого поколения, но в терпимости своей снабжал молодого скитальца громадным кулком со съестным, чтобы в течение нескольких первых суток спасти хотя бы его брэнное тело. Однажды, когда отлучка Вилфреда затянулась, метрдотель даже заглянул в его объемистую рукопись, после чего долго покачивал головой, дивясь тому, как странно устроен мир. В подобных случаях он обычно садился в поезд и ехал в город – излить свою наболевшую душу доброжелательному Роберту, который в свое время принадлежал к числу беспутных шалопаев, доставивших Матиссену в храме греха немало горьких минут. Но Роберт, который все мог понять, только задумчиво кивал головой, как кивал почти на все, что ему говорили. Вилфред и ему толковал, что должен, мол, найти какое-то место. Оба они – и бывший метрдотель, и бывший биржевик – жили, как удалившиеся от мира мудрецы: один при своем Апокалипсисе, другой при своей тележке с сосисками, которыми, благодетельствуя усталых путников, он торговал по ночам на Хегдехаугсвей.

То, что Вилфред превратился в писателя и неутомимого скитальца, ничуть не удивляло Роберта. Он признавал за своими ближними право на талант, которым их одарил господь бог, он признавал за всеми права на все что угодно. За собой он признал право на Селину – верного хамелеона. В течение дня она с рассеянным усердием исполняла роль хозяйки дома. Чем она занималась по ночам, интересовало Роберта все меньше по мере того, как их супружество утрачивало аромат новизны. Сам Роберт был верная душа, но лишен постоянства как в супружеской жизни, так и во всем остальном. По сути дела, он был воплощением времени, которое норвежская столица пережила в ту пору, когда под траурную песнь с моря в ней били светлые источники. Теперь это был смиренный город, в котором после веселой пирушки для многих началось похмелье. С наступлением мира норвежцы почувствовали лишения, от которых их уберегла война. Валдемар Матиссен сравнивал мир с извивающейся змеей – теперь наконец судороги дошли до хвоста, и он дергается в конвульсиях. Все явления и предметы Матиссен сравнивал с образами из животного мира, которыми населил его воображение Апокалипсис. Каясь в своем долгом служении чревоугодию, он перешел на овощное меню. Сидя при свете лампы за кухонным столом над Новым заветом, он время от времени откусывал кусочек длинного огурца, которым изредка почесывал себе спину. Зато заусенцы свои он оставил в покое и вообще отстал от дурной привычки вечно что-нибудь теревить руками. Матиссену было приятно, что у него поселился хорошо воспитанный Вилфред Саген: казалось, он подобрал на дороге птенца, которого старался отогреть на своей старческой груди, где еще с тех самых пор, как Матиссен плывал на корабле, сохранилась татуировка – сердце и девушка.

Но Матиссену были не по душе разговоры о дорогах, вечный разговор о дорогах, которые ищет молодой человек. Старика огорчали его скитания. Сам он нашел тропинку, которая вела к праведной цели. В глубине души и Матиссен, и глубокомысленный Роберт – оба считали, что поиски пути, на которые пустился их молодой друг, следует понимать символически.

Никогда в своей жизни Вилфред не бродил так много. Ему надо найти тропинку, и найти поскорее, если он хочет хоть что-то спасти. Он ехал поездом, катил на велосипеде и шел пешком, чаще всего – пешком. Он узнавал дороги, которые тянулись без конца, пересекаясь с другими дорогами, и он пускался по этим новым дорогам из боязни упустить хоть какую-то возможность. Он узнавал страну, но видел ее как сквозь дымку, все надеясь, что она рассеется, открыв его глазам ускользящий от него пейзаж. Он искал реальную дорогу, а вовсе не символическую – ту дорогу, которая однажды предстала ему в воспоминании на холмах Харескоу, когда что-то едва не рухнуло в нем.

Если бы тогда он и в самом деле убил ребенка – чужого, нечаянно подобранного ребенка, которого он в смятении чувств навязал себе на шею, – не стало ли бы это убийство случайно состоявшимся завершением? Это было бы так гнусно, что мысль каждый раз бежала прочь от картины, возникавшей в его воображении... Но не стало ли бы оно завершением случайных импульсов, которые жестоко властвовали над знакомыми ему людьми, побуждая их совершать дикие поступки, на свою и чужую беду? Спас его случай, а может, не случай, а

видение, проявление сознания, существующего вне его самого.

Воспоминание о невинности.

Вот ее-то он и искал. Спасительное видение длилось недолго. Оно как бы помогло Вилфреду против тех сил, что гнали его, помогло на мгновение бежать от рокового мгновения, но не дало ему прочной защиты от роковых сил, обитающих в нем самом.

Все это было давным-давно. Но он предал того ребенка – и его тоже. Он предает все, что приближается к нему. А Мириам? Она – некая абстракция, как его картины, как все то, что он пытался создать из эмбриона, в котором не было жизни. Все это внешние проявления, выражения, лишённые замысла. Он извлекал их из небытия, облакая в краски, в звуки, в слова, но и краски, и слова рядились в знаки замысла, не воплощая его. Лишь бы оказалось, что где-то он все-таки есть: в запахе тропинки, в освещении, в местности, которая реально существует, где-то в том месте, к которому он должен

пробиться, двигаясь вперед или вспять.

Вилфред поселился у старого человека, который пытался заменить ему отца, – таким отцом пытался стать для него сначала Роберт, а потом Бёрге. Но когда писательство захватило Вилфреда и стало самоцелью, а не поисками, он навсегда ушел от гостеприимного хозяина, даже не простившись с ним. Он прихватил с собой свой старый велосипед и в открытых долинах увидел весну, встреча с которой могла бы наполнить его сердце радостью, а на склонах гор – уходящую зиму, которой он с восторгом любовался бы, если бы каждая набухшая почка и каждая прогалина на склоне не таили от него своих даров – все так или иначе уклонялось от него, замыкались и люди, которых он встречал. Над Вилфредом тяготела вина перед ними, и казалось, они это знают. Он шел пешком и ехал на велосипеде от долины к долине – по местам, где он бывал, и по тем, где он бывать не мог, их он вспоминал той космической памятью, с помощью которой надеялся спастись, перестав быть чистой случайностью в этом мире, каким-то неприкаянным «не-я», без своего места в жизни и без имени. И дороги разбегались перед ним в разные стороны, и ему надо было дознаться, куда ведут они все, потому что на одной из них, быть может, и ждало его воспоминание, такое насыщенное, что способно было ответить: «Да, ты в самом деле существуешь!»

Однажды, бродя лесом, Вилфред встретил Поэта. В этот удивительный день он оказался неподалеку от маленького поселка на побережье. С утра он бесцельно бродил по лесистому склону как раз над поселком. И вдруг среди листвы увидел Поэта со шляпой в руке, тот шел почти прямо на Вилфреда. Вилфред испугался, сперва потому, что подумал, уж не пошаливают ли у него нервы и не привиделось ли ему все это, а потом – из-за того, что встретил Поэта. Он сошел с тропинки и укрылся среди деревьев.

Все так же держа шляпу в руке, Поэт остановился, Вилфред увидел под тонким, с горбинкой носом по-кошачьи изогнутые усы. «Так стоял Юхан Нильсен Нагель, – подумал Вилфред. – Именно так, доверчиво и в то же время настороженно. Что принесет следующий миг этой душе, столь незащищенной и ранимой, что даже нежное дуновение ветерка должно быть для нее как удар кинжала? Может, сейчас в лесу он ляжет на землю, и поплывет, покачиваясь на небесных волнах, и забросит в них серебряную удочку, а лодочка у него из благоухающего дерева и парус из светло-голубого шелка, вырезанный полумесяцем...»

Но Поэт поступил иначе, он быстро вынул из кармана клочок бумаги – конверт, а из другого – карандаш. Набросал что-то на обратной стороне конверта, сделал несколько быстрых шагов, снова остановился, снова вынул конверт из кармана, на этот раз не только поспешно, но и нетерпеливо, точно чего-то страшился, и долго писал на нем мелкими буквами. Поэт стоял так близко, что Вилфред различал его почерк. Он чувствовал себя словно охотник в засаде, подстерегающий пугливого зверя, лесную лань, – сделай он шаг или дохни на листок, и

человек, стоящий рядом с ним, в безмолвном негодовании исчезнет, подобно видению.

Поэт вновь сунул бумагу в карман, сделал несколько шагов, тихо разговаривая сам с собой, что-то мурлыча, и потом снова стал писать. И теперь уже совсем спокойно, как ни в чем не бывало зашагал прочь.

Но самое удивительное было то, что в поселке, в маленьком отеле, Вилфред увидел его снова. Прямой и рассеянный, он вышел к ужину, и по его подвижному лицу мелькнула тень, когда он увидел за столом незнакомца. Опустив голову, Вилфред стал глядеть в сторону. В эту минуту он был так переполнен ощущением близости не только этого чужого ему человека, но и чего-то в себе самом, к чему ему никогда не удавалось приблизиться, что не мог проглотить куска. И чувствовал он уже не почтение, как несколько часов назад, в лесу, а что-то – какое-то... какое-то вознесение, что ли, – он не мог подобрать другого слова, а его неодолимо тянуло подыскать название своему чувству. Это было... как бы узнавание утраченного воспоминания, на поиски которого его гнали силы, обитавшие в его душе. В мыслях сверкнуло слово «счастье»: так близко к ощущению счастья он еще никогда не бывал. Он в отчаянии перебирал возможности высказать свои чувства, но слов не было, в горле застрял какой-то сухой комок. Тихо встав, он вышел из столовой, и ему почудилось, что человек, склонивший в этот момент голову над тарелкой, благодарен ему за его уход.

На другой день Поэт уехал; после обеда он не показывался, должно быть писал у себя в комнате, используя заметки, сделанные в лесу. Это он написал о

тропинке, о том, как бывает, когда ее ищут. Кто протоптал ее, эту длинную-предлинную тропу, пролегшую через болота в лесную чащу? Это он овеял томлением холмы и населил любовью леса. Когда-то Вилфред и Роберт не расставались с «Паном». Не потому ли такой трепет охватил здесь Вилфреда, что само присутствие Великого наполнило все вокруг особым смыслом?

Ни разу прежде не знал он так твердо, чего ищет, как в этот день. Уверенность не покинула его и к вечеру, когда он снова пошел в лес и ему казалось, что искомое близко. Но оно ускользало от него, и на другой день, когда ему сказали, что Поэт уехал, ускользнуло совсем. Казалось, Вилфреда осенило на лету крыло могучей птицы – отеческое крыло.

Несколько недель спустя, бродя по холмам, он вдруг обнаружил в кармане погремушку – маленькую целлулоидную погремушку с желтой костяной ручкой. Откуда, черт возьми, она взялась? Он поднес ее к лицу, прекрасно зная откуда. Но он хотел избежать ответа, причиняющего боль, поэтому старался не вспоминать, как однажды хмурым и холодным утром, когда он думал, что за ним гонятся, он купил ее ребенку. И тут его поразила мысль, что в то копенгагенское утро он недаром отправился на яхту «Илми». Потом он внушил себе, что его погнал туда страх: он боялся искать другого пристанища, предполагая, что его преследуют. На самом же деле он хотел избавиться от ребенка.

Теперь он знает, что хотел утопить ребенка. Он навязал его себе на шею без дурного умысла, разве что по беспечности – так он, во всяком случае, думал тогда. Но он привык избавляться от того, что ему мешает. Вот он и отправился к заливу, чтобы утопить ребенка, – никто бы об этом не узнал. Он распорядился, чтобы ему подогнали шлюпку. На ней он мог переправиться на берег, и никто бы его не заметил. Позже, когда он подплыл к берегу с ребенком, он устроил из этого целое представление: вызвал такси, настойчиво демонстрировал сторожу, что при нем ребенок. Но тайное намерение гнездились в нем. Только он ничего не доводит до конца – будь то живопись, будь то убийство...

Вилфред бродил по холмам, вспоминая, как когда-то спас от смерти маленького Тома, некоего сына некоего садовника, который превратился в контрабандиста. Его он тоже едва не оставил погибать. Когда он увидел Тома на дне, разве у него не мелькнула мысль: «Пусть

себе там и останется»? Но тут он услышал крики. А потом увидел на холме Эрну в желтом купальнике, а потом оказался верхом на полумертвом Томе и милосердно вернул его к жизни на глазах у зрителей.

А Андреас? Его он предал – отчасти выручил, но тут же предал, подверг опасности, по тогдашним обстоятельствам весьма серьезной: опасности быть исключенным из школы и попасть в число отверженных. И не стать бы тогда Андреасу преуспевающим биржевиком, не носить фамилии Эрн. А его чахлому отцу под пальмой не видать ни яхты, ни геральдических украшений. А ведь для этого они в конечном счете и живут на свете, ради крохотного престижа, ради цели, которая ничуть не хуже других мелких жизненных целей, например без ошибок и мило сыграть Моцарта, чтобы увидеть, как сблизилась, аплодируя, прозрачные руки дяди Рене вместе с десятком, а то и с тысячей других рук.

Лицо Мириам, когда она со скрипкой в руке выходила в зал к зачарованным слушателям... Нет,

она шла не за тем. Она была из другого теста. Она шла, чтобы убедиться в том, что на свете существует нечто подлинное, – шла к завершению, которое подкрепляло нечто, живущее в ее собственной душе.

Есть на свете источники светлые и источники темные. Мириам и ее сородичи веками бродили вдоль темных источников, но кое-кто из них выжил с уверенностью в том, что знает, откуда идет свет. Другие устроены так, что вообще замечают в жизни только ее светлую сторону – светлую для них самих; они глядятся в зеркало источника и видят там победоносного орла, даже если сами они засижены мухами за долгие годы жизни на Фрогнервей. Есть также на свете люди вроде дяди Рене, исполненные веры в то, что им самим не принадлежит, – какой-нибудь собор в Париже придает в их глазах смысл всему сущему и надежду на причастность к нему.

В своей вере он неутомим. Удивительное дело. Эта неутомимость роднит его с Эгоном – независимо от того, из темных или светлых источников черпает каждый свою силу. А Андреас и его честолобивый отец, которые, глядя, как заходит солнце, чувствуют неодолимую потребность приподняться на могучих крыльях, пусть хоть в самое последнее мгновение... Даже мать по-своему неутомима. Все они разменивают день за днем, не мучаясь необходимостью ежеминутно делать выбор. А Роберт? Он тоже неутомим в своем бесцветном оптимизме, в своем доброжелательстве к себе самому и к другим. Это роднит их всех, даже Селину, которую носит от одного к другому, точно подхваченный ветром трамвайный билет. Похоже, что все они неутомимы, не бывает у них чувства, что все на свете обрыдло.

Об этом можно было спросить у него – у Поэта. Наверное, он что-нибудь об этом знает, ведь он вмещает в себя всех людей. Наверняка он бросил бы на Вилфреда сердитый взгляд, буркнул бы что-нибудь вроде: «Займитесь-ка вы делом, молодой человек!» Удивительно, что при всем вопиющем безрассудстве того, что он сочинил и чем завлек молодежь, в нем самом есть что-то на редкость трезвое, и, наверное, это ему мешает. Но, если бы Вилфред осмелился задать Поэту вопрос о самом главном, о самом заветном, как знать, не увидел ли бы он тот знакомый по фотографиям бесконечно грустный взгляд, который говорит, что, может быть, даже весь его огромный жизненный опыт – бездонное ничто, не ведающее своих начал.

Никогда прежде Вилфред не ходил так много, он даже похудел от ходьбы. Это причиняло неудобства, когда ему случалось заночевать на сеновале. Весной сена уже нигде не было, и у него саднили бедра и спина, когда, лежа на жестком, он ощущал собственные кости. Ему все больше и больше хотелось взмолиться, чтобы кто-нибудь ему помог.

Время от времени, взяв себя в руки, он решался зайти на какой-нибудь хутор, чтобы попросить работы. Но в эту пору растущей безработицы по дорогам шаталось много бродяг, да и работник из него был никудышный. На одном из хуторов его обещали накормить и приютить на ночлег, если он починит ограду и водворит на место старые ворота. Но хозяин стоял и смотрел на Вилфреда, пока он работал, и все его умение втирать очки испарилось в присутствии этого кряжистого крестьянина, знавшего толк в своем деле и подозрительно улыбавшегося, глядя на него. Зато оказалось, что в некоторых усадьбах была нужда в ком-нибудь, кто умеет играть на пианино: после войны в этих домах оказались дорогие инструменты, к которым никто не решался прикоснуться, а хозяевам хотелось услышать, как они звучат. У Вилфреда еще оставалось немного денег, вырученных от продажи картин, но купить у хуторян еду было невозможно. Во время последнего пребывания Вилфреда в Энебакке Валдемар Матиссен снабдил его продовольственными карточками, но он их уже израсходовал. Чаще всего Вилфред питался сладкими булочками, которые продавались в деревенских лавчонках и на железнодорожных станциях. Но изредка ему перепало обильное угощение: каша с маслом, большие куски мяса с салом и подливкой. А если ему удавалось припрятать кусок мяса, чтобы захватить с собой, лучшего и желать было нельзя: тогда он садился на опушке леса со своей завернутой в просалившуюся газетную бумагу едой и, глядя на уютно освещенные окна хуторов, чувствовал полное блаженство. Но только он редко отваживался обращаться к людям, он и прежде не любил, когда его спрашивают, а деревенские жители подробно и без церемоний спрашивали обо всем – откуда он и куда держит путь. Неположенное это дело, чтобы человек являлся ниоткуда и никуда не шел. Только что окончилась война, по дорогам шатается невесть кто. Вилфред никогда никого не встречал, но ему об этом рассказывали. Все, с кем он отваживался заговорить, рассказывали, что в стране царит нужда и по дорогам шатается всякий сброд – в устах хуторян это звучало обвинением.

В один прекрасный день Вилфред оказался в той долине, где жила тетя Клара, где поселилась, получив свою пенсию, стойкая тетя Клара, вечно облизывавшая губы своим пепельно-серым языком, тетя Клара, отказавшаяся говорить по-немецки в мире, который шел вразрез с ее принципами. Теперь она занималась с детьми строительного подрядчика и преподавала в местной школе. Она жила в новом домике, построенном подрядчиком и лишенном какого бы то ни было стиля или индивидуальных примет, – как раз то, что ей подходило. Вилфред в отдалении кружил вокруг дома, был холодный весенний день, дул пронизывающий ветер, солнце едва светило, и он еле держался на ногах.

И тут вдруг на крыльце, собираясь куда-то идти, появилась тетя Клара: прямая, серая и маленькая, стояла она под блеклыми лучами солнца. Она не вытаращила глаза, увидев Вилфреда. Добрейшая тетя Клара. Облизнув губы кончиком сухого, пепельно-серого языка, она предложила племяннику зайти в дом и не стала докучать ему чрезмерной заботливостью. Она только бросила быстрый взгляд на его стоптанные башмаки, подметки которых угрожающе отставали. Она рекомендовала Вилфреда подрядчику, чтобы он репетировал его троих детей, и послала к местному сапожнику, который шил обувь из настоящей кожи. Вышло как-то само собой, что Вилфред поселился у тети Клары, и точно так же вышло само собой, что она не сочла нужным оповещать окружающих о том, что к ней случайно явился племянник, у которого каникулы и который слегка обносился в дороге.

Однажды вечером он спросил тетю Клару о Биргере. И она, которой не пришлось изведать в жизни душевных бурь, спокойно отнеслась и к разговору о тайне, которую, собственно говоря, нечего было и скрывать.

– О мальчике в свое время позаботились, – сказала она. – Его отец позаботился о нем, как положено по закону. А Сусанна вовсе не приняла это так уж близко к сердцу.

– А отец?

Тетя Клара замялась. Он – дело другое, его вообще трудно было понять.

– Ты-то ведь не помнишь своего отца, тебе было всего три...

– Три с половиной. Впрочем, помню, не помню – сам не знаю.

– Эта фру Фрисаксен, – сказала тетя Клара, играя тем самым медальоном, в котором скрывался другой медальон, а в нем – третий, а в самой глубине хранилась какая-то тайна, – она была, наверное, не такой уж хорошей женщиной.

– Ты хочешь сказать, тетя Клара, – и не такой уж дурной.

Тетя Клара задумчиво уставилась прямо перед собой: глаза на ее строгом лице были совсем молодыми.

– Незамужние женщины вроде меня смотрят на все эти дела, наверное, по-другому, – уклончиво отозвалась она. – Нам легче быть нелицеприятными.

– Ты думаешь, что мама...

– Что ты пристал ко мне с расспросами, мальчик! Разве я тебя о чем-нибудь спрашиваю?

Вилфред почувствовал, что тетя Клара только делает вид, будто сердится. Она налила им обоим чаю, рука ее слегка дрожала – должно быть, ее взбудоражили воспоминания о том, что мирно дремало под спудом все эти годы.

– Прости меня, тетя Клара.

– Тебе не из-за чего просить прощения. К тому же, пожалуй, ты прав, другим женщинам, хотя бы женщине в моем положении, легче, наверное, смотреть со стороны, вообразить себя на месте обеих – не только той, которая владеет всеми благами.

Вилфреду сразу вспомнилось, как затихали, обрывались разговоры у них дома, как громкие голоса внезапно умолкали, когда появлялся он. Это были разговоры о положении женщины и правах ребенка. Вилфреду вспомнилось, как при этих разговорах, умолкавших, когда входил мальчик, иронически улыбался дядя Мартин, а мать надувала губки, похожая на обиженную девочку, – эхо слов и выражение лиц, не успевших перестроиться. Он вспомнил хлопотливые руки тети Клары, лихорадочно вязавшие что-то белое, – пальцы продолжали следовать ходу мысли, прерванной появлением ребенка. Станным образом, он тогда не понимал, что ребенок – это и есть он, хотя рос единственным ребенком в семье. Казалось, только теперь, когда он приблизился к воспоминанию, стало «горячо», как в игре.

– Я едва не познакомился с Биргером, – сказал он, – едва не встретился с ним.

– Ты, говорят, с кем только не встречаешься, – язвительно заметила тетя Клара. – Впрочем, меня это не касается, – добавила она, тут же спохватившись.

Вилфред встал из-за стола и, подойдя к окну, стал глядеть на серые площадки строящегося городка. Это был первый теплый вечер в долине. Девочки и мальчики медленно бродили по дороге, омытой весенним светом.

– Как по-твоему, тетя Клара, – заговорил он, – могут люди не просто встречаться друг с другом... – Она хотела прервать

его движением руки, давным-давно знакомым ему движением, которое должно было пресечь всякую попытку душевных излияний. – погоди, ответь мне на этот единственный вопрос! Как по-твоему, ты веришь, что какое-то родство душ... – Он не решился продолжить. К тому же

она прервала его на сей раз довольно резко.

– Нет, – сказала она, – в это я не верю. – И, немного помолчав, продолжала: – У тебя была выставка... – Он поморщился. Она читала статьи в газетах и, наверное, сохранила вырезки. – Твой отец был разносторонне одаренный человек.

– Но он ничего не доводил до конца. Она посмотрела на него с удивлением:

– Что ты имеешь в виду?

– Он ведь и жизнь свою до конца не довел.

Он в первый раз произнес это вслух. И это прозвучало обвинением. Но к его удивлению, тетя Клара ответила:

– Я не такая уж набожная, по крайней мере в общепринятом смысле. Но по-моему, тоже – это единственный поступок, который противоречит божьим заповедям.

– Также? – переспросил Вилфред. – Я вовсе не думал его обвинять.

– Не знаю, – отозвалась она. – Так или иначе, ты не имеешь на это права. Да и она, пожалуй, тоже. Я имею в виду твою мать. Но кто-то или что-то... имеет право винить. От жизни, вот так оборванной, всегда остается что-то... что-то... Словом, не знаю...

– Скажи, тетя Клара! – воскликнул он тихо. – Скажи, что хотела сказать, непременно скажи.

– Я же говорю тебе, не знаю. Может, что-то, что каким-то образом падет на других...

Воцарилось молчание. На секунду ему показалось, что у нее дрожат губы. Она продолжала теревить свой медальон.

– Я думаю только о себе, – сказал он. – В этом вся беда.

Тетя Клара откинулась назад, словно подавляя усмешку.

– Это свойственно не тебе одному... Но вот то самое, что остается, не знаю, как это назвать, – это и в самом деле становится как бы неоплаченным долгом.

Она сказала это просто, как нечто давно для нее решенное. А в нем вдруг всколыхнулось все: тоска, смятение и в то же время жадное любопытство.

– Почему, – тихо спросил он, – почему мы так мало знаем друг о друге?

Она рассмеялась обычным своим коротким смешком.

– Кто «мы»? Ты, верно, имеешь в виду нашу семью? Твой отец...

Он напряженно уставился на угасающий свет. Теперь дорога опустела – от поселка новостроек веяло пылью и будущим.

– ... он, по-моему, жил в каком-то замкнутом мире – в мире, который замкнут в другом мире, а тот – в третьем и так далее. Помнишь деревянных матрешек, которых можно было извлечь одну из другой? – И тетя Клара улыбнулась.

Вилфред вспомнил желтую деревянную бабу, внутри которой находилась другая деревянная бабу, а в той – третья деревянная бабу. И подумал о медальоне тети Клары...

– ...но, на беду, то, что было внутри, было больше того, что находилось снаружи, каждый

следующий пласт в глубине был больше того, что снаружи...

Как небо под потолком дома в Сковлю, которое было выше синего неба. Всегда что-то большое замкнуто внутри маленького, от этого никуда не уйдешь. Дом в стеклянном яйце.

– ...как, наверно, у всех людей, – сказала она. – Когда-то это называли душой, потом решили, что это несовременно. Может, оно и правда. Не имеет значения. По-моему, есть люди, у которых много таких... душ...

Она умолкла. Вилфред подался ближе к ней.

– И у отца?..

– Может быть, – нехотя подтвердила она. – Может быть, и у него. Душ так много, что им как бы не хватает места. Может, и у всех так. Но некоторых это взрывает изнутри... я хочу сказать прежде, чем все упорядочится.

– Ты хочешь сказать, пока не расставишь всех баб по местам? – спросил он, улыбнувшись.

– Я не это имела в виду, я имела в виду порядок вообще.

– Прости, тетя, я не хотел... – Он опять переиграл. – А ты веришь в порядок, тетя Клара?

– Уж художникам, во всяком случае, следовало бы в него верить, – сердито ответила она. Теперь она снова была строгой тетей Кларой, тетей Кларой его детских лет, которая аккуратно складывала салфетку, когда другие, скомкав, отбрасывали ее. Пласты времени сдвинулись в памяти Вилфреда, бесшумно меняясь местами.

Все сдвинулось, и тот замысел, который он искал, – тоже. На мгновение казалось: он вот-вот дотянется до него рукой – так было, когда он встретил в лесу Поэта, когда выяснилось, что тетя Клара знает о большем, которое заключено в меньшем. Милая тетя Клара! Много времени утекло с тех пор, когда, стоя на крыльце своего маленького домика, она энергично махала ему на прощанье рукой. Вокруг нее все было маленьким, но как же это случилось, что он никогда не замечал, сколь велика ее внутренняя независимость... Он был благодарен ей за ее терпимость и деликатность, у других его родных это было игрой, она же не притворялась. Может, и тайна, которую хранил ее медальон, была настоящей, большой тайной.

Он много бродил в эти дни, часто возвращаясь в одно и то же место. Стояла весна, ягод в лесу еще не было. По временам ему сильно хотелось есть, его преследовали пищевые галлюцинации, но чаще голод удавалось обманывать, пососав что попадалось под руку – щепку или какой-нибудь цветок. Он ощущал в себе небывалую легкость, свободу почти от всех потребностей. Он все больше и больше чувствовал свою связь с деревьями, но не могучими хвойными великанами, а с невысокими лиственными деревьями, вроде тех, под которыми он видел Поэта. Он стал похож на пугливого зверя, у которого, может, и нет повсюду врагов, но тело его все равно всегда готово к прыжку.

Вилфред много бродил, но тропинки так и не нашел. Семья подрядчика и трое его детей: Клаус, Ларс и Ингер, куда ни глянь – всюду будущее, славные, добрые ребяташки, ему было жалко расставаться с ними. Он подарил Ингер маленький круглый камешек, который носил с собой. «Потри его, услышишь далекую музыку». Она потерла камешек и явственно услышала музыку. Дети тоже стояли на крыльце, провожая его, и махали ему вслед, пока он не скрылся за поворотом дороги, это прогоняло чувство одиночества и успокаивало. Но все это было уже давным-давно.

От него опять остались кожа да кости. Велосипед он продал стрелочнику на какой-то

железнодорожной станции. Он был не прочь найти какое-нибудь пристанище, где мог бы сесть за свои воспоминания о будущем. Однажды он как одержимый стал писать, имея в виду что-то высказать. И все же замысел ускользал от него – тот замысел, который кроется за внешним проявлением всего сущего.

И вот однажды он добрал до Робертовой гостиницы и поселился в ней. Он писал. У тети Клары он стащил одну из газетных вырезок, где был воспроизведен портрет отца. Вилфред подолгу смотрел на него, а потом разнообразия ради писал. Робертова гостиница и в самом деле стала гостиницей, только она уже не принадлежала Роберту. Называлась она «Валхаллой» – подходящее место, чтобы окрепнуть после болезни. Новый управляющий был человеком энергичным – он и сам вложил в дело некоторую сумму.

В первую же ночь они с Вилфредом вспомнили Роберта, и этот неутомимый благожелатель вдруг ожил перед глазами Вилфреда. Все, что было тогда, вдруг как-то странно ожило перед ним.

А в другие вечера Вилфред сидел у печи в маленьком кружке выздоравливающих. Зябко поживаясь, они рассказывали о своих болезнях и были счастливы, что нашли слушателя – молодого человека, который уж наверняка не хлебнул таких бед, как они.

21

Бывали дни, когда Валдемара Матиссена снедала глубокая тревога. Даже Апокалипсис не мог его успокоить. Он испытывал искушение наготовить себе яств по старым рецептам и раскупорить одну из бутылок бордо, что перезимовали в его погребу в Энебакке.

Потом он начинал терзаться, бродил как неприкаянный по пыльным дорогам и все прислушивался, не слышатся ли шаги.

В своем смятении он однажды спозаранку поехал в город к Роберту. Услужливый Роберт опять оказался точкой, в которой сходятся все пути. Он получил письмо от нового управляющего «Валхаллы». Тот сообщал о молодом человеке, их общем друге, который сидит и пишет в сумерках. Управляющий не скрывал своего беспокойства: молодой человек тощ и плохо одет, никакого режима не соблюдает, к обеду и ужину не является и, по рассказам живущих в отеле, часто бродит вокруг, разговаривая сам с собой.

Мужчины сидели вдвоем в благоустроенном бараке Роберта в Делененге – в теплое время года это было хорошее жилье, приспособленное к тому, чтобы днем принимать гостей: по ночам хозяин дома работал. Они сидели, предаваясь воспоминаниям о тех днях в жизни норвежской столицы, когда для властителя Матиссена все происходящее было загадкой, но зато для Роберта, обреченного и неунывающего, все было ясно как день.

Роберт был человеком действия – он тут же вышел посмотреть, на ходу ли его машина, стоявшая на соседней улице. Пока он отсутствовал, явилась хозяйка дома – Селина, дама с необыкновенными волосами и особым блеском в глазах. Ее появление привело в полное замешательство и без того смущенного Матиссена. Былые дни сомкнулись над его головой, как стоячая вода. Мимоходом напомнив о давнем знакомстве, Селина предложила гостю рюмку хереса, этого запретного в Норвегии напитка.

На лице вернувшегося Роберта была написана решимость. Поздоровавшись с женой, он спросил ее, как она провела ночь.

– Неплохо, – весело ответила она.

Матиссен тщетно перебирал животный мир Апокалипсиса в поисках сравнения, которое отразило бы подобную красоту и подобное безобразие.

Роберт задумался. На него произвело впечатление, что письмо управляющего «Валхаллы» совпало с приездом Матиссена. В этом совпадении благодетель человечества усмотрел перст судьбы. Он предложил выехать этой же ночью. Он возьмет с собой парня, который одно время был его помощником, молодого парня по имени Биргер, они смогут меняться за рулем. Ехать долго, а Матиссен вряд ли умеет водить машину.

Матиссен замахал руками – куда там, он человек старый. Но теперь он тяготился одиночеством в Энебакке. И потом, у него было смутное чувство, что надо действовать, – тогда удастся что-то спасти. У Матиссена и непутевого спекулянта, который когда-то испортил ему немало крови, оказались родственные души. Тот тоже был прирожденный отец, хотя, по сведениям Матиссена, детей не имел.

А что, если бы он не отдал ребенка Бёрге, прирожденному отцу? Что, если бы он не совершил этого пустячного предательства, которое существенно лишь по одной причине – что предавать стало для него привычкой?

Вилфред проснулся, за окном стояла светлая ночь. Ему снилось нерожденное дитя Селины и черные мухи.

Он сел в кровати, испуганно глядя в ночь. Зрелище мух было ему отвратительно, он отмахнулся от них. Он чувствовал – надо спешить. Наспех одевшись, он вышел в ночь.

Вот уже третью ночь подряд он ходил на станцию. Его преследовало навязчивое видение, будто на станции Мириам. Пологий, заросший подлеском склон круто обрывался в лесные заросли. Здесь, у обрыва, Вилфред остановился. А потом побрел вдоль него, не спуская глаз с долины. Там скрещивались и ветвились дороги, он не знал, куда они ведут. Отсюда ему был виден желтый станционный домик.

Здесь, на верху склона, была лишь одна дорога и множество тропинок – самых разных: тропинки незарастающие, которые вели к какому-нибудь жилью, и другие, которые терялись в лесу, коровьи тропы или тропки, протоптанные людьми, которым однажды понадобилось здесь пройти.

Страстное желание

быть здесь, просто

быть, ни к чему не стремясь, не уходить отсюда, овладело Вилфредом. Ведь он знал еще с той минуты, когда видение предстало ему в первый раз, – Мириам нет в желтом станционном домишке. Здравый смысл твердил, что это невозможно. Только его заветное желание перенесло ее туда. Но его заветные желания больше ни на кого не влияли. А когда-то, когда он был среди своих родных и чувствовал в себе волны, которые мог направить на то, что угадывал своим шестым чувством, влияли, да еще как! Но теперь волны больше ни на кого не влияли.

Он пошарил в кармане в поисках гладкого камешка, но потом вспомнил, что отдал его: камешек пел теперь для девочки Ингер. Вместо камешка он нашел бумаги, исписанные в Робертовой гостинице. Пробежав их, он с первой же строки почувствовал сквозь гладкопись их незавершенность. Медленно-медленно стал он рвать рукопись в клочки, рвал все мельче и мельче, не ощущая при этом ни радости, ни горя. Нашел он и газетную вырезку, которую взял у тети Клары. Из той газеты, что воспроизвела портрет, – память о воспоминании. Положив

газету на камень, он глядел, как муравьи ползают по глубокомысленным словам и репродукции. Нет в портрете сходства с воспоминанием, которое он хотел передать, – теперь Вилфред это видел. Муравьи ползали по нему, и он становился все более чужим.

Он чувствовал – надо спешить. Где-то прячется то место, тропинка. Он знает это место лучше всех других мест, где когда-то бывал. Впрочем, ведь и там он тоже когда-то был! И место это ни хорошее, ни дурное – просто оно существует с такой полнотой жизни, как ни одно другое место на земле.

Он знает это место. Наверно, оно значится на карте. Его можно выгнать наружу из тьмы кошмаров, как гнали его самого. Там он сможет быть

сам по себе. И не нужны ему тогда никакие отцы – ни рассеянный утешитель, ни человеколюбец, так и не написавший своих книг, ни преждевременно состарившийся провидец с его зловещими предчувствиями Судного дня. Ни Поэт.

Потому что тогда он сам станет победителем. А победа состоит в одном – найти, выиграешь ты на этом или проиграешь. И кто только выдумал нелепые понятия: «подняться» или «пасть»?

Нет! Мириам ждет его на станции, должна ждать! Он ускорил шаги, вышел на дорогу и потерял станцию из виду, она скрылась за гребнем холма, но он знал: Мириам – в станционном домике. Она должна быть там по той единственной причине, что иначе не может быть. Он пустился бегом. Надо спешить. Она там, он видит ее. Видит желтый домик явственнее, чем когда в самом деле его видел. И в нем видит ее, ее горячий взгляд, ее гордую шею. Она там. Он несся вниз по крутому склону, паря, как ласточка, – все хорошо. Он жаждал быть повсеместно, точно это стремление передалось ему другой кровью – кровью того, кто не спасся, потому что не хотел спастись. Но он

хочет. Хочет, чтобы оправдалась его надежда найти свою суть над бездной, на краю которой некто предал самого себя – человек с сигарой, портрет, по которому ползают муравьи.

Он бежал лесом, выбирая кратчайшие пути, в кровь обдирая лицо о деревья, напрямик сквозь густые заросли, среди которых причудливо извивалась дорога. Ему некогда было следовать за ее поворотами. Ему надо было скорее на станцию, к желтому домику, к Мириам. Он со стоном мчался вниз по самой крутизне, туда, где кончался лес.

Вот он, станционный домик, желтеющий на солнце, окруженный со всех сторон газоном и аккуратными клумбами, выложенными белыми ракушками. Жесткий стальной блеск рельсов казался мостом надежды между всем миром и им. Вот он, домик, сверкающая тайна. Ни души вокруг, ни на платформе, ни вдоль деловито притихшего полотна. Вилфред бросился через этот мост надежды, взлетел на платформу, рванул дверь – навстречу ему пахло пустотой, оставленной теми, кто побывал здесь до него.

Чего он ждал? На что наделся? Он обхватил голову обеими руками, ощущая ее как какое-то постороннее тело, потерявшее опору и плывущее в бесконечном пространстве. Он стоял на платформе, раскачивая голову в руках и чувствуя, что это уже не его голова, а чужая, неизвестно чья... И в то же время эта чужая голова сознавала, что надо спешить.

Он поглядел на вокзальные часы. Верно. Надо спешить. Он знал, в каком месте поезд выходит из туннеля. Голова продумала все бессонными ночами без его ведома. Может, эта голова принадлежала предателю, и она обманула его, перехитрила и, пока он думал свою думу, завлекла его

своими планами. Голова загонщика... Нет, это была голова благодетеля, того обитавшего в нем существа, которое в конечном счете желало ему добра. Голова благодетеля выбрала это

место и часто показывала ему его – это было то место, где поезд выходит из туннеля, вырываясь на дневной свет, метрах в ста от станции, как раз там, где от главной дороги отделяется боковая тропинка, – тут, у самых рельсов, можно спрятаться в кустах и отсюда броситься на полотно. Вилфред постоял, глядя на часы, пока минутная стрелка не совпала с одной из цифр. Надо спешить.

И он пустился бежать. Он добежал по дороге до развилки, юркнул в лиственные заросли и добрался до кустов, где его никто не мог увидеть ни с дороги, ни со станции. А если кто-то увидит его из окон приближающегося поезда, все равно будет слишком поздно.

Слишком поздно, как бывает всегда со всеми добрыми делами. Опоздает добрая воля бдительного машиниста, который затормозит, чтобы спасти, как опаздывал сам Вилфред во всех добрых делах, к которым стремился, ибо всегда ему помехой была проклятая голова с ее фантазиями. Мириам – она была предлогом, чтобы продолжать жить, но ее здесь нет, и нет у него власти, чтобы желанием своим перенести ее сюда. Даже если она уже в пути. Кто бы ни был в пути куда бы то ни было, ему не спасти эту голову от ее фантазий и причуд.

Поезд был в пути – темная, целеустремленная громада. Он вышел с предыдущей станции – в эту минуту вышел со станции в долине и покатил по солнечным бликам и теням, лежащим на дороге, в глубь горы с ее ночным мраком, который в трех шагах от него распахивается навстречу свету нового дня, занимающегося для поездов и людей.

И тут он услышал шум автомобиля. Стоя на коленях в кустах между дорогой и рельсами, услышал шум автомобиля. А потом и увидел его внизу на шоссе у станции. Миновав переезд, машина оказалась по эту сторону рельсов. Здесь она остановилась, и из нее вылез Роберт. Разделяло их с Вилфредом каких-нибудь двадцать метров.

– Пожалуй, я найду в почтовую контору и оттуда позвоню в гостиницу, – сказал Роберт кому-то в машине.

Вилфред приподнялся, собираясь бежать, но опоздал.

Из машины неуклюже выбрался другой человек – метрдотель Матиссен. Роберт повторил свои слова. Покорно кивнув, старик что-то ответил. И еще добавил, что хочет размять на солнышке онемевшие ноги. Тем временем из машины вышел еще один спутник, молодой парень со светлыми вьющимися волосами. Матиссен что-то сказал ему, а Роберт, уходя, через плечо в третий раз крикнул, что пошел звонить. Обращаясь к молодому парню, он назвал его Биргером. Тот заметил, что тоже не прочь поразмяться. Они с Матиссеном вошли в ближайшие кусты, как раз туда, где на коленях застыл Вилфред. Он отчетливо увидел лицо Биргера, который мочился в кусты, – казалось, парень смотрит на него в упор. Биргера было легко узнать по фотографии, снятой в Опорто.

Но его можно было узнать еще и по другому: по какой-то детской мягкости выражения, похожего на мольбу.

Сердце Вилфреда колотилось так громко, что они могли бы услышать его удары. А он не смел прижать руку к груди, чтобы его унять. Он был недвижим, как деревья, за которыми он прятался. Однажды он прятался среди деревьев, наблюдая за Поэтом, тогда его переполняло ощущение близости к сути вещей. Сердце Вилфреда колотилось так, словно жило своей отдельной жизнью, словно хотело выскочить из груди, обнять, позвать, утешать, молить...

Но вот старик и парень, справив нужду, вместе вышли на дорогу и медленно зашагали вслед за Робертом в почтовую контору. Вилфред был взволнован до глубины души. Он опустился на четвереньки, чтобы немного унять сердцебиение. Но вместе с волнением в нем проснулся какой-то веселый задор. Так это ради его ничтожной особы друг Роберт вновь предпринял

вылазку за город. Стало быть, энергичный управляющий гостиницей донес о своем новом постояльце, и Роберт, может обеспокоившись, а может и нет, сколотил небольшую дружескую компанию под предлогом, что надо кого-то спасать. Тянет этого Роберта беспокоиться о других. У него прямо-таки собачий нюх на страдания, которые можно урвать.

Вилфред осторожно пополз к автомобилю. Теперь и двое спутников Роберта скрылись за углом почтовой конторы. Вилфред во весь рост выпрямился в кустарнике, а потом шагнул прямо к машине и заглянул внутрь. Так и есть. На сиденье лежал потертый чемодан Роберта, тот самый, с которым он явился в лесную хижину. А стало быть, и содержимое сходное...

Вилфред торопливо оглянулся. Потом нырнул в машину и, схватив чемодан, открыл его. Так и есть. В нем лежали бутылки, и много. Он выбрал плоскую фляжку виски, закрыл чемодан, а дверь оставил, как она была, открытой. Потом попятился назад в подлесок, потом в кусты, где прежде стоял на коленях. Его разобрал смех. Все повторяется, и все становится другим. Сквозь листву виднелись станционные часы, он сверил их со своими. И вдруг все показалось ему неправдоподобным. Его решение. Скорчив две-три изощренные гримасы, он не отказал себе в удовольствии полюбоваться украденной бутылкой. Ага, любимая марка Андреаса, как видно доставленная контрабандистом-садовником в одну из светлых, таящих опасности ночей. И все вдруг снова предстало перед Вилфредом с ослепительной четкостью: та ночь, когда он в прошлый раз украл такую же бутылку, тропинка, спускающаяся к причалу, пещера. Стекло яйцо.

Все предстало перед ним с ослепительной четкостью, но это были обрывки, виденные им когда-то незавершенные картины, не имеющие к нему отношения. А ведь только что ему надо было зачем-то спешить. Но тут появился автомобиль. Так всегда – стоит дорогам разветвиться, и они скрещиваются вновь. Кто ему эти люди – друзья, или он их давно отринул? Он не знал сам. «Я позер, – подумал он, беззвучно рассмеявшись. – Да, позер. И если я сейчас брошусь из кустарника на рельсы под несущийся из туннеля поезд, я все равно останусь позером, позером, в жилах которого пульсирует чужая кровь, кровь человека, который не довел свою жизнь до конца, оборвав стук своего сердца, и вот оно продолжает стучать в моей груди – и в груди Биргера».

Вилфред опустился на колени с фляжкой в руке, не спуская глаз со станции и домика с вывеской почты. Из станционного домика вышел человек – это был стрелочник с зеленым флажком под мышкой, который он укрепил на штативе на краю платформы.

Стало быть, вот-вот придет поезд. Стрелочнику сообщили об этом по телеграфу. Поезд здесь не останавливается, вот стрелочник и вышел со своим зеленым флажком – путь свободен.

Но тут из-за угла почты показались те трое. В середине шел Роберт, сдержанно жестикулируя, – наверно, описывал, какие радости ждут их вечером, когда они доберутся до гостиницы и сойдутся у очага, устроив сюрприз Вилфреду, когда тот вернется с прогулки. Вид у Роберта был отнюдь не огорченный. Взяв под руку своего друга Матиссена, он подвел его к машине, совсем близко от того места, где прятался Вилфред. За ними следовал Биргер. Солнечный свет окружал его голову каким-то зыбким ореолом. Выражение у него было такое, словно он что-то улавливает. И вдруг Вилфред почувствовал волны. Они струились к нему от приближавшегося светловолосого парня, и сила их была так велика, что каждый толчок отзывался неодолимым волнением в самой глубине сердца.

Они разместились в машине. Роберт за рулем, светловолосый Биргер с ним рядом. Вилфред видел его лицо – казалось, оно совсем близко, будто не было разделявшего их расстояния. Вилфред прочел на нем удивление, а вовсе не революционный задор, о котором рассказывал Роберт, удивление перед чем-то близким и в то же время далеким. Потом они, как видно, вспомнили, что надо завести машину. Биргер вышел и начал крутить рукоятку. Потом

забрался обратно в машину. Машина грохотала и содрогалась.

Когда они тронулись с места, Вилфред почувствовал пустоту в груди. Мир пошатнулся. Он закричал им вслед, но закричал негромко, понимая, что они не услышат. Машина тяжело тархтела, взбираясь по склону холма, потом исчезла. Вилфред видел по ту сторону рельсов станционный домик с часами, и тут же мысленным взором увидел дороги – как они скрещиваются и расходятся. И то самое

место, и образ Биргера, запечатленный на глазной сетчатке. Видимое отступало перед тем, чего не было перед глазами. Стрелки часов твердили: «Надо спешить», а стеклянное яйцо с домиком в снегу говорило: «Спешить некуда». Из темной пещеры туннеля послышался приглушенный гул, точно раскаты грома. Вилфред пролез сквозь ограду, чувствуя сладкий запах лесного озера и смутный аромат сигары человека, который все отринул.

Услышав, как приближается поезд, Вилфред прижался к стене туннеля. И беззвучно закричал в оглушительном грохоте – он не хотел, чтобы пустота в груди бросила его под колеса. Холодные капли стекали ему на затылок с каменной стены. Снаружи сияло солнце – там был мир света и страха, здесь, внутри, царил холодный мрак. Когда паровоз ринулся на него и промчался мимо, колени его подогнулись, но он сполз вниз по стене, а не вперед на рельсы. В руке он сжимал что-то гладкое, вроде стеклянного яйца, в котором можно жить и быть, мир, где падает и стихает снег. Грохот поезда не умолкал ни на мгновение, в жерле туннеля свистел холодный ветер.

Но когда поезд пронесся дальше, стало просто холодно; в туннеле холодно и темно, а снаружи – светло. Ничего не соображая, шатаясь, он побрел к свету, который ослепил его. Пальцы сорвали колпачок, которым была закрыта бутылка. Выйдя на свет, он прижал бутылку к губам, жмурясь от слепящего света солнца. В ушах звучала строка той давней песни:

В лесу готовят пир горой...

И тут он почувствовал, что ему жарко: снаружи грели солнечные лучи, изнутри согревало виски. Колени его обмякли, и он рухнул на землю у самого полотна. Он отказался от всех надежд. Он был совсем один. Время начинать пир.

1

Здесь: пошли! (франц.).